НИКОЛАЙ ПОЛЕВОЙ





Николай Полевой

МЕЧТЫ И ЖИЗНЬ



НИКОЛАЙ ПОЛЕВОЙ

МЕЧТЫ И ЖИЗНЬ



Москва
«Советская Россия»
1988

Р1
П49

Составление, вступительная статья и примечания
Б. С. КОНДРАТЬЕВА

Художник
М. З. ШЛОСБЕРГ

П $\frac{4702010100-236}{М-105(03)88}$ 94—88

ISBN 5—268—00540—5

ТРИ «ЖИЗНИ» НИКОЛАЯ ПОЛЕВОГО

Осмеливаюсь думать, что в том, что было мною писано, и не одни современники найдут повод к размышлению.

Н. А. Полевой

Когда в 1834 году на книжных прилавках появилось двухтомное издание под названием «Мечты и жизнь», любитель словесности тех лет прекрасно знал имя автора — писателя, журналиста, литературного критика, историка Николая Алексеевича Полевого.

Сегодняшний читатель, взяв в руки небольшой томик под тем же названием, окажется в более трудном положении. Действительно, что он знает об авторе? Очень мало, пожалуй, что и ничего не знает. Но если и захочет узнать, то в местной библиотеке вряд ли ему смогут предложить что-либо: новых изданий почти нет, старые доступны лишь специалистам.

Может быть, «виноват» сам Полевой? И его повести, некогда восхищавшие публику, сегодня не могут удовлетворить требовательному читательскому вкусу, «избалованному» классикой? Но вот всего два года назад вышел в Ленинграде сборник избранных произведений и писем Н. Полевого — и сразу стал библиографической редкостью...[1]

Так почему же все-таки самобытный писатель, которого В. Г. Белинский, весьма строгий в оценках, ставил по своему влиянию на литературу в один ряд с Ломоносовым и Карамзиным, оказался в наши дни практически забытым, неизвестным широкой читательской аудитории?

Справедливости ради отметим, что одиночество забвения Полевой пережил еще при жизни, точнее, на ее исходе. «Неисправимый» романтик, он продолжал оставаться им и тогда, когда стремительно

[1] См.: Полевой Н. Избр. произведения и письма.— Л., 1986.

набирало силу новое направление — критический реализм и становилось очевидно, что дни романтизма сочтены. Былые кумиры низвергались, публика теряла к ним интерес. В дальнейшем пыл борьбы угас, реализм прочно утвердился в литературе, принеся ей мировую славу, а пренебрежительное отношение к романтизму как литературе низшего порядка осталось, по крайней мере, еще на столетие...

Не «повезло» Н. А. Полевому и еще по одной причине. Как-то незаметно, исподволь сложилась устойчивая традиция: ограничивать себя лишь знанием творчества признанных гениев. Эта странная традиция оказалась живучей, хотя еще для Белинского было очевидно, что не только «именами гениальными», но и «обыкновенными талантами» жива и сильна русская литература. Только совместными усилиями Мастеров и Подмастерий создавалась полная картина духовной жизни России XIX века. Должно найтись место в нашей литературной памяти и для Николая Полевого.

Открытие художественного мира писателя вряд ли возможно без постижения «тайны» личности самого автора. И не ради праздного любопытства мы стремимся узнать мельчайшие подробности его жизни, вчитываемся в письма и дневники, всматриваемся в портреты и фотографии. Мы знаем, что в каждом герое обязательно заложена частица души его создателя, но и сама по себе жизнь такого человека — это всегда увлекательная и поучительная книга о судьбе художника. Полевой прожил всего пятьдесят лет. Но сколько событий вместили в себя эти полвека! Сколько людей, самых различных рангов и взглядов, было втянуто в орбиту бурной деятельности этого необыкновенного человека. Сколько раз рушились его романтические мечты в столкновении с пошлой действительностью, вызывая трагический разлад с самим собою. Сколько было ошибок и потерь... Всего этого с избытком хватило бы не на одну, а на три жизни. А впрочем, он и на самом деле прожил их, эти три «жизни». И каждая — как отдельная повесть в романтической трилогии с неизбежным трагическим финалом...

Первую повесть жизни Николая Алексеевича Полевого можно было бы назвать «Выбор пути» и начать ее с 22 июня 1796 года. В этот день на далекой сибирской окраине России, в Иркутске, вдали от обеих столиц (с которыми столько потом будет связано и надежд и крушений) в семье потомственного купца родился первый сын (до этого была дочь Екатерина). Можно представить себе радость отца: появился продолжатель купеческой династии, которому повезет, может быть, больше и удастся восстановить пошатнувшиеся торговые дела бывшего управляющего Российско-Американской компании, а теперь владельца фаянсового завода. Сегодня трудно судить о причинах неудач Алексея

Полевого, но, как позднее вспоминал писатель, у отца был «пылкий, добрый характер, младенческое сердце и доверчивость к другим»[1]. Согласитесь, что эти качества вряд ли могли помочь в купеческом деле. Да и вообще, видимо, отец Полевого был человеком неординарным для своей среды: он много читал, имел в доме библиотеку, и не случайно одно из первых воспоминаний детства Николая — отец с книгой в руках. И, может быть, боясь, что сын пойдет в него (а так впоследствии и случилось), он с детства стремился воспитать в Николае «делового человека», привлекая его к своим торговым предприятиям. На увлечение же сына книгами смотрел неблагосклонно, как на «вздор», и учить не спешил, несколько раз собираясь, но так и не послав в Коммерческое училище. И тем не менее, научившись в шесть лет читать, а в десять писать, молодой купец, забыв о делах, «писал стихи и прозу, сам не зная, что такое стихи и проза», выпускал домашние газету и журнал, сочинял драмы, трагедии и интермедии, которые затем безжалостно предавались огню рассерженным отцом. Так впервые в жизни юного «поэта» столкнулись «высокая» мечта и «низкая» действительность, приходило понимание их несовместимости. Однако до окончательного выбора: литература или коммерция — было еще далеко...

В 1811 году пятнадцатилетний Николай Полевой покидает Сибирь. Он едет в Москву, но едет «деловым человеком», выполняя поручения отца. Год самостоятельной жизни в древней столице с ее книжными лавками, театрами, университетскими лекциями приблизил решение о литературном поприще, и даже гнев отца и возвращение в купеческую контору изменить ничего уже не могли. «Двадцати лет начал я учиться, сам, без руководства, в глуши, только с братом, на книжонки, купленные из бедного остатка денег, которых у меня было тогда меньше, нежели ничего»,— признавался Полевой позже в письме А. Бестужеву[2]. Николай понимал, что образование и чтение требовали плана и системы, но для этого надо было бросить торговые дела, окончательно порвать с купеческой жизнью, а этого он, увы, сделать пока не мог: мешали болезнь отца и тяжелое материальное положение семьи. Более того, чтобы не вызвать насмешек и не поколебать свой авторитет в купеческой среде, он вынужден был вести «двойную» жизнь. В. Г. Белинский, видимо, со слов самого Полевого, так рассказал в своей некрологической статье об этих годах: «Кончив днем дела свои по торговле, ночью, вместо того, чтобы спать, принимался он за ученье. Не всегда мог доставать он для этого огарок свечи, потому что отец его запретил ему сидеть по ночам. Не было свечи — он пользовался лунным светом; доставал свечу — и затыкал щелки своей комнаты, чтобы предательский свет огня не бросился в глаза отцу. В таких страшных, разрушительных для

---

[1] См. «Автобиографию Н. А. Полевого».

[2] См.: Полевой Н. Избр. произведения и письма.— С. 507.

здоровья трудах провел он три года»[1]. И все-таки недостаток образования мучил Полевого всю жизнь. Можно только предполагать, как развились бы его дарования, если бы не чуждые его мечте и призванию условия жизни.

Стремительно двигаясь вперед в своем образовании, Николай Полевой не менее стремительно делал и купеческую карьеру. Хозяин, в курской конторе которого он служил, уезжая, доверял ему практически все дела. Но романтическая натура брала свое: его самолюбие оскорблялось тем, что в купеческой среде его авторитет будет определяться не личными свойствами, а лишь количеством денег (печальный пример отца!). В том же, далеком еще литературном мире человека ценят прежде всего по его таланту. Нужны еще только воля и умение работать, а этому жизнь Николая уже научила. Оставалось лишь проверить свои литературные способности, и вот повод представился. В 1817 году он посылает в журнал «Русский вестник», издаваемый С. Н. Глинкой, статью о пребывании в городе Курске императора Александра I. Статья была напечатана. «Двойная» жизнь кончилась. В 1820 году Полевой переезжает в Москву и почти полностью отдается литературной деятельности (почти... ибо по просьбе отца приходилось еще заниматься делами водочного завода). Итак, трудный выбор был сделан. Николай Полевой не стал «деловым человеком», но он никогда не стыдился своего купеческого происхождения, с гордостью называя себя «плебеем».

В эти годы Полевой знакомится с московскими журналистами и писателями, особенно сблизившись с В. Одоевским; его охотно печатают ведущие журналы — «Отечественные записки», «Сын отечества», «Северный архив». Конечно, в растущей популярности молодого автора сыграла свою роль и необычность его судьбы: на него взирали с любопытством как на «самородка», «купца-самоучку». Однако для самого Полевого это было лишь начало. «Полевому предстояла роль деятельная и блестящая, вполне сообразная с его натурою и способностями». Он был рожден на то, чтоб быть журналистом...» — скажет позже В. Г. Белинский[2]. Полевой задумывает свой журнал. Но это уже другая «жизнь», другая повесть, которую мы могли бы назвать «Исполнение мечты».

В конце октября 1824 года в № 87 «Московских ведомостей» появилось объявление об издании Николаем Полевым со следующего года «Московского телеграфа» — «журнала литературы, критики, наук и художеств». К этому времени Полевой был уже достаточно известен среди московских литераторов как критик, поэт и переводчик. Российская

---

[1] Белинский В. Г. Собр. соч.: В 9 т. Т. 8.— М., 1982.— С. 180.
[2] Белинский В. Г. Собр. соч.— Т. 8.— С. 167.

академия наградила его серебряной медалью за «Новый способ спряжения русских глаголов». Общество любителей российской словесности при Московском университете избрало своим членом-сотрудником. Знали Полевого и читатели. В какой-то мере это уже служило залогом успеха. Но был и риск: интерес к журналам в публике падал, некоторые издания не имели и 300 подписчиков. Полевой понимал, что он должен создать новый тип журнала, ориентированного на самую широкую аудиторию, удовлетворяющего разные вкусы и охватывающего многие стороны как русской, так и европейской жизни. Нужен был журнал энциклопедический — и Полевой создал его. На страницах «Телеграфа» в его четырех отделах читатель находил статьи по науке и искусству, современную русскую и зарубежную беллетристику, библиографию и критику и даже... картинки последних парижских мод («много вздору принужден помещать поневоле, но нечего делать: публика хочет легкого»). Но, конечно, не интересом к «ленточкам на дамском башмачке» (как иронизировали противники) и даже не энциклопедической широтой содержания нового журнала определялось его лицо. Свой «Телеграф» Николай Полевой с самого начала задумал как издание общественно-литературное с конкретной программой, включавшей в себя не только эстетические, но и социально-политические вопросы. «Объявляя войну пошлой знаменитости и сильному невежеству», Полевой повел ее как защитник прав «третьего сословия». «Литератор и купец», он не в дворянстве, а в зарождающейся буржуазии видел реальную силу обновления и прогресса России. Демократизм Полевого не был революционным: вера его в авторитет монарха оставалась незыблемой; но если учесть, что голос «Телеграфа» зазвучал в год восстания на Сенатской площади, а затем в течение десятилетия не затихал, а, наоборот, усиливался, то станет понятным, почему многие современники видели в его издателе чуть ли не продолжателя дела декабристов, а ярый реакционер граф С. С. Уваров, новый министр просвещения, говорил: «Вы не знаете Полевого: если он напишет «Отче наш», то и это будет возмутительно!»

«Даю теперь последнюю битву — глупому и ничтожному аристократизму литературному,— с гордостью сообщал Полевой ссыльному писателю-декабристу А. Бестужеву-Марлинскому (впоследствии — ведущему критику «Телеграфа»).— С падением его останется, по крайней мере, чистое поле. Люди явятся. В началах разрушения лежат семена возрождений»[1]. Полевого иногда упрекали в литературном «нигилизме», в том, что он больше разрушал, нежели созидал. Но это не совсем верно. Борясь с устаревшими литературными авторитетами, и прежде всего — сторонниками классицизма, Полевой сеял и «семена возрождения» — в романтическую почву.

---

[1] Полевой Н. Избр. произведения и письма.— С. 503.

Романтизм не случайно находился в 1820-х — начале 1830-х годов в оппозиции ко всей современной литературе. Антагонизм идеала и действительности и порожденное им трагическое мироощущение, мечта о духовно свободной личности и ненависть к пошлой «вещественности», наконец, отсутствие сковывающих художника «правил» — все это привлекало к романтизму, заставляло многих видеть в нем единственный путь обновления русской культуры. «Поэт в наш век *не может не быть* романтиком»,— утверждал Марлинский[1]. Под знаменем романтизма сражался и Николай Полевой, объединив вокруг «Московского телеграфа» талантливых поэтов и писателей эпохи: Е. Баратынского, П. Вяземского, В. Одоевского, А. Тургенева; на его страницах печатались Пушкин, Жуковский, Кюхельбекер, Лажечников, Даль, Марлинский; здесь впервые в русском переводе появились романы В. Скотта, Гофмана, Гюго, Бальзака... Все это закономерно поставило журнал Полевого во главе литературного движения своего времени, обеспечив ему невиданную для тех лет популярность среди читателей (тираж «Телеграфа» доходил до двух тысяч экземпляров,— «книгопродавцы уверяют, что примеров этому не видали...»).

В «телеграфский» период проявились не только выдающиеся способности Николая Полевого как организатора и журналиста, но и полностью раскрылся его талант литературного критика и беллетриста. Сделав из критики «постоянную часть журнала русского» (чем он законно гордился), Полевой в своих статьях неуклонно ратовал за оригинальность и национальную самобытность русской литературы, присущие, по его мнению, лишь романтизму. И вслед за писателями-декабристами он с романтической бескомпромиссностью полностью отрицал значение литературы XVIII века, считая ее подражательной. Исключение критик делал лишь для Державина, который «был совершенно самобытен и неподражаем» («Сочинения Державина»)[2]. Сказалась на литературных оценках Полевого и полемически заостренная антидворянская направленность его романтизма. Он обвинял в литературной «космополитности» Жуковского, лишь рабское следование за Карамзиным увидел в пушкинском «Борисе Годунове». Начав чрезвычайно важную борьбу за демократизацию всей русской культуры, Полевой понимал этот процесс слишком прямолинейно. Отвергая, по сути, традиции и преемственность в литературе, он неизбежно шел к своей роковой ошибке: непониманию и неприятию реализма. Позже, в 1839 году, Полевой объединил лучшие свои статьи в двухтомные «Очерки русской литературы». И вот, собранные здесь воедино, отдельные наблюдения и оценки дают не только целостное представление об историко-литературных взглядах критика, но и, как это, казалось бы,

---

[1] Моск. телеграф.— 1833.— № 16.— С. 543.
[2] Моск. телеграф.— 1832.— № 45.— Ч. 45.— С. 521

ни парадоксально, убеждают: интуитивно, вопреки самому себе, Полевой приближался к реалистической концепции Белинского...

В феврале 1829 года Полевой сообщал В. Ф. Одоевскому: «Я принялся деятельно за литературный труд, огромный и важный... и — скоро явлюсь с «Историею русского народа»!»[1] Уже само название настораживало своим противопоставлением «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина, а когда вышли первые тома, стало ясно: Полевой начал сокрушать последний и наиболее уважаемый авторитет — патриарха русской литературы и официального историографа России («*Его* время прошло без возврата»). Резкая критика исторических взглядов Карамзина стоила Полевому дорого: ушли из редакции «Телеграфа» сначала П. Вяземский, а затем и Е. Баратынский, для которых имя и память Карамзина были священны. В то же время горячую поддержку «История русского народа» нашла у Марлинского, также весьма скептически относившегося к «златопернатому рассказу» Карамзина (как он иронически называл его исторический труд). Что же отвергал Полевой в карамзинской историографии? Главный упрек сводился к отсутствию философского осмысления русской истории, закономерностей ее развития и связи с мировым историческим процессом. Карамзин, по мысли Полевого, был больше летописцем, толкователем исторических фактов («*Слов* становится недостаточно, надобны *мысли*»). Как романтик антидворянской ориентации, Полевой искал в русской истории истоки народности и национальной самобытности, проявляя интерес не только к государственным деятелям, но и к людям «среднего» сословия. Исторические взгляды Полевого-ученого отразились и на его беллетристике, придав романтическим повестям о Древней Руси неповторимое своеобразие.

В 1820—1830-е годы историческая повесть становится одним из излюбленных жанров русских романтиков. Это объясняется особыми условиями общественной жизни: подъемом национального самосознания, вызванным Отечественной войной 1812 года и движением декабристов, влиянием западноевропейской традиции исторического романа, в первую очередь В. Скотта, и, наконец, широкими возможностями раскрытия романтического мироощущения, чувствовавшего себя свободнее в далеком и загадочном прошлом с его великими событиями, сильными характерами и бушующими страстями. Древняя Русь, по мысли романтиков, вся была проникнута духом гражданственности и поэзией борьбы, которых так не хватало современности... Для Николая Полевого, гражданина и патриота, обращение к историческому жанру означало к тому же и художественное воплощение идеи о национальной самобытности русской литературы, представляло широкие возможности для создания народного характера. Как художник-романтик Полевой в изображении

---

[1] Полевой Н. Избр. произведения и письма.— С. 501.

далекого прошлого шел от воображения, от поэтической интуиции, которые, как ему казалось, помогали проникнуть в глубинную суть событий, в мысли и чувства далеких предков («Я рассказывал так, как по чистой совести мне казалось...»). Однако интуитивное постижение духа эпохи отнюдь не означало, что он пишет «сказку». Многие свои повести писатель называет «былями», подчеркивая тем самым их правдивость прежде всего в описании быта и нравов Древней Руси.

Не случайно именно умение Полевого передать колорит эпохи через ее подробности так восхищали Марлинского: «Ему вспало на ум: досказать русскую историю — повестью, ознакомить нас с домашним бытом предков наших без прикрас, так сказать, показать подбой княжеской мантии, распоясать крестьянина, растворить ум и сердце русского народа и застать там причину событий в едва заметном зерне»[1]. Но даже при таком подчеркнутом стремлении к исторической точности и правдоподобию Полевой неизбежно оставался романтиком, ибо подробности опять-таки создавались воображением (документальных источников было немного) и носили опоэтизированный, романтически-условный характер. Сегодняшний ученый-историк, вооруженный современными знаниями, наверное, найдет в «былях» писателя и фактические неточности, и спорную трактовку отдельных событий и характеров. Но еще сам Полевой не однажды подчеркивал, что его повести «не сказка, но и не летопись, не история правдивая». Однако созданный его поэтической фантазией мир древности верен в главном: он самобытно русский.

Время действия большинства исторических повестей Николая Полевого — конец XIV — начало XV века. Такой выбор не случаен: писателя увлекала возможность показать Русь в один из переломных моментов ее развития. Еще тяготела над русской землей (хоть и поколебленная Куликовской битвой) зависимость от Орды, и ханы еще не потеряли надежды вернуть былую покорность русичей; еще никак не могли договориться между собой князья, проливая кровь в междоусобицах, но уже укреплялась Москва, становясь оплотом будущего Русского государства... В 1386 году московский князь Дмитрий Донской повел жестокую борьбу с Новгородом, стремясь подчинить этот вольный и независимый город власти Московского княжества. Трагическое столкновение свободолюбия и власти не могло не будоражить воображение романтика, и в первой своей повести Полевой обращается именно к этим событиям.

«Повесть о Буслае Новгородце» (1826) начинается колоритной картиной. Следуя своему правилу «переселять» читателя в тот век, где происходит действие, писатель создает своеобразный «эффект присутствия», живое и непосредственное ощущение удали и бесстрашия новгородской вольницы: «Давай серебра и золота, выкатывай бочки

[1] Моск. телеграф.— 1833.— № 16.— С. 545.

годовалого меда, а как дойдет до расплаты, рассчитаются железом да калеными стрелами...» Но вот как-то исподволь нарастает напряжение: «Народ собирался к Святой Софии; день и ночь держали вече; казалось, забыли новгородцы, что в праздник дела не делают». С вечевой площади мы переносимся в дом посадника Федора, где также царит какая-то еще непонятная до конца деловая озабоченность... Так, в дымке романтической загадочности возникает политический конфликт между непокорным Новгородом и великокняжеской Москвой, который и составляет историко-документальную основу повести. Стремясь философски осмыслить неизбежность роковой для новгородцев развязки в борьбе за власть, Полевой показывает, что вече — этот символ свободы — являет собой лишь видимость демократии: «...я узнал все тайны правления Новогородского,— с грустью говорит Буслаю Владимир.— Ты счастлив, Буслай, что неведение скрывает от тебя это смрадное болото, которое называют Новогородским вечем. Ты слышишь звон вечевого колокола, как голос вольности Новагорода, богатого и сильного, а я слышу его, как набат, возвещающий близкую кончину народа доброго, но буйного, достойного счастья и влекомого к погибели страстями, низкими, недостойными...»

Однако повесть — не историко-философский комментарий к борьбе Новгорода и Москвы. Ее художественный интерес — в психологическом сюжете, основанном на истории трогательной и бескорыстной дружбы Буслая и Владимира. Образ Буслая, несомненно, навеян новгородскими былинами о Василии Буслаеве. Как и его былинный «тезка», герой Полевого являет собой воплощение русской удали, он любит погулять и повеселиться. В сложности политической борьбы он не вникает, а просто собирает дружину и отправляется, в отместку московскому князю, жечь подвластные тому города. Однако этот «лихой удалец» наделен нежной душой и благородным сердцем. Ради друга он готов забыть обо всем, даже о невесте в день сватовства. Рискуя собственной жизнью, Буслай спасает Владимира в Москве, куда тот отправляется с тайным поручением новгородцев-посадников. В финале повести Буслай со своей дружиной является в лагерь Дмитрия, осадившего Новгород, и, пренебрегая гневом князя и грозящей расправой, винится в разбое, прося лишь пощады и мира для родного города. Показав Буслая сильной, исключительной личностью, решающей исход событий, Полевой воплотил в нем свою романтическую мечту о свободном человеке. Необыкновенным характером наделен и Владимир, но он раскрывает другую сторону романтического мироощущения автора: трагический разлад с самим собой, понимание невозможности примирить мечту и действительность.

Есть в повести и драматические любовные коллизии, но в отличие от других писателей-романтиков Полевой отводит им скорее «служебную» роль: оттенить характеры главных героев и придать повествованию бóльшую поэтичность. А вот сказочно-фантастическая сцена встречи со стариком кудесником, «обморачивающим человека своим обаянием»,

казалось бы, совершенно неожиданная и случайная в историческом повествовании, имеет для Полевого принципиальное значение: нравы и обычаи русской старины нельзя себе представить вне различных суеверий, которые являются как бы частью народного сознания, и воссоздание духа эпохи без этой веры было бы неполным. Этот сказочный колорит писатель, возможно, хотел даже усилить. Назвав журнальный вариант повести «Святочными рассказами», он предпослал ему вступление — разговор в гостиной о русской старине. «А что ни говорите, но я люблю рассказы о ведьмах, мертвецах, колдунах и привидениях и всегда с радостью слушаю страшные повести»,— заявляет один из собеседников[1]. Однако «страшной повести», заявленной во вступлении, не получилось: Полевой-историк «победил» Полевого-художника.

События «Повести о Симеоне, Суздальском князе» (в журнальном варианте 1828 года имела название «Симеон Кирдяпа») относятся уже к 90-м годам XIV столетия и разворачиваются в другом древнем русском городе — Нижнем Новгороде. Но, как и в первой повести, в центре внимания Полевого-историка остается важнейший политический конфликт эпохи: объединение русских земель под единовластием Москвы и борьба с непокорными, стремящимися к независимости княжествами. Основная историко-философская идея повести: неизбежность и государственная необходимость установления единодержавной власти как залог будущего величия Руси. С этой точки зрения, сама борьба Суздальско-Нижегородского княжества с московским князем Василием Дмитриевичем — исторически обреченное дело. Поэтому столь трагична судьба главного героя повести Симеона, купца Замятни, боярина Дмитрия, сражающихся за независимость своего княжества. Но нравственно-этическая оценка героев у Полевого чисто романтическая: само по себе свободолюбие — это исконно русское начало в человеке и не может не вызывать симпатии. Симеон и его единомышленники наделены сильными романтическими характерами, смелостью, преданностью, благородством, а сама их трагическая обреченность отражает выстраданную писателем мысль о неизбежности столкновения свободолюбивой личности с действительностью и его фатальном исходе...

Тема судьбы русского народа — одна из важнейших в повести. Нашествие на Русь «страшного Тимура» показано как народное горе, заслоняющее судьбы отдельных героев. Да и в целом «Повесть о Симеоне» отличает бóльшая, нежели в «Святочных рассказах», эпическая широта, преимущественный интерес к изображению эпохи в целом. Эта повесть Полевого вызвала самую лестную оценку Белинского, отмечавшего в ней «живую картину прошедшего, начертанную могучею и широкою кистью»[2]

---

[1] Моск. телеграф.— 1826.— № 12.— С. 122.
[2] Белинский В. Г Собр. соч.— Т. 1.— С. 156.

Завершив тему княжеских усобиц романом «Клятва при гробе господнем» (1832), Полевой делает попытку проникнуть своим воображением в отдаленную эпоху «изначальной», дохристианской Руси. В повести «Пир Святослава Игоревича, князя Киевского» (1835) писатель создает живописную, полную экзотики картину быта и нравов древних славян. Подзаголовок повести — «Византийская легенда» определяет и основной документальный источник повествования, и право писателя на свободу поэтического вымысла. Однако былинно-песенная интерпретация событий не заслоняет у Полевого идеи народности, характерной для всех его исторических повестей. Князь Святослав даже в минуту отдыха, на охоте остается государственным деятелем, думающим о благе родной земли.

Позже, в 1843 году, Полевой объединил лучшие, на его взгляд, исторические повести («Повесть о Симеоне, Суздальском князе», «Повесть о Буслае Новгородце» и «Пир Святослава Игоревича») в одну книгу под названием «Повести Ивана Гудошника». Этот «посредник» появился не случайно. Читатель уже был с ним знаком по роману «Клятва при гробе господнем», где «Гудочник», давший клятву восстановить независимость Суздальского княжества, выражал народную идею романа. Теперь, выводя Гудошника в роли рассказчика, писатель еще раз как бы подчеркивал свою верность принципу самобытности русской литературы. Наряду с тремя историческими повестями Полевой включил в книгу «Старинную сказку о судье Шемяке с новыми присказками». Жанр сатирической и фантастической сказки был одним из излюбленных у романтиков, но для самого Полевого он не был характерен. «Сказка» представляет собой оригинальную обработку известной с XVII века сатирической «Повести о Шемякином суде». В этой повести рассказывалось о незадачливом бедняке крестьянине, которого преследуют несчастья. Попросил у богатого брата лошадь привезти дров, брат дал, но без хомута. Бедняк привязал лошадь к дровням за хвост — и оторвал хвост. Богатый ведет бедного к судье Шемяке. По пути заночевали у попа. Бедный с полатей засмотрелся, как ужинают богатый брат с попом, упал — и убил попова младенца. Теперь уже два истца повели бедного к Шемяке. Замыслил бедный покончить счеты с жизнью, прыгнул с моста, но, падая, задавил больного старика. В качестве жалобщика отправился к судье и сын убитого. Повесть кончается счастливой развязкой: отчаявшийся бедняк завернул в платок булыжник, чтобы прикончить судью, а тот подумал, что в платке слиток золота, и рассудил в пользу бедняка.

Этот анекдотический сюжет Полевой полностью переносит в свою сказку, но делает его лишь вставной «новеллой», которую рассказывает один из мужиков, сидящих на завалинке. Основной же интерес повествователя вызывают всевозможные присказки на все случаи жизни, которыми постоянно прерывается повесть о Шемяке. Неповторимый колорит придает «Сказке» речевая манера повествователя: нарочито много-

словная, витиеватая. Автор как бы поддразнивает читателя, которому не терпится поскорее добраться до сути рассказа: «Вот куда занесла меня моя неосторожная привычка заговариваться — право, какая неосторожная привычка! Если бы начал я сказочку напрямик, с самого начала, так уж давным-давно сказка моя была рассказана. Кто же знал, что пройдет много времени, пока успею я разговориться с вами, господа!» Веселая и задорная, блещущая юмором, сказка Полевого не лишена и серьезности. Из разбросанных по всему повествованию подробностей деревенского быта, из отдельных реплик героев постепенно складывается облик русского крестьянина: мудрого, рассудительного, с хитринкой и чувством юмора, хотя, пожалуй, слегка идеализированного. В «Сказке о Шемяке» писатель явно приближается к реалистической манере повествования.

Интерес писателей-романтиков к историческому прошлому России не исключал и их пристального внимания к современности. Наиболее важной им представлялась проблема пагубного воздействия светского общества на личность. Эта проблема разрабатывалась в жанре так называемой «светской» повести, сюжет которой обычно основывался на трагическом конфликте незаурядного героя и непонимающего его пошлого и порочного «света». Конфликт реализовывался в повести как любовно-психологическая драма; романтическая критика света в основном ограничивалась нравственной сферой, проблемы социальные, гражданственные почти не затрагивались. Особую жанровую разновидность «светской» повести представляли собой произведения о судьбе художника в обществе. Эта тема была особенно близка романтикам, так как являлась своеобразной формой автобиографического повествования. Каждый русский писатель-романтик на себе испытал трагедию непонимания и отчуждения светской толпы. И, пожалуй, особенно это относится к Николаю Полевому («сколько раз разочаровывался я в мечтах моих, сколько раз обманывали меня обольстительные надежды!»). Может быть, именно поэтому лучшей из романтических повестей писателя на современную тему является повесть «Живописец» (1833). Герой повести Аркадий — талантливый художник, способный не только сам творить, но и глубоко разбирающийся в проблемах искусства (о чем говорят его дневниковые заметки). Однако среди «ценителей» он встречает полное непонимание. Выставленная им картина «Прометей», в создание которой он вложил всю свою душу, вызывает лишь насмешки и издевательства. Современное общество, глубоко чуждое истинному искусству, не нуждается в творческой личности,— таков вывод писателя. Обостряя конфликт Аркадия со «светом», Полевой придает ему антидворянскую направленность: общество отказывает художнику в праве на признание и из-за его «низкого» происхождения.

Не признанный как художник, Аркадий терпит поражение и в любви. Высокий, идеальный мир оказывается недоступным Вериньке: она пред-

почитает Аркадию ничтожного, но богатого жениха. Тонкий психологический анализ любовного чувства героя, сложной и противоречивой борьбы, которая происходит в его душе, составляет одно из главных достоинств повести.

Литературное творчество, изнуряющая работа над «Историей русского народа» отвлекали Полевого от журнальной деятельности, и с 1829 года редактором «Московского телеграфа» фактически становится его брат — Ксенофонт. «Суровому Ксенофонту» Полевой вполне мог доверить авторитет журнала, ибо их связывало не только родство, но и крепкая, удивительно трогательная дружба («где бы я ни был и что бы я ни был,— в душе моей вечно будет он, мой единственный друг»). Союз этот, возникший еще в юности, оставался нерушимым до последних дней жизни Николая Полевого. И глубоко закономерно, что именно Ксенофонт стал первым биографом писателя. Нужно сказать, что добрая и открытая натура Полевого всегда привлекала к нему людей. Хотя на врагов ему «везло», пожалуй, больше, нежели на друзей. Но зато какие это были друзья! Виссарион Белинский, всегда находивший в доме Полевых радушный прием и поддержку, на всю жизнь сохранил к его хозяину самые теплые чувства (хотя идейно-литературные позиции их и разошлись). Часто бывал у Полевых и московский студент Александр Герцен, с которым они вели жаркие философские споры. Надо было иметь большую смелость, чтобы поддерживать дружескую переписку со ссыльным декабристом и писателем А. Бестужевым-Марлинским («Не знаю, известна ли кому наша переписка, не знаю, что могут из нее заключить. Но, чистый совестью, не боюсь я никого и ничего»). Позже, уже в Петербурге, «домашним» человеком у Полевого был мало кому тогда известный журналист Николай Некрасов... Несомненно, что и авторитет «Московского телеграфа» во многом определялся личностью его издателя. Но даже личное обаяние Полевого не помогло, когда правительство приняло решение о запрещении «Телеграфа». Граф Уваров уже давно яростно ненавидел и журнал, и его издателя, справедливо видя в его либерально-демократическом направлении угрозу своей реакционной формуле — «православие, самодержавие, народность». Нужен был лишь повод, и он нашелся: появление в журнале отрицательного отзыва о драме Нестора Кукольника «Рука всевышнего отечество спасла», получившей «высочайшее» одобрение. С апреля 1834 года один из лучших русских журналов перестал существовать, а имя его издателя запрещено было упоминать в печати. Отныне Полевой становится человеком без имени. Но «даже в эту минуту не променяюсь с многими, которые сегодня спокойно встали с постелей и поскачут по Петербургу в богатых экипажах». Да, десять лет «Московского телеграфа» были лучшими, самыми счастливыми годами его жизни, годами исполнения мечты о высоком служении русской литературе. Но

что делать теперь? «Воздух Москвы был тлетворен для меня, губил меня, жег меня... Итак... бежать!» Начиналась еще одна жизнь, третья, заключительная повесть... «Крушение».

В октябре 1837 года Николай Полевой навсегда покинул Москву. Уезжал он больным и растерянным. «Ведь жизнь-то значит счастье и наслажденье,— с грустью признавался он Ксенофонту,— а я откупорил стклянку с этим небесным газом — он вылетел, и теперь как ни запирай эту драгоценную стклянoчку,— она пуста! Остается улыбнуться и ждать, когда судьбе будет угодно разбить ее...»[1] Но Полевой по своему характеру был воинствующим романтиком, и даже чувство трагической обреченности не лишало его работоспособности и надежды на лучшее («Я умру в бою с жизнью, не теряя достоинства человека»). И он вновь берется за журналистику, заключив временный и вынужденный союз с Булгариным и Гречем. Однако обязанности редактора «Русского вестника» и «Северной пчелы» не приносят ему удовлетворения: Полевой чувствует, что сотрудничество с официозными литераторами разрушает его былой авторитет. К тому же постоянные финансовые трудности, семья из восьми человек на грани нищеты... О жизни Полевого в эти годы дают представление его дневники, которые он тщательно скрывал (даже Ксенофонт о них не знал, когда писал свои «Записки»). Опубликованы эти записи были лишь в 1888 году сыном писателя, известным в то время историком литературы П. Н. Полевым[2]. Страницы дневника — потрясающая исповедь человека, оказавшегося на грани душевной и материальной катастрофы. Вот некоторые из петербургских записей: «Жизнь однообразная, грустная в работе тяжелой и беспрерывной, убийственной для души и неблагодарной! Кто ценит ее? И что в ней ценить? (..) Обед, ужин, чай, холод, безденежье и — тоска...»; «Бедная жена моя отправилась заложить в ломбард перстень...»; Ничто делать не могу! Хозяин требует денег за квартиру»; «Два раза квартальный. Отсрочил до понедельника. Болен — спазмы, голова... Если продолжится... я издохну. Кругом безнадежность — работы тьма, ничего не кончено и сил нет...» И еще одна страшная своим лаконизмом запись: «Бездна кругом». Трудно представить себе, что это всего через четыре года писал знаменитый редактор «Московского телеграфа», реформатор и гроза литературных авторитетов! Нет, это был уже другой человек. И выход для себя он видел лишь в одном: оправдаться перед правительством, доказать свою лояльность «доброму царю русскому». Царь благосклонно принял премьеру пьесы «Дедушка русского флота» оценив ее верноподданническую идею и одарив автора перстнем с бриллиантом

---

[1] Полевой Н. Избр. произведения и письма.— С. 521.
[2] См.: Исторический вестник.— 1888.— Т. 31—32.

(не его ли закладывала в ломбард жена писателя?), но положение не изменилось. По-прежнему приходилось заниматься литературной поденщиной, выправлять безграмотные рукописи. Такая работа неизбежно убивала творческое вдохновение, и тогда наступали дни, самые страшные для литератора: «Приходил в отчаяние, что не могу писать!»

Наверное, было бы несправедливо вычеркнуть из творческой жизни писателя его последнее петербургское десятилетие. Полевой создает около 40 пьес, которые в те годы во многом определяли театральный репертуар и имели немалый сценический успех. У Полевого был несомненный драматургический талант, хотя сам он, всегда критически оценивавший собственное творчество, сознавал «свое жалкое бессилие против великих образцов». Сохраняется у писателя и интерес к русской истории, он пишет документальную «Повесть о великой битве Бородинской» (1844), начинает фундаментальный труд по «Истории Наполеона», закончить который помешала смерть.

Однако обстоятельства жизни накладывали свой отпечаток и на творчество. Многое писалось в спешке, особенно пьесы, что лишало произведения Полевого той художественной завершенности, которая характерна для его романтических повестей 20—30-х годов. Сказывалась, конечно, и верноподданническая направленность творчества писателя последних лет. К чести Полевого он все это понимал и в январе 1846 года предпринял попытку порвать с официозной литературой, согласившись редактировать «Литературную газету» Краевского. Но внезапная смерть от «нервической горячки» помешала осуществиться его последней мечте... 22 февраля 1846 года Полевого не стало. Согласно завещанию писателя хоронили в простом крашеном гробу, который до самого кладбища несли на руках друзья. Рассказывают, что, когда Булгарин также хотел взяться за ручку гроба, кто-то, кажется, актер Каратыгин, язвительно заметил: «Уж ты его довольно поносил при жизни». Возможно, это уже из разряда литературных анекдотов, но здесь есть своя правда: несмотря на временное сотрудничество с булгаринским «триумвиратом» (Греч, Сенковский), Полевой по духу и таланту всегда принадлежал передовой русской литературе. И глубоко прав был Белинский, когда писал: «Заслуги Полевого так велики, что, при мысли о них, нет ни охоты, ни силы распространяться о его ошибках...»[1]

Судьба выдающейся личности всегда не только интересна, но и поучительна. Оглядываясь на пройденный им жизненный путь, Николай Алексеевич Полевой, как истинный Просветитель стремился передать накопленную мудрость новым поколениям: «Ни у кого из нас не отнята воля на труд, а при сильной воле человек может сделать многое, очень

---

[1] Белинский В. Г. Собр. соч.— Т. 8.— С. 179.

многое, больше, нежели он себе сначала воображает. ...помните, что только трудом и размышлением покупается честь и успех, упорством, постоянством в стремлении к *положенной цели, и что не* редко — часто даже — нас встречают неблагодарность, злоба, своекорыстие, насмешка. Не робейте, друзья! Паче всего гоните от себя дух уныния; ищите награды в самом труде, не ожидая другой награды — придет и она, может быть...» Это не просто слова. Это выстрадано. И так же искренно и без малейшей фальши, как и лучшие образцы его творчества.

Б. КОНДРАТЬЕВ

ЖИВОПИСЕЦ



Ich kenn ihn lang, er ist so leicht zu kennen
Und ist zu stolz, sich zu verbergen. Bald
Versinkt er in sich selbst, als wäre ganz
Die Welt in seinem Busen, er sich ganz
In seiner Welt genug, und alles rings
Umher verschwindet ihm. Er läßt es gehn,
Läßt's fallen, stößt's hinweg und ruht in sich —
Auf einmal, mie ein unbemerkter Funke
Die Mine zündet, sei es Freude, Leid,
Zorn oder Grille, heftig bricht er aus:
Dann will er alles fassen, alles halten,
Dann soll geschehn, was er sich denken mag,
In einem Augenblicke sollte, entstehn,
Was jahrelang bereitet werden sollt,
In einem Augenblick gehoben sein,
Was Müne kaum in Jahren lösen könnte.
Er fordert das Unmögliche von sich,
Damit er es von andern fordern dürfte.
Die letzten Enden aller Dinge will
Sein Geist zusammenfassen; das gelingt
Kaum einem unter Millionen Menschen,
Und er ist nicht der Mann: er fällt zuletzt,
Um nichts gebessert, in sich selbst zurück...

Гете. Торквато Тасс[1]

---

[1] Его давно я знаю...
Он слишком горд, чтобы скрываться. Вдруг
В себя он погружается, как будто
Весь мир в его груди, он тонет в нем,
Не видя ничего вокруг себя.
Тогда он все отталкивает прочь,
Покоится в самом себе, и вдруг
Он бурно извергает радость, скорбь,
Причуду, гнев. Он хочет все схватить,
Все удержать, тогда должно случиться
Все, что сейчас пришло ему на ум.
В единый миг должно произойти,
Что медленно готовится годами.
В единый миг он хочет разрешить
То, что во много лет неразрешимо.
От самого себя и от других
Он требует того, что невозможно.
Желает он пределы всех вещей
Схватить за раз, а это удается
Едва ль из миллионов одному,
Он не из тех, и должен наконец
Уйти в себя, не став нисколько лучше.

Пер. с нем. С. Соловьева



I

> Я жизни сей не раб презренный:
> Я проводник того огня,
> Который движет всей вселенной
> И с неба льется на меня!
>
> *Вельтман*

Итак, я решился сам ехать в Петербург. Уже все было готово для моей поездки, когда пришел ко мне бывший уездный казначей нашего города, добрый, почтенный старик. Прослужив беспорочно лет сорок, он жил на покое, с небольшою пенсиею и большим семейством, довольный тихим своим жребием. Из детей его два сына служили в нашем городе и считались деловыми и честными чиновниками; один из них был уже сам отец семейства. В губернских городах обыкновенно все знакомы между собою, и почти никто не дружен. Я уважал нашего старого казначея; в праздники мы платили друг другу визиты; иногда и в будни бывал я у него, а он у меня. Тем ограничивались все наши отношения. Мы обыкновенно и всего чаще говаривали о погоде, о новостях. Старик любил читать газеты, пить чай в дружеском кругу, любил выкурить трубку табаку и потолковать о переменах министров и государственных чиновников. Он служил некогда при графе Безбородко: это было бесконечным предметом для его рассказов. В течение тридцатилетней жизни и службы в провинции старик не мог отвыкнуть от всегдашней поговорки своей: «У нас в Петербурге — у нашего графа Александра Андреевича...» *«Мы петербургские»*,— прибавлял он с особенным удовольствием.

— Я зашел к вам на минутку,— сказал он мне,— и нимало не задержу вас.

— Всегда рад вам сердечно.

— Рады, я уверен; но при отъезде бывает много хлопот — не буду мешать и расскажу коротко, в чем дело: сделайте мне большое одолжение, если только это не отяготит вас.

— Прошу вас только сказать мне.

— Все дело, изволите видеть, в том, что вот письмо

к младшему сыну моему, живущему в С[анкт]-Петербурге.

— Я и не знал, что у вас сын служит в Петербурге.

— Ах! если бы *служил,* я и не утруждал бы вас. А то, бог знает, как вам и сказать...

— Разве вы им недовольны... если только этот вопрос не нескромность с моей стороны.

— Помилуйте! Любя и уважая вас как человека *солидного и степенного,* я именно вас хотел просить, чтобы вы узнали в Петербурге поподробнее о моем сыне. В прошлом году я просил было об этом нашего почтенного г-на прокурора, когда он ездил в Петербург; но ему было некогда. Он послал письмо мое с своим человеком и велел сынишку моему прийти к себе, а тот не пришел. Ныне ездил в Петербург почтеннейший г-н почтмейстер, но забыл письмо мое дома, не знал адреса и не видал моего сына. Впрочем, всякий едет в Петербург с своими хлопотами. Ведь у нас в Петербурге бездельников нет. Если уже кому-нибудь и в самом деле нечего делать,— ну, так по крайней мере показывает, что будто делает что-нибудь. А с этим сообразается всякий, кто приезжает в Петербург.

Признаюсь, как ни уважал я старого казначея, но поручение его было мне неприятно. Я думал, что он заставит меня искать по Петербургу какого-нибудь молодого повесу, отставного корнета или коллежского секретаря, шалуна, препоручит мне усовещивать его, приводить на путь правый...

Может быть, старик заметил неприятное выражение на лице моем. Он было опустил уже руку в карман свой, чтобы вынуть письмо, и вдруг остановился.

— Впрочем, если вам некогда будет заняться моею просьбою,— сказал он,— то будьте только откровенны, я не обременю вас...

— О, нет, нет!— отвечал я.— Пожалуйте мне ваше письмо. Вы знаете, что я должен прожить в Петербурге долго, и времени свободного будет у меня немало.

— Ах, сударь! не будучи сами отцом, вы не можете судить о чувстве родительского сердца, когда отец ничего не знает об участи своего сына!— Слезы навернулись на глазах старика.— Двое детей со мною, и, нечего сказать,— утеха моя на старости, кормильцы моей дряхлости; а ведь я сам чувствую, что люблю моего ветреника петербургского более их...— Старик вынул из кармана клетчатый бумаж-

ный платок и утер глаза.— Вот уже более года от него нет даже писем!

Мне стало совестно. Мгновенный порыв эгоизма рассеялся, когда я увидел отца, плачущего о милом, может быть, погибшем сыне.

— Пожалуйте мне ваше письмо,— сказал я с жаром,— и верьте, что вы получите от меня верные сведения о сыне вашем. Если я могу чем-нибудь быть ему полезен, то готов употребить все силы.

— Благодарю вас. Вы утешаете меня словами вашими. Но я прошу только одного: откровенности вашей. Повидайтесь с сыном моим, поговорите с ним, наблюдите за ним и потом скажите мне без закрышки и добро и худо. Но помощи вашей никакой не надобно. Я знаю моего ветреника: он будет умирать с голода, а пособия не примет ни от кого; при всем добром сердце своем он не послушается ничьих советов. Если бы только знал я, что ему есть нужда, то последнее послал бы к нему. Но это будет бесполезно: он отошлет назад. Да я же и не ведаю: где он и что он!

— Вы изумляете меня. Если он так благороден и горд, то почему же вы беспокоились о нем? Из первых слов ваших можно б было заключить, что сын ваш какой-нибудь шалун...

— О нет, сударь, но...— Старик вздохнул.— Боюсь, что ему худо жить на белом свете! У нас в Петербурге не житье людям, подобным Аркадию моему...

— Но для чего же вы отправили его в Петербург?

— Его вырвали у меня — он сам вырвался у меня! Бог судья покойнику, его превосходительству Григорью Григорьевичу: сбил с толку моего сынишка и меня!

— Стало быть, сын ваш уже давно находится в Петербурге? Григорий Григорьевич был у нас губернатором лет десять тому.

— Нет! Пятнадцать минет о Петрове дне, как он уехал, и вот уже пять лет, как он изволил скончаться. Можно ли было не послушаться! Мы с его превосходительством были, изволите видеть, сослуживцы и вместе служили у нашего графа. Ему повезло: умен был; я не пошел в гору: уехал сюда, женился. Но когда потом его превосходительство изво́лил приехать к нам губернатором,— ведь не забыл, сударь, он старого сослуживца! Бывало, всегда так ко мне милостив: всегда изволит говорить со мною, когда приедем, бывало, к нему в большой праздник. Да, сударь, дай бог ему царство небесное! не гордился он

со мною! И г-н вице-губернатор стоит да щиплет плюмажик, и г-н прокурор руки *по швам,* а меня за руку и начнет: «Что, брат Иван Перфильевич? Как поживаешь? Ну, что у тебя в казначействе? Не развелось ли много крыс?» Зависти-то сколько было, когда он взял к себе моего Аркадия! А вот люди не знают, чему завидуют!

— Но, вероятно, Григорий Григорьевич видел необыкновенные способности вашего сына и хотел доставить ему хорошее место?

— Да ведь он и не думал определить его в службу.

— Как? Что это значит? Для чего же он взял его с собою?

— И сам растолковать вам хорошенько не умею! У моего Аркадия совсем не было отличных способностей, грамоте учился он плохо, нрава с малолетства был пречудного: нелюдим и ветреник, шалун и плакса... Одно только и было его любимое занятие: писать картинки. Славно писал он их, нигде не учась: сам, сударь, выучился! Бог открыл ему дарование. Его превосходительство полюбил Аркадия; сначала только призывал его к себе; потом он по неделе проживал у него иногда на даче, а наконец всегда бывал с ним, прогуливаются, бывало, вместе по лесам, по полям. Я не узнавал моего Аркадия: он сделался тихий, смирный такой. Наконец его превосходительство потребовал у меня Аркадия с собою, когда изволил быть переведенным в Петербург. Я было сначала не соглашался. Как теперь помню, призвал меня к себе его превосходительство; Аркадий стоит печальный у окна, а его превосходительство, в первый раз, начал со мной говорить не шутя и так, как никогда еще не говаривал. Я ничего из слов его не понимал. «Может быть, сын твой переживет тебя, и меня, и весь твой город, и век наш!— говорил он.— Ты хочешь сделать из него подьячего и не понимаешь божественной силы, какая заключена в душе его!» Ну, и прочее, и прочее, что я со страха едва расслушал. Глаза его превосходительства были страшны. Я видел, что он рассержен,— нечего сказать — испугался! Аркадий уехал с ним и поселился в Петербурге. Право, уж не умею сказать, чему он все это время учился. Да вот, сударь, что значат людские намерения! Его превосходительство сказал мне, что обеспечит будущую судьбу моего сына, а это были только пустые слова. Его превосходительство скоропостижно скончался. Я знаю, что Аркадий был его другом и любимцем до самой смерти, что Григорий Григорьевич определил его в Главное училище живописи. Но

как бы это ни было, а его превосходительство ничего не оставил моему сыну. Я писал к Аркадию об этом, и, позвольте,— вот со мною ответ Аркадия. Посудите, что мне с ним делать?

Слова старика возбуждали во мне сильное любопытство. Я взял письмо. Оно было написано связным, но смелым округлым почерком и прямо набело, ибо несколько помарок показывали, что его не приготовляли на досуге, что оно вылилось на бумагу прямо из сердца. Вот оно, слово в слово; я выпросил его у старика:

«Последнее письмо ваше, любезный родитель, опечалило меня, а приписка братьев еще более. Простите, если буду с вами откровенен. Вы изволите спрашивать, почему, уведомляя вас о моем несчастии, кончине моего благодетеля, я ничего не сказал о том, исполнил ли он свое слово и наградил ли меня чем-нибудь в своей духовной? К этому присовокупляете вы сожаление и поставляете бога судьею, если благодетель мой не исполнил данного вам слова. Слова ваши растерзали мое сердце. Если бы вы не были моим отцом, отцом всегда для меня незабвенным, обожаемым мною, я ничего не отвечал бы вам, и — клянусь богом — не только никогда не писал бы я к вам более, но никогда и не встретился бы с человеком, написавшим мне письмо, подобное вашему! На коленях прошу прощения вашего, если слова мои покажутся вам дерзки. Но я со слезами молю бога простить несправедливый ропот ваш и то оскорбление, какое нанесли вы ропотом вашим священной для меня тени моего благодетеля! Правда, он мне не оставил ничего по духовной, если это угодно вам знать,— ничего потому, что не думал о своей духовной. Кончина его была неожиданная. Но неужели тогда только был бы он моим истинным благодетелем, когда дал бы мне кусок *насущного хлеба?* Неужели только деньгами мог он оказать мне благодеяния? Не знаю, чем не обязан я ему; не знаю, что был бы я, если бы провидение не привело меня при начале жизни моей к этому спасителю, ангелу-хранителю моему! Если я еще живу, если я чувствую бытие мое, всем этим ему одному я обязан — ему и никому более! Еще раз простите мне, любезный родитель! Пишу, что сказывает мне сердце мое; не смею перечитать написанного, но не в силах писать к вам иначе. Может быть, мы не поймем друг друга, но я знаю добродетельную душу вашу, знаю ваше чистое, святое сердце, и к ним отношусь я. Прошу вас обо мне не беспокоиться. Руки и голова у меня здоровы, и я не умру с голода. И в этом случае невольно обращаюсь я

к приписке братьев моих. Им угодно пенять, что я не пишу к ним ничего о своих обстоятельствах, что я делаю и где я нахожусь. Им угодно осуждать меня в какой-то беспечности, в какой-то ветрености. Желаю им счастья и только одно напомню: просил ли я у них хотя какого-нибудь пособия с тех пор, как расстался с ними? Смею уверить их, что никогда и вперед в тягость им не буду. Горек хлеб чужой, но от родного, который напоминает нам, что нас кормит,— это не полынь, а яд! Правда, что доныне я еще не мог быть полезным вам, любезный родитель: это сокрушает меня, и одно из пламенных желаний моих есть то, чтобы бог привел меня некогда успокоить старость вашу. Братья мои обладают уже этим счастием, и неужели не понимают они цены его? Осмеливаюсь думать и надеяться, что бог пособит мне некогда быть вам полезным — может быть, более их. До тех пор желаю, чтобы другие дети ваши превзошли меня в горячей молитве, какую воссылаю я к богу за вашу драгоценную жизнь, в любви и почтении, какими преисполнена к вам душа моя».

— Ну вот, сударь, такие-то письма присылал всегда ко мне мой Аркадий! Что прикажете мне думать о нем и что с ним делать?

— Ничего, почтенный человек, ничего! Можете быть уверены, что ваш Аркадий есть чистая, светлая душа...

— О душе-то я и не спорю; да голова-то у него...

Старик провел указательным пальцем по голове своей.

— И вот уже прошло с год, как я вам докладывал, он вовсе ко мне не пишет. Притом чистая душа не помешает быть ветреником и умереть с голода, если мы будем только, знаете, летать по поднебесью и забывать о земле. Боюсь, сударь, я: не скрывают ли чего-нибудь от меня? Жив ли он? Не знаю и того, что теперь делает он в Петербурге? В последнем письме писал он, что хочет ехать за границу и поедет на счет Главного училища живописи... Об этаких людях говаривал наш граф Александр Андреевич...

— Успокойтесь: верьте, что я увижусь с сыном вашим и обо всем вас уведомлю,— возразил я с невольным чувством.— Но на письме вашем нет адреса?

Старик опустил голову, помолчал и сказал потом печально:

— Я не знаю, где теперь живет мой Аркадий! С тех пор, как его выключили из Главного училища живописи...

— *Выключили?* Давно ли?

— Да будет с полгода, сударь, как говорил мне об этом один проезжавший здесь чиновник, который знает

всех главных учителей в училище живописи,— выключили за ссоры, за беспокойный характер! Вот видите, что все это должно тревожить меня как отца, нежно любящего! Ах, ради бога, сударь! Вы не сделаете так, как г-н прокурор и г-н почтмейстер наш! Узнать об Аркадии всего вернее можно в доме г-на N. N., человека почтенного, коллежского советника и кавалера, моего старого сослуживца, к которому всегда ходит Аркадий.

Мы расстались. Разговор с старым казначеем растрогал меня. Мне нетерпеливо захотелось узнать его странного сына, в котором я не мог дать сам себе отчета. Признаюсь: молодой человек, бывший любимцем умного и добродетельного чудака, несколько времени находившегося губернатором в нашем городе, и писавший после смерти его письмо, читанное мною, не мог быть ничтожным ветреником или шалуном, не отличенным каким-нибудь высоким дарованием. Но если, по русскому обычаю, он как художник подвергался какой-нибудь несчастной слабости или дарования его затмевались примесью чего-либо недостойного высоких дарований? Если он был нечто *недоконченное,* с душою великою, но лишенною средств достигнуть своего назначения,— создание малодушное, робкое, безрассудное? Словом, мне, по крайней мере, весьма любопытно было узнать Аркадия.

«Только *любопытно*?» — скажете вы. Что ж делать! В мои годы перестают уже *любить* психологические странности, любить только за то одно, что они странны. Это чувство проходит с годами. Невольно делаешься эгоистом в сорок лет, отдружившись, отлюбивши на свой участок. Притом жизнь в провинции бывает такая положительная и приводит в такое оцепенение чувства души... Общее поверье, что в сорок лет надобно быть *степенным* и *солидным,* как называл меня старый казначей и каким я почитал себя,— все это холодило мое участие и превращало его — признаюсь — только в простое любопытство, но сильное и живое.

Дня через два по приезде моем в Петербург я увидел, что мне придется долго, год или более, прожить в Северной Пальмире. (Так называют Петербург, хотя не понимаю почему, ибо пески Сирии столько же не походят на болота Ингерманландии, сколько развалины Пальмиры на великолепный Петербург.) Мысль об Аркадии мелькнула в голове моей. Воспоминание о разговоре с его отцом и письме, читанном мною, во всю дорогу не оставляло меня. Прежде всего отправился я к г-ну N. N.

На пороге небольшого опрятного дома в грязной Колокольной улице встретился со мною человек, сухощавый, в вицмундире, с Аннинским крестом на шее, с Владимирским в петлице. Спрашиваю у него о г-не N. N.

— Это я сам,— отвечал мне незнакомец.— Что вам угодно?

— Я желал бы узнать, милостивый государь, где живет некто Аркадий...

Лицо г-на N. N. покосилось.

— Этого я не могу сказать, милостивый государь,— угрюмо проворчал г-н N. N.

— Но мне говорил отец его, что вы с ним хорошо знакомы.

— Отец его говорил вам несправедливо, милостивый государь.— Я, точно, позволял этому молодому человеку посещать дом мой, и Аркадий, точно, бывал у меня прежде, но уже более года я с ним не вижусь.— Г-н N. N. приподнял шляпу и хотел идти.

— По крайней мере, позвольте мне узнать об этом молодом человеке.

— Извините, я спешу к должности и мне некогда. Спросите о нем в Главном училище живописи.— Г-н N. N. сухо поклонился и ушел.

«Начало плохое»,— подумал я. Отзыв его об Аркадии не рекомендует молодого человека. Мы так привыкли к *рекомендации,* этому адресному билету обществу, что прежде всего по ней начинаем судить о человеке, не думая, кто подписал его адресный билет. Итак, Аркадий, верно, какой-нибудь ветреник и шалун? «Но этой ли сухой роже поверю я, хотя она принадлежит коллежскому советнику и кавалеру! Знаю я вас, господа!» — сказал я, с досадою стуча в камни мостовой моею палкой. Странное дело: свидание с г-м N. N., напротив, усилило желание мое узнать Аркадия! «Но где искать его?» — подумал я и послал служителя спрашивать в Главном училище живописи. Он не добился толку. Старый учитель тамошний качал головою, слыша вопросы об Аркадии. Он начал расспрашивать служителя обо мне, узнал, что я приезжий помещик, и проч., и проч.

— На что же твоему барину этого молодца?— спросил он наконец.— Если заказать портрет, так вот тебе, братец, лучше адрес моего отличного ученика Чистомазова.

— Нет, сударь, не портрет заказать, а есть у барина к г-ну Аркадию письма от отца его.

— От отца? Ну, не порадуется твой барин новому

знакомству! Не знаю, братец, не знаю, где он живет. Да и никто этого у нас не знает. Он переменяет по три квартиры в год, а иногда и более.

По обыкновению русских слуг мой служитель передал мне разговор слово в слово, с прибавлением «дескать» и «мол». «Плохо!— подумал я.— И тут его не любят!» В тот же день отправился я в Эрмитаж. Вдруг мне пришло там в голову спросить об Аркадии у одного старика-живописца, который, смотря в большие очки, с помощью молодого ученика своего списывал одну из огромных картин Каналетти.

— Вот, сударь, в десятый раз списываю эту картину,— сказал мне старик, когда я начал с ним разговор об его работе,— в десятый!

— Может быть, вы находите в ней какое-нибудь высокое достоинство, судите о ней как опытный художник и стараетесь особенно изучить ее?

— О нет!— в замешательстве отвечал старик.— Я, конечно, сударь, старый художник, понимаю красоты этой картины и две или три копии сделал с нее, в самом деле, совершенные. Но эту копию делаю я, как простой мазилка.

— Как это?

— А вот видите — не прикажете ли табачку?— Он открыл свою золотую табакерку.— Славный художник, известный наш декоратёр Бестиаго, говаривал: «Злава злавой, а теньга теньгой!» Просто делаю, сударь, я эту копию наскоро, для любителя одного, которому все равно, худо ли, хорошо ли сделано. В неделю и то вот этот молодой человек перемажет, а я поправлю и возьму добрые деньги. Видите: я прославился копиями с Каналетти, и мне их всегда заказывают. А между тем этот молодец учится, привыкает, а со временем сам станет копировать не хуже моего!

Молодой ученик покраснел и отворотился. Старик не замечал этого и продолжал:

— Я, сударь, верю тому, что было напечатано некогда в «Пантеоне иностранной словесности», именно словам великого Бюффона: гений есть терпение в высочайшей степени. Истинно так! И это стараюсь я внушить ученикам своим. Про меня самого говаривали смолода, что будто у меня вовсе нет дарования. Но я, сударь, дарование свое высидел, как курица цыпленка.

— Вы, конечно, член Главного училища живописи?

— К вашим услугам: я там старший учитель по пей-

зажной живописи. У нас ведь все разделено на разряды, и кому что определено, тот тем и занимается, а в другую часть не забегает.

— Не был ли у вас учеником Аркадий...?

— Воспитанник покойного генерала***? Как же, сударь, был!

— Скажите, где он теперь? Мне любопытно знать о нем.

— Вот уж этого порядком сказать вам не могу. Он лет с пять, думаю, как вовсе перестал учиться у нас. При сильном покровительстве своего генерала и прежде почти всегда находился он в отпуску и только числился при училище.

— Я слышал, что недавно его совсем выключили?

— Нет! Он самовольно вышел, а потому аттестата и звания от нас не получил. Вы его знали?

— Нет!

— О, сударь, залетная голова! мальчик не дурак! То есть, я вам скажу, если б этот человек был поумнее, так из него вышел бы второй Лосенко в русской живописи. Но он сбился с толку, и мы, признаться, чтобы его опасный пример не испортил других, старались понемногу выживать его.

— А не потому, чтобы у него дарования не было?

— Нет! Дарование у него было бы, потому что дарование развивается, милостивый государь, наукою, и собственно наука у нашей братьи художников есть истинное дарование. Живописца тогда узнаете, будет ли он хороший живописец, когда он кончил курс живописи. Вот, например, и в стихотворстве: как узнать дарование, если стихотворец не выучился стихи писать и хоть чего-нибудь не написал — поэмы, что ли, ну, или там трагедии какой, или комедии.

— Из слов ваших можно заметить, что Аркадий если и имеет дарования, то характер у него дурной.

— Престранный, сударь, у него характер — ни добрый, ни худой. Он скромен, но упрямец, тихий, но пребешеный! Никогда, бывало, ссоры не заводит, а участник во всякой ссоре. Молчалив, а заговорит, так заслушаетесь. То вдруг учится прилежно, первый — и досадует; то совсем не учится, последний — и радехонек! Главное, я полагаю, он был в дурных руках, у этого генерала***, который избаловал, испортил молодого человека. Этот генерал*** был, сударь, умница, но чудак великий...

Тут какая-то толстая фигура перервала наш разговор.

Старик пошел с нею по зале и начал разговаривать заботливо. Ученик его бросил кисть, оборотился ко мне и сказал:

— Ах, сударь! Если вы не знаете Аркадия, не слушайте, что говорят о нем! Аркадий пример доброты, ума и дарования! Мог ли он ужиться с людьми, которых образчик вы сейчас видели!

Глаза ученика сверкали. Боясь ободрить этого молодого человека в негодовании, которое столь неосторожно изъявлял он против учителей человеку неизвестному, я сказал ему хладнокровно:

— Хвалю, что вы заступаетесь за Аркадия, но не советую никогда соединять с этим нескромности насчет ваших учителей и наставников.

Бедный молодой человек испугался.

— Ах, сударь,— сказал он робко,— не подумайте, чтобы я хотел осуждать моего почтенного наставника; но зачем же он сам несправедлив к такому человеку, каков Аркадий? Это самая высокая добродетель, это божественное дарование...

— Вы знакомы с ним?

— Нет! Несмотря на ласковость Аркадия, я не смею ходить к нему, боясь рассердить моего учителя. Он мне строго запрещает; но я знаю, где живет он.

— Скажите же мне.

Я поспешно записал адрес Аркадия; старик учитель подходил к нам; ученик схватил кисть и начал работать прилежно. Старик казался рассерженным.

— Вот, брат Ваня! Мы с тобою и в дураках,— сказал он, как будто забывши, что я тут находился,— в чистых дураках! Этого проклятого Каналетти мы с тобою мажем, а ведь Палитрин-то схватил получше заказец: ведь ему отдали скопировать для графа «Капуцинский монастырь» Гранета!

С досадой ударил старик по своей табакерке. Я ушел. К Аркадию влекло меня теперь не одно любопытство — эгоизм мой уступил место участию.

На другой день явился я в квартире Аркадия. Он жил тогда на Мойке, в третьем этаже огромного дома. Звоню, мне отворяет двери старик слуга.

— У себя ли Аркадий Иванович?— спросил я старика.

— Нет; он ушел со двора,— отвечал мне старик.

— Очень жалею. Когда могу я застать его дома?

— Бог знает, сударь. Иногда он по целым неделям бывает дома, но никого не принимает, а иногда по целым

неделям его нет дома с утра до вечера. Если вам угодно сказать ваше имя, так я доложу ему, когда вы изволите пожаловать.

— Скажи ему, любезный друг, что приходил Мамаев, приезжий из города N. N., и приносил к нему письмо от его батюшки.

— Как, сударь?— вскричал с радостию старик.— Вы приехали из N. N.? Как же обрадуется Аркадий Иванович! Он так давно не получал писем от своего батюшки! Ах, сударь! пожалуйте завтра! Я ему скажу, и он верно будет ждать вас. Или не прикажете ли записать, где вы остановились? Он тотчас явится к вам.

— Не нужно. Вот письмо; ты можешь отдать его своему барину, а я завтра приду сам непременно.

— Ах, сударь! как вы его обрадуете!— продолжал словоохотливый старик.— Здоров ли Иван Перфильевич?

Я видел, что старик нарочно заводит речи, желая разговориться со мною. Я не люблю разговоров со слугами и особливо выведываний у слуг. Но теперь я не боялся узнать что-нибудь худое об Аркадии и поддерживал речь со стариком. Старик смотрел таким честным, добрым, он с таким восторгом упоминал о своем господине.

— Скажи, любезный, что я крайне сожалею, не заставши Аркадия Ивановича, и очень желаю с ним короче познакомиться.

— Это не так бы легко было сделать,— сказал старик, улыбаясь,— если бы вы не приехали из N. N. и не привезли письма от батюшки его. Барин мой небольшой охотник до гостей, если только они не заказывают ему работы.

— Вероятно, он очень занят?

— Да,— сказал старик,— он, сударь, теперь беспрестанно портреты списывает, а картинами не занимается, хотя прежде был большой охотник и только их и писал.— Тут как будто нечаянная мысль мелькнула в голове его.— Пожалуйте сюда, сударь, посмотрите: вот его рабочая комната. Не угодно ли вам взглянуть, как славно пишет Аркадий Иванович?— сказал старик.

Мне уже так хотелось поближе узнать Аркадия, что я решился взглянуть на занятия его.

Из передней мы вошли в комнату, где стоял длинный турецкий диван, покрытый старым ситцем; дорогой стол красного дерева придвинут был к этому дивану; полдюжины дрянных стульев, в углу богатые старинные вольтеровские кресла и этот стол составляли странные проти-

воположности. В другом углу находилось еще дорогое старинное бюро. Я оглядывался кругом.

— Это, сударь, у нас гостиная,— сказал старик горделиво.— Это бюро, эти кресла и этот стол выпросил себе Аркадий Иванович от наследников покойного моего барина, его высокопревосходительства Григория Григорьевича. В этих креслах старый барин всегда изволил кушать кофе после обеда, а на этом бюро он писывал.— Слезы навернулись на глазах старика.

— Да, сударь, много добрых дел было придумано за этим бюро... Аркадий Иванович говорит мне всегда: «Семен Иваныч — он, сударь, так меня называет,— кто напишет на этом бюро хоть одну строчку и не сделается добр, того бог накажет!» А в этих креслах Аркадий Иванович сидит, когда ему грустно.

— Разве ему бывает и грустно иногда?

— Случается, сударь: человек бо есть.

— Ты доволен ли им?

Старик с удивлением посмотрел на меня, как будто говоря: можно ли об этом спрашивать?

— Он вырос на моих глазах, у старого моего барина, сударь,— отвечал старик,— и я не хотел с ним расстаться, хоть я и вольный человек. Вот, пожалуйте сюда,— сказал он, отворяя дверь направо.

Я вошел в большую комнату. Тут на стенах висело множество эстампов без рам, запыленных, измаранных; на полу разбросаны были свертки бумаг, палитры, книги; на большом столе лежало несколько дорогих собраний эстампов. На окошках стояло несколько прелестных горшков с цветами. Окно, подле которого работал Аркадий, было закрыто дорогим транспарантом. На пюпитре его лежал портрет немолодой женщины, глупого вида, почти отделанный; сначала я не рассмотрел ее головного убора и удивился, вглядевшись: это были ослиные уши!

— Вот, сударь, портрет генеральши А. А.,— сказал мне старик.— Говорят, что он очень похож, и генеральша от него в восторге.

— Я не вижу других работ твоего господина,— сказал я старику.

— А вот их целая куча,— отвечал он, указывая в угол, на множество холстин, натянутых на рамы, большие и маленькие, сброcанные беспорядочно одна на другую.— Он многое начал и ничего еще не успевает окончить. Вот еще несколько портретов; вот его эскизы и картоны.— Старик указал на несколько огромных картонов.

Я мимоходом взглянул на все и обратил внимание на большую картину, тщательно закрытую белым полотном.

— Что это?— спросил я старика.

— Картина, которую Аркадий Иванович не велит мне трогать. Я не смею показать ее вам. А вот, сударь, взгляните, какая жалость!— Старик указал на другую большую картину. Это была огромная холстина в золотых рамах, изрезанная ножом и закрашенная красками так, что нельзя было рассмотреть, что было на ней прежде изображено.— Аркадий Иванович года два писал ее, кончил, целую неделю любовался ею и вдруг задумался, взял кисть, замарал и потом сам изрезал ее ножом.

Что сказать мне вообще о мастерской Аркадия? Я видел какое-то странное смешение высокого искусства, шалостей художника, роскоши, беспорядка. Тут стояло несколько золотых богатых рам, без картин; здесь было брошено несколько книг, одна на другую, полузакрытых, в пыли; загнутые листы и заметки показывали, что их читали внимательно и потом бросили, не окончив чтения. Колоссальное изображение Кельнского собора (известный эстамп) висело на стене. Подле него был портрет Дюрера, потом Мюллеров эстамп Рафаэлевой Мадонны, перечеркнутый красным карандашом. Внизу было подписано рукою Аркадия: «Ты был достоин сумасшествия, бедный пачкун! Одинаковое вдохновение не является в мире дважды. Твори свое!» Стены все были исписаны углем и мелом. В этих очерках видно было фантастическое своеволие. Это были изображения готических зданий, жоаннотовских уродов, гогартовских карикатур. Но меня поразило милое женское личико, которое только что было начато в небольшом размере. И вот что было странно: это личико повторялось несколько раз, в разных размерах и везде только что очеркнутое! Оно было начерчено углем на стене в нескольких местах, нарисовано карандашом на картонах, даже нацарапано ножом на столе. Видно было, что это личико невольно являлось под рукою Аркадия, что оно преследовало его — и везде было оно очеркнуто так отчетисто, верно, истинно, что я узнал бы это личико из тысячи.

Я не смел ничего рассматривать подробно. Мне казалось святотатством перебирать картины, поднимать с них занавески или пересматривать картоны и эскизы художника, когда он сам не дал мне на это права. Мне даже стало совестно, что, пользуясь слабостью и усердием старика слуги, я вошел в мастерскую Аркадия. Поспешно вышел я из этой комнаты и торопился уйти, говоря только

«да, да», когда слуга шел за мною и повторял просьбы *пожаловать завтра* и уверения, что *Аркадий Иванович будет мне очень рад.*

Кто из нас не бывал молод; следовательно, кто не читывал романов, кто сам не бывал героем романа! Всякому свое; иной бывает героем романа Поль-де-Кокова, иной лафонтеновского, иной дюканжевского, иной бальзаковского, иной жаненовского — а все-таки какого-нибудь романа! Идя от Аркадия и соображая все виденное и слышанное мною, мне казалось, что я начал читать Гофманова «Кота Мура». Воображение живо представило мне в неизвестном Аркадии образ художника, провидением к тому назначенного. Мне подумалось даже, что без знакомства с Аркадием в романе жизни моей недоставало бы весьма любопытной главы под названием «Идеал художника». Не знаю с чего, мне казалось, что в Аркадии увижу я дополнение к человеку, которое мы называем — *художник,* дополнение, созданное самим человеком, странное, очаровательное, своенравное, блестящее, недовольное собою, нетерпимое или обожаемое другими, рожденное от соединения необыкновенных случайностей. То, что узнал я об Аркадии от отца его, от слуги, от учителей Главного училища живописи, от ученика, от г. N. N.,— все это — неприязнь и ненависть одних, любовь и восторг других — делало для меня знакомство с Аркадием одним из необыкновенных событий в моей жизни. Мне хотелось теперь к опытам и наблюдениям моим прибавить любопытные опыты над душою истинного художника. Не всякий из нас согласится разменяться местами с тем, чему удивляются, что изучают люди; но все мы любим посмотреть на необыкновенное, странное в мире и в обществе. Так, никто не пойдет жить на краю швейцарского ледника или на скалах Норд-Капа; но кто же отречется взглянуть на сии дивные явления природы и рассмотреть их внимательно? Отказавшись от практической деятельности жизни, в провинциальном уединении моем я привык к теоретическим наблюдениям. В Аркадии думал я увидеть *аналитическую* поверку моих теорий изящного. Я создал его предварительно в моем воображении. Я вообразил себе Аркадия с греческим лицом Гете или германским профилем Шиллера, страждущего, гонимого, потерявшего в генерале*** друга, который развил его высокую пламенную душу. И теперь этот человек с неба дружбы упал в существенность, богатую идеальными отблесками, но бедную во всех других отношениях. В беспорядке убранства Аркадиевых

комнат, в смешении излишеств и недостатков жизни, во всем, даже в картинах, сброшенных в кучу и покрытых пылью, и в этой картине, которою неделю любовался он и которую потом сам он изрезал,— во всем, казалось мне, слышал я вопль души, отвергаемой миром и людьми, недовольной собою. Мне досадно даже было, что Аркадиев идеал женщины не походил на Мальвин и Миньон, ибо в изображении хорошенького личика, которое писал и чертил везде Аркадий, уже наверное думал я видеть изображение идеальной его красавицы. Это изображение казалось мне слишком *мило* и очень *красиво* для идеала художника! Аркадий заставлял меня забывать о моей *степенности,* моих сорока годах: мне казалось, что я сам молодею, разогреваясь его юною, горячею головою... Какой несносный эгоист *человек:* он всегда видит *только себя,* глядясь в других... Что делать!..

Но как же досадно разочаровался я на другой день, увидев Аркадия! Совсем это не был молодой человек с греческим профилем Гете, германским профилем Шиллера, потухшими в борьбе сильных страстей глазами или невыносимою, наполеоновскою бесцветностью глаз. В одежде его не было байроновской изысканности, ничего восточного; не было у него ни шиллеровских локонов, ни гофмановской дикости. Увидев меня, старый слуга спешил сказать обо мне Аркадию, и пока я ставил в угол свою палку, в переднюю вышел молодой человек, в модном сюртучке, с деланым галстухом на шее, с русыми, опрятно причесанными волосами; лицо его было благородно, правильно, но ничего особенного не выражало. Глаза его были, как говорится, *голубые,* то есть просто серые. Впрочем, глазами Аркадия я остался потом доволен: серый цвет их сбивался в голубой, и они оживлялись в разговоре. Аркадий был высок ростом, строен; только в движениях его не было ни простоты изящной природы, ни увлекательной изысканности светской, могущей заменять природу, как ассигнация заменяет звонкую монету. Отличительным признаком осанки и обхождения Аркадия была чрезвычайная неровность выражения в лице и в движениях: Аркадий то слишком казался веселым, то вдруг слишком задумывался; мне не понравилось еще, что он то и дело всчесывал рукою густые, длинные волосы на голове своей. Словом, Аркадий, при первом появлении, не сделал на меня никакого сильного впечатления: я видел перед собою обыкновенного молодого человека, обыкновенно одетого, и если бы кто-нибудь не сказал мне: «вот художник»,—

я ничего не подозревал бы в этом правильном, приятном лице, в этой простой улыбке, этом обыкновенном наряде. Ничего особенного не выражал мне и голос Аркадия, приятный, но не заставлявший душу ни трепетать, ни радоваться. Особливо занятие, в каком застал я Аркадия, мне особенно не понравилось.

Он с улыбкою взял меня за руку и сказал:

— Конечно, я имею честь видеть г-на Мамаева?

«К чему такой пошлый вопрос?» — подумал я, готов был грубо отвечать и немедленно расстаться с Аркадием. Он спросил меня после сего об отце своем, но без всякого особенного чувства; наконец просил полюбить его и пожаловать в его гостиную. Тут нашел я толстую, богато одетую даму, ту самую, к чепчику которой Аркадий приставил ослиные уши. Дама сидела, надувшись, стараясь придать миловидное выражение своему толстому, брюзглому лицу. Портрет ее находился перед Аркадием, и он дополнял в нем некоторые черты, пристально разглядывая даму. Он просил меня извинить, что должен докончить при мне свою работу. Мужчина, худой и сухой, сидел и дремал в углу. Я просил Аркадия не беспокоиться, продолжать работу, и сел в другой угол, пристально рассматривая своего нового знакомца. Он весело работал, отрывисто, но вежливо разговаривал с дамою, улыбался на ее глупые ответы. Портрет этой дамы был превосходен. Ушей ослиных уже не было на нем — Аркадий закрыл их большими букетами и бантами. Лицо, изображенное Аркадием, выражало всю глупость, все безобразие подлинника, но он придал ему что-то доброе, веселое, и дама была в восторге — портрет походил на нее чрезвычайно и не походил нисколько. «Насмешник и льстец, обыкновенный ничтожный художник!— думал я.— Если ты поневоле принял на себя заказ написать эту глупую рожу, можешь ли ты быть так спокоен, так весел, так услужлив? Вижу, что ты изрезал свою картину из жалкой робости, а не по сознанию недостигнутого идеала!» Нельзя было не отдать, однако ж, справедливости искусству Аркадия. Судя по портрету, кисть его была смелая, резкая, удивительно правильная. Занятие продолжалось с полчаса. Аркадий встал наконец и сказал, что портрет готов и завтра он пришлет его к ее превосходительству.

— Ах! покорно вас благодарю!— вскричала дама.— Только помните: соблюдите мой секрет; ведь это будет сюрприз моей сестрице! А теперь позвольте же мне расплатиться. Эй, Яков Потапыч! Опять, батюшка, задремал! Проснись! Отдайте, сударь, деньги!

Сухой человек зевнул во весь рот, отсчитал не знаю сколько ассигнаций и подал Аркадию.

— Покорно вас благодарю,— начала опять дама.

— Ваше превосходительство обещали рекомендовать меня вашему дядюшке,— почтительно сказал ей Аркадий.

— О, непременно и охотно! — вскричала дама. Она и спутник ее пошли. Аркадий вежливо провожал их.

— Это генерал и генеральша W.,— сказал он, воротясь.— Простые, но добрые люди! Генеральша готовит сюрприз сестре и тихонько приходит ко мне с своим мужем, хотя взбираться в третий этаж ей очень тяжело.

«За что же ты приставил ей ослиные уши, бессовестный! если они точно добрые люди?» — думал я про себя и решительно рассердился на Аркадия. Уже все теперь бесило меня: я досадовал, что он осторожно спрятал деньги в бюро, а не скомкал и не бросил их, что после того он учтиво сел подле меня и завел самый вздорный разговор. Как житель Петербурга он вздумал мне, приезжему провинциалу, говорить о новостях столицы, о новых зданиях. Недолго просидел я и с досадою ушел домой, повторяя: «Он не художник — он обыкновенный молодой человек, и живописец просто — искусный, но не поэт!»

Я был несправедлив к Аркадию. В наш век воины сняли железные брони свои и философы не ходят уже в изодранных лоскутьях какого-нибудь цинического плаща. С чего же вздумалось мне искать наружного байронизма и гофманизма в Аркадии? Неужели художник и поэт должны отличаться от людей полусумасшедшим видом или странностью одежды? Наш век кажется веком бессильных страстей внутри, без резких отличий извне. Он весь одет однообразно, причесан, подвязан, ходит и говорит однообразно. Все воины наши в мундирах, чиновники в вицмундирах, нечиновники в темных фраках. Но тем глубже и пестрее внутреннее образование нашего века. Никогда не являлся человек столь знающим, столь страстным, столь высоким, как является он ныне. Все тихо, все однообразно в нынешнем обществе; но откуда же неслыханные, уродливые события, горячки умов, разрушительные страсти, какие сверкали и сверкают в мире в наше время? Мы отличны от стариков наших тем, что душа нынешнего человека потеряла самодовольство: он недоволен людьми, недоволен собою. Разочарованный в том, что совершенно увлекало его отцов, не должен ли нынешний человек укрываться в мнимую бездейственность и внеш-

нюю однообразность и оттого впадать в ужасную неровность характера, то бросаемый страстью вне круга обыкновенной его жизни, то снова упадающий в нее? Наше поколение, как Наполеон, стоит сложив руки или нюхает табак, пока страшная битва — Ваграмское, Бородинское, Ватерлооское сражение — гремит в душе его. Он задумчиво смотрит в землю, как будто ищет чего-то потерянного праотцом Адамом. Найдет ли он? Не знаю; но — это глубокое озеро без истока, на дне его бездны, а поверхность тиха, и едва легкий ветерок пробежит по ней, всколышет ее легкими кругами — они расходятся, и снова озеро зеркально, светло и неподвижно. Нынешняя жизнь — роман, *первую* часть которого написал Август Лафонтен, а вторую еще дописывает Виктор Гюго.

Аркадий явился ко мне на другой день. Несмотря на мою угрюмость, на предубеждение против него, я не мог в этот раз не отдать справедливости ему в той нежности, с какою говорил он об отце своем, в той заботливости, с какою расспрашивал он обо всех подробностях житья его. С каким чувством говорил этот добрый сын о том, что он вскоре надеется сделать для отца своего что-нибудь полезное! Он молчал о братьях или отзывался почтительно. «Он скрывается от меня,— думал я,— не открою же и я ему, что знаю его гораздо лучше, нежели он полагает!» Аркадий мельком говорил о своих занятиях. Я также ничего не говорил ему о том, что видел в нем мой разрушенный идеал художника. «Он явно притворяется,— думал я,— или в самом деле отказывается от своего назначения и хочет улечься на прокрустово ложе света, хотя бы пришлось для этого отрубить ноги! Что же? Он думает, что я не сто́ю признаний души его? Хорошо, и я не покажу ему своей души: я эгоист!»

Мы виделись потом еще несколько раз и каждый раз, невольно, становились искреннее друг с другом. Разговоры наши перестали оканчиваться ничтожными пустяками. Наконец я имел случай оказать Аркадию маленькую услугу. Однажды захожу к нему, застаю его в страшном беспокойстве и требую объяснения. Аркадий долго колебался и, краснея, сказал, что ему недостает несколько денег для одного весьма важного дела.

— Вот тысяча рублей,— сказал он,— а мне надобно две.

— Вот *другая*,— отвечал я, выняв бумажник и отсчитывая деньги.

Аркадий крепко пожал мою руку и с минуту ходил

молча, в сильном движении. Через три дня он принес мне деньги и не благодарил меня: это мне понравилось, ибо я видел, что, сказав мне пошлую благодарность, он отделался бы ею; теперь, напротив, Аркадий сбросил с себя личину вежливого равнодушия, и в первый раз он понимал меня, а я его. В первый раз тогда между нами завязался разговор от души. Я обратил его на изящные искусства, и Аркадий не скрывался более. С жаром начал он говорить об упадке изящного в наше время, о средствах свести изящные художества с ложной дороги школьных условий, по которой ныне идут они. О многом спорил я, со многим соглашался, удивляясь необыкновенным познаниям Аркадия. Вдруг он схватил меня за руку и сказал:

— Простите меня, г-н Мамаев: я не знал вас. Я думал, что вижу в вас просто умного, доброго человека: теперь вижу в вас горячую душу, человека глубоко чувствующего, просвещенного. Вам доступно все прекрасное. Зачем вы скрывались от меня?

Слова эти были сказаны так добродушно, так просто, что я невольно улыбнулся:

— Зачем сами вы, любезный Аркадий, хотели спрятаться от меня под маскою ничтожного живописца и молодого петербургского щеголя?

— Я щеголь? Если бы вы прежде знали меня, то могли бы назвать немного сумасшедшим по наружности; с некоторого времени этот недостаток перестал быть моим недостатком. Я сделался благоразумен, осторожен, опрятен. Мой старый Семен Иваныч не может теперь нахвалиться мною. Но, право, я совсем не щеголь, ни одеждою, ни обращением, ни душою.

— Аркадий! Я не того хотел от вас, чем вы хотите казаться.

— Чего же вы от меня требуете?

— Я хотел видеть в вас истинного художника, а видел только молодого портретиста, который так одет, так работает и говорит, что от него ничего ожидать не смеешь. Вы скрывались от меня? *Да* или *нет?* Если нет, то вы упали духом — вы пережили даже недовольство своего падения: вы уже спокойны, и это спокойствие есть тишина смерти!

Аркадий задумался. Лицо его изменилось.

— Что же мне делать, когда этого хотят от меня судьба и люди,— сказал он тихо,— когда без этого счастье мое бежит от меня! Хочу удержаться хоть за него — со всем другим я простился: одно недостижимо, другое пусто. За чем гоняться мне? За призраком ничтожной славы? Но и

его могу ли достигнуть? Кто уверит меня, что мне можно надеяться на силы свои... О, почтенный друг! зачем тревожите вы терзательные мечты, которые задушил — *усыпил* я, по крайней мере! — Аркадий схватил мою руку и сжал ее крепко обеими своими руками. Он был очарователен в это время. Таким желал и надеялся я видеть его.

— Что заставляет вас принимать во мне столь сильное участие? — спросил он, растроганный до глубины души.

— Долго рассказывать, как родилось и усилилось мое к вам участие. Может быть, для этого надобно б было рассказать вам прежде всего собственную жизнь мою... Но, я клянусь вам, Аркадий, что во мне видите вы человека, который на себе испытал, как тяжко душе, как душно сердцу, если призвание наше в мире не исполняется! Годы безвозвратно погасили для меня все мои мечты, все мои надежды; но, смотря на вас, полного жизнью и надеждами, могу ли не думать о том, как грустно, как страшно кончить их ничтожным физическим бытием!

— И люди говорят о ничтожности и бесчувствии мира, если в нем жил ты, святая душа, второй отец мой! если судьба столкнула меня теперь на дороге жизни с новым другом и если мир украшен бытием создания, которое может заменить мне все вдохновения исчезнувшего века художеств...— Аркадий вдруг остановился. Насмешливая улыбка появилась на лице его.— Вы мечтатель, господин Мамаев, опасный мечтатель! С чего вы вздумали наводить на меня волшебное стекло вашего воображения? Вы обманываете себя, обманываете меня, и, клянусь богом, это бессовестно, стыдно! Зачем искать во мне того, чем не велят мне быть ни судьба, ни мир, ни люди? Кто я? Сын бедного чиновника, ничтожный *разночинец*, братья мои подьячие, мне надобно было сделаться также подьячим. Пришел ко мне такой же мечтатель, как вы, наговорил мне бог знает чего; я заслушался его и поссорился с миром и с судьбою. Чего не вытерпел я за то, что отказывался идти в гусиной веренице, которая тянется целыми поколениями от колыбели до гроба! Чего не вытерпел я от самого себя еще более, нежели от других! «Художник», «идеал» — вздор, вздор! Говорите «маляр» и «счастие»; да, *счастие на земле, без неба и идеалов!* Вот что я — и прекрасно, чудно хорошо! На что искать идеалов, если они не превзойдут существенности — милой, очаровательной, живой, дышащей жизнию? Я скован и счастлив. Что мне в воле, если она только губит и терзает меня! Вы изумитесь, мечтатели, как тихо и спокойно можно быть

счастливым? Зачем нравится вам только бешеный водопад Ниагарский? Не лучше ли любоваться милым ручейком, который вьется и журчит между цветами? Вы презираете его? Но в вашем водопаде видна только мутная пена страстей, а в ручейке отражаются — и солнце, и небо, и тихие небесные звезды, и целый мир! Любезный, почтенный друг мой! Я изодрал мои глупые рисунки, над которыми просиживал ночи и бесполезно тратил жизнь мою; на других нелепых мечтах моих мирно плетет свои сети паук, и никогда не смету я с них паутины... Не надобно картин — не хочу писать их; пишу портреты, рожи людские, и пишу, как ремесленник! Уверяю вас, что теперь только нашел я истинное счастье — мне так весело, спокойно — я так доволен...— Он судорожно сжал мою руку, и слезы сверкнули на его глазах.

— Счастье ваше похоже на куклу, которою играет ребенок. Но вы насильно делаете себя ребенком, добровольно позволяете своему счастию пеленать вас, как дитя, и — я страшусь за вас, Аркадий! Не знаю, какой волшебный сон лелеет вас, но, друг мой, это мгновенный сон, а не жизнь: пробуждение ваше будет опасно; лучше бороться с судьбою, нежели позволить ей без сопротивления сковать себя...

— Нет! Мой сон прекрасен, как жизнь, и не прервется,— сказал Аркадий, с радостным самодовольством закрывая глаза рукою.— Его сам бог создал для меня!

— Аркадий!— сказал я с досадою.— Понимаю: вы влюблены? Угадал ли я?

Он затрепетал.

— Вы любите?

— И неужели я не любим? — спросил Аркадий с трепетом.— Почему же вы знаете, что я *не любим?* Нет, нет! За мою бешеную, безумную страсть, за то, что для нее отказался я от всего, от самого себя, ужасно было бы не платить хотя участием, хотя снисхождением! А смею ли требовать более? За это снисхождение... мало жизни моей!

Несносные женщины! Они везде вмешиваются и все портят! Так вот разгадка его бесчувствия! Он любит... Женщина *уничтожила* его... И дивиться ли после того чему-нибудь, если на жизнь он смотрит глазами женщины, а ей жизнь кажется занятием вроде хозяйства; она вяжет ее, как чулок, плетет ее, как кружева, вышивает ее по канве, в размеренных квадратцах...

— О нет! вы не знаете моей Вериньки,— сказал Аркадий.— Она не женщина: это чудное существо, залог мира между небом и землею! Она умела сделать из меня то, чего

не сделали люди с их гордостью, их силою — чего не сделала дружба человека единственного! Она доказала мне невозможность неба на земле, но доказала, что и земля есть небо, если мы забудем для создания пленительного все-все, и самих себя, передаваясь ему! Ей пожертвовал я всеми мечтами... какая мечта сравнится с нею! Я бросил все свои ничтожные идеалы... какой идеал не бледен перед моею Веринькою! Она помирила меня с самим собою, она поведет меня тихо, нежно по остальному пути жизни. Так, я чувствую, что напрасно старается человек создавать и ищет на земле несбыточных образов — они уже созданы богом и живут на земле в душе женщины. Душа женщины — вот наше небо на земле, и в нем соединено все! Беден, кто не нашел его — блажен, кто его отыскал! Но тогда — во прах перед ним все страсти, все идеалы, или, как отверженного ангела, тебя изгонят из этого неба, где ничто не должно существовать, кроме душевной невинности!

Аркадий замолчал и начал ходить по комнате. Я прервал молчание, продолжавшееся несколько минут.

— Аркадий,— сказал я,— сердца наши сказались друг другу. Отныне мы с тобою друзья. Вот тебе рука моя, а кому я сам подаю ее, тот не спрашивай меня ни о чем более! Заключенная в минуту душевного бытия, отныне дружба моя к тебе неизменна. Друг мой! Мне сорок лет; жизнь моя была бурная, мятежная; я испытывал страсти, знал и любовь... Она знакома мне... Когда-нибудь я расскажу тебе все страдания, какие перенес я от этого яда жизни... Я трепещу за тебя; ты отравляешь себя медленною отравою! Я угадываю твою Вериньку: это какое-нибудь простое, доброе, милое создание, которое обольстило тебя колыбельною песенкою и усыпило твою пылкую душу тихим напевом ее! Не для тебя такое счастье: берегись! Душа женщины не рай, но раек. Ты на нее хочешь опереться, но эта опора ломка, как стекло, и, как стекло, изрежет тебя...

Аркадий быстро взглянул на меня:

— Да, я усыплен колыбельною песенкою, но эту песенку не человек напел мне, а что-то божественное. Узнайте Вериньку... Я боюсь показать ее вам: вы можете погибнуть, узнав, как близко от вас было счастье в жизни, а вы не знали его...

Я невольно улыбнулся. Аркадий как будто опомнился и поспешно взялся за шляпу.

— Ах! что я говорю!— сказал он.— Простите! Голова

моя так расстроена от нашего разговора... Какая глупость: стараться ощупать руками свое счастие, как будто оно что-нибудь вещественное! Вы ощупаете одни вещественные его формы и никогда не узнаете его вполне... Вы подали мне вашу руку, благородный человек! позвольте мне пожать ее...

«Я тебя понимаю, юноша,— думал я, оставшись один,— понимаю и сожалею о тебе: ты испугался бури, какая волнует океан души человека, и ты думаешь, что лучше причалить свой челнок близ тихого берега семейственной жизни и задремать под шум бешеных волн, нежели пускаться по кипящим их безднам! Горе тебе, если ты будешь счастлив, как счастливы все люди! Бедное счастье их есть дремота, произведенная маковым питьем; но твоя душа создана не для этой сладкой дремоты, а для жизни, и — горе, если ты пробудишься, когда будет уже поздно воротиться! Страсть художника не начинается усыплением души и не кончится семейственным бесчувствием, чем так дорожат люди для мелких уступок счастия, покупая его, как покупают они себе пищу и одежду. Допускаю страсти — даже любовь,— но не такая любовь, не такая страсть бывает вдохновением высокого. А кто знал, кто хотя предчувствовал это вдохновение, тому пробуждение хуже смерти!»

Увы! Аркадий вскоре сведал на опыте истину, которую я предугадывал и предвещал ему. Страшно пробудилась душа его, безжалостно оттолкнуло его от себя обольстительное, тихое упоение.

После нашего разговора прошло дней шесть. Аркадий не являлся ко мне. Недосуги мешали самому мне идти к нему. Воспользовавшись первым свободным вечером, я спешил к Аркадию. Семен Иваныч отворил мне двери. Он был печален.

— Где девался твой барин? Не болен ли он?— спросил я поспешно.

— Нет, сударь, но бог знает, что с ним сделалось! Дня три тому он пошел со двора такой веселый, такой милый; воротился поздно, и я его не узнал — так был он бледен, расстроен. С тех пор он сидит запершись, никого не велит пускать к себе, почти ничего не делает и даже ничего не кушает.

— И мне нельзя его видеть?

— О нет! Вас он однажды навсегда приказал принимать, во всякое время!

Вхожу в гостиную. Бюро открыто, бумаги, книги раз-

бросаны везде, все в страшном беспорядке. Аркадий был в своей мастерской. Тихонько отворил я дверь. Аркадий стоял посреди комнаты. Огромный, прекрасный портрет откупщика, которым в последнее время занимался Аркадий, был брошен на пол недоконченный. Кисти, палитры были раскиданы повсюду. Большая, вновь начатая картина поставлена была подле окна. Небритый, со всклоченными волосами, в старом шлафроке, стоял Аркадий, сложив руки и устремив неподвижные взоры на холст, где еще ничего нельзя было разобрать хорошенько. День вечерел; последние лучи солнца освещали комнату.

— Что с вами сделалось, Аркадий? — сказал я.

— Ничего! — отвечал он мрачно. — Это надобно было предвидеть прежде. Вы предугадали, вы предрекли мне то, чего не понимал, не предвидел я! Какая глупость! Мне надеяться быть счастливым? Думать, что я буду так же искусно выть, как воет эта стая волков, называемых *людьми!* Но чего же хотят они от меня? — говорил Аркадий с увеличивающимся жаром. — Они терзали меня, когда я хотел стать между ними самобытно; они терзают и теперь, когда я отказываюсь от самого себя! Они разрушали мир, который создавал я сам себе. Они не дают мне местечка и в *своем* мире! Виноват ли я, что бог создал меня иначе, нежели их? Должно ли за это наказывать меня так бесчеловечно? Но я добровольно становился в ряды их, отрекался от всего, давал клятву быть их товарищем, таким же, как они, чем они хотят — глупцом, ремесленником, шутом, последним из них...

— Аркадий! что все это значит?

— Ничего! — сказал он, горько улыбаясь. — Они уничтожили высокий мир художника, разбили истукан изящного, которому молился он в Греции, отняли у искусства религиозную святость Средних веков и хохочут над тем, кто стремится в эти погибшие миры искусств! Он враг им, нынешним ремесленникам, и они все за одно против него; мстят ему, как человеку, отказывают ему, если он соглашается на бедное счастье людское, — боятся его, клеймят его позором и насмешкою...

— Но давно ли, Аркадий, давно ли вы были так счастливы?

— Был — да! *хотел быть,* хотел обмануть себя, если нельзя *быть* в самом деле. Мой обман открылся — счастие мое погибло... Не мне то счастье, которого я надеялся от людей! Они отказывают мне в этом счастье — отказывают, не хотят мне его отдать! А чего не делал я, чем не угождал

им? Боже великий! Сколько времени был я болваном, куклой их — и за что же другому это счастье? Если он глупец без притворства, почему я не могу притвориться глупцом? Во всю жизнь мою они не заметили бы между нами никакой разницы, не услышали бы ни одной жалобы, ни одного вздоха...

— Успокойтесь, Аркадий. Что такое сделалось? Что за отчаяние? И как же не поспешить вам ко мне... Сердце друга согреет, оживит вас...

— Виноват,— сказал Аркадий тихо,— виноват; но — и она с ними за одно — и она! Веринька, Веринька! зачем же обольщала ты меня прежде? Зачем вдохнула в меня жизнь, когда я умирал... Тогда мне легче было бы погибнуть; но теперь тебе без меня, мне без тебя нет смерти — ты *моя, моя* — ты не вырвешься из объятий души моей; я умерщвлю тебя моим последним, смертным дыханием...

— Успокойтесь, Аркадий. Сядем, будем говорить благоразумно; разберем дело наше основательно.— Я посадил Аркадия. В изнеможении он опустил голову на грудь; руки его упали на колена. Бледный, измученный, он казался умирающим.

— Аркадий! стыдись: неужели своенравие, даже презрение ничтожной какой-нибудь девочки должно доводить до отчаяния мужа, человека...

— Кто сказал вам, что Веринька ничтожна?— вскричал с сердцем Аркадий.— Знаете ли вы ее, узнали ль вы ее светлую, прекрасную душу? Проникнули ль вы в ее чудное, святое сердце? И она меня любит, знаю, что она живет, дышит только мною — она моя, моя — люди не отымут ее у меня — я принужу их — я вырву у них Вериньку мою! Они должны будут уступить ее мне, моей славе, моему имени! У нас нет Капитолия — нет триумфа для художника; но когда общий восторг поставит меня выше всех... Посмотрите, что напишу я теперь... Вот что готовил я... Как это было глупо, как это было пошло, ничтожно! Это Грез, пачкун семейственных сцен, копеечного отчаяния, грошового счастия — ха, ха, ха!— Он сорвал покрывало с картины, которая стояла в стороне; я увидел превосходное изображение семейственной сцены. В старинной готической комнате, в германских одеждах, семейство занимается чтением: старик изображен дремлющим в старинных креслах, молодая девушка опускает занавеску, чтобы солнце не обеспокоило его, молодая женщина останавливает детей, которые вбегают в комнату. Она указывает им на старика; взгляд на него превращает

их шумную радость в благоговейное молчание; молодой человек держит в руке книгу, опускает ее, вглядывается, прислушивается: точно ли спит старик и надобно ли продолжать чтение или перестать?

Молча любовался я этою картиною — она была прелестна; выражение лиц, темный колорит, рембрандтовское освещение ее были превосходны. Она переносила зрителя в патриархальные времена Дюреров и Гольбейнов.

— Вот что готовил я,— продолжал Аркадий,— но это глупо в природе, глупо и в картине. Теперь я их ужасну моею кистию!.. Вот здесь, посмотрите, вот здесь я напишу им моего бешеного Прометея. Он изобразит им душу мою, прикованную не к Кавказу, а к этому неблагодарному, бесчувственному миру; не ворон будет клевать и терзать его, а несчастное, губительное чувство страсти безнадежной! О боже, боже! Они не люди будут, если не увидят следа крови моей, и слез моих в красках, какими изображу я им моего Прометея,— если не отдадут мне после того Вериньки!

Аркадий заплакал, сел и закрыл лицо руками.

— Аркадий,— сказал я,— грустно смотреть на слезы мужчины: мужчина не должен плакать. Умри, но не плачь!

— Ах! мне еще хочется пожить на свете, в нем еще так много хорошего, так много прекрасного — в нем еще существует Веринька; она *не моя,* но и никому не принадлежит она. Дайте мне слез, позвольте мне плакать, друг неумолимый! И если бы вы знали, о чем я плачу! Не Вериньку — я теряю жизнь! Любовь к ней, любовь ее было все, что привязывало меня к жизни. С потерею Вериньки все связи мои с миром будут разорваны. Неужели хотите вы, безжалостный человек! чтобы и после этого я еще скитался по земле тенью безжизненною? Неужели думаете, что в моих созданиях будет жизнь, когда не будет ее во мне самом? Хорошо! Сделайте из меня привидение, машину, творящую великое и прекрасное; но каково же будет мне, привидению, созданному вами? Ведь я человек — пощадите меня — позвольте мне лучше умереть!

Как странна участь моя! Зачем надобно было юной душе моей соединиться с душою человека единственного, добродетельного, но оскорбленного миром, и людьми, и жизнию! Зачем этот человек исторг меня из ничтожества, в которое судьба поставила меня при рождении! Зачем он оставил меня после того в жертву оскорбленному мною миру! Зачем после него воскресило меня это милое созда-

ние, эта Веринька? Да, она поддержала во мне жизнь, готовую погаснуть; за то я хотел ей посвятить мое бытие — ничем более не мог я подарить ее, да я и не мог уже располагать собою: она воскресила меня, но потребовала себе душу мою — я отдавал ей — и этого нельзя мне сделать! Бедный человек! Люди становятся, как разбойники, между мною и Веринькою; она сама пугается, презирает меня, бежит от меня! Чего боятся они во мне! Разве не принимал я всех их условий — всех, но только с Веринькою — с нею; а без нее что́ мне в мире, в людях? На что я сам без Вериньки!

Я радовался, видя, что слезы и жалобы облегчают Аркадия, и не препятствовал ему плакать и жаловаться. Упрямое, молчаливое, одинокое отчаяние, три дня терзавшее его, теперь прошло. Он стал спокойнее. Тогда тихими, сердечными словами дружбы начал я врачевать его растерзанное сердце.

— Аркадий, друг мой! Ты еще так молод,— сказал я,— и уже думаешь, что жизнь совершенно рассчиталась с тобою. Мой друг! перед тобою она лежит еще необозримым полем горести и радости — да, мой друг, и радости! Знаю и уверен, что юность твоя была уже испытана скорбию, но радостей ты знал еще мало доныне. Благодари лучше провидение, что при начале жизни оно искусило тебя и приготовило к будущим подвигам. Чувство любви в твои годы всесильно, всепоглощающе; но не одно оно объемлет жизнь и мир для человека, который чувствует в душе своей призвание к чему-либо высокому...

— Нет!— сказал Аркадий.— Для меня все погибло, если погибла любовь моя. Судьба весит в эти минуты жребий мой на весах своих, и если не бросит она любви в мою чашку весов — расчет кончен: Аркадию не существовать более! Тот век, когда художник мог быть художником, потому что не мог быть ничем другим, когда он мог совершенно, всем бытием своим, погрузиться в океан изящного — золотой век Дюреров и Кранахов, Рафаэлей и Микеланджело прошел и не возвратится. Мир забыл уже об этом веке, и художник может существовать ныне только вдохновением страстей: если мне нельзя существовать любовью — художник во мне исчезнет. Других страстей я не знаю: любовь только, одна любовь могла бы вознести меня к великому моему идеалу, назло веку нашему и людям! Выслушайте, добрый, почтенный друг мой!.. Вы должны узнать повесть моей души. Вам все я открою, и потом судите обо мне, судите меня...

II

— Да он поэт?— Поэт.— Так и довольно:
Уж кто поэт, тот верно без ума.
— И я поэт, однако ж не безумец...
— Ну, вы совсем другое...

Кукольник

Иногда, с досадою, я ощупываю свою голову и сожалею, что я не Галль, не Шпурцгейм. Мне хотелось бы доискаться в моем черепе ответа на простой вопрос: «что я такое?» Ответ на этот вопрос разрешил бы для меня многое — все!

Точно ли есть во мне *нечто,* отличающее меня от других? Точно ли в душе моей есть какой-нибудь огонь — небесный, или... почему я знаю какой, и что он такое, и пусть он будет, что ему угодно! Только есть ли что-нибудь, от чего горит душа человеческая вдохновением изящного и на мозгу человеческом рисуются очерки, каких никому другому не вздумать, каких мир еще не видал и не увидит, потому, что они его — их нет в природе — их не природа создает, а он, художник, творец их: он не захочет и не отдаст их миру!

Или во мне нет ничего творческого, создательного: *я не художник?!* Мечты мои — неясный бред горячки, лихорадочный жар бессилия, которому хочется в небо и которое не летает, а прыгает, и то на земле, думая, что летает в небе! И тогда что же вся жизнь моя? Что мои безумные порывы творить? Это ужасно! Природа не отзывается моему голосу, люди не понимают моего вопля, не потому ли, что я жалкое дитя, бедное, полоумное дитя, помешавшееся в колыбели? А! это ужасно!

Вдохновение истинное, творчество неподдельное, не должно ли быть тихо, спокойно, величаво? Истинный художник — это царь среди людей, волшебник среди природы; на голос его преклоняется народ, по мановению руки его пляшут толпы невидимых духов, страсти облекаются в живые образы, гроб сказывает свой ответ!

И я ошибся, избрав себе поприщем жизнь художника? Я ошибся, думая, что на голове моей светит пламя избранника божьего?

Вы не поймете, добрый друг, какое отчаяние отравляет душу при этой мысли! Человеку, который мечтал видеть в себе сына великого властителя, открывают, что он сын раба, вместо трона ему указывают на ошейник невольника!

«Тебя подменили в ребячестве ошибкою — тебя подменила злая кормилица — ты раб, а не царь!» — говорят ему — и еще смеются при этих словах, смеются.— Боже великий! Неужели люди могут в эти минуты смеяться? Что же оставят они дьяволу?

Сколько раз, в грустном, безнадежном отчаянии, думал я, что весь мир хвастливо ошибался и грубо ошибся, что изящного вовсе нет в мире, что все это бред, вздор, мечта, что художник есть такой же работник, как слесарь, кузнец, плотник. Это бывает утешительно думать. В самом деле: почему не так? В последнее время эти мысли особенно радовали меня. Знаете ли, с каким наслаждением воображал я себе жалкое унижение Шекспира, с ролью в руках, за кулисами; глупую радость Корреджио, идущего с мешком медных денег на плече; жадное корыстолюбие Паганини подле ящика, где раздают билеты в его концерт... Вот вам они, эти художники, обнаженные, ободранные! Что вы смотрите на блестящую мишуру их? Глядите на них, как глядят все другие: никто ничего в них не видит и не ищет. Им заказывают трагедию — потому, что людям скучно же сидеть сложа руки в долгие зимние вечера; у них покупают картину — надобно же какому-нибудь богачу что-нибудь повесить на голой стене его залы; им говорят: «играй!», как говорят собачке: «служи!». И вот: поэт чинит перо свое, живописец трет свои краски, ваятель покупает себе у торгаша кусок мрамору. Вздор, будто когда-то искусство горделиво стояло в ряду других великих действий гения человеческого — никогда этого не было! И теперь художник есть мастеровой, каким был всегда! Говорят, что лучшие мастера во всяком деле — все пьяницы. Великие художники — это нравственные пьяницы! Мир, люди, обстоятельства иногда их вытрезвливают! И тогда, трезвые, они ничего не могут сделать, дивятся сами себе: как они сделали то или другое в чаду головы своей? Это лунатики: они лазят на крыши, на колокольни; но берегитесь назвать их по имени, берегитесь сказать им: «Ты человек!» Лунатик тотчас свалится с высоты и расшибется — бедняжка!

Но убийственная истина снова, еще сильнее прежнего, впивается в сердце после всех таких оскорбительных для человечества помышлений! Нет! это клевета на бога и человека — нет! не опьянение произвело тебя, «Ночь» Корреджио, тебя, «Гамлет», тебя, «Водопад» Державина! В душах создателей ваших были забыты мир, и люди, и страсти! Они творили потому, что не могли не творить;

они были художниками потому, что не могли не быть ими! Но как же узнать это безотчетное сознание? Неужели Шекспир твердил свой монолог Гамлета, когда крал орехи у судьи Шаллова, а Державин читал свою оду «Бог», когда стоял с ружьем на карауле? Как узнать отличие истинного художника? Скажите, скажите мне его, ради бога! Клянусь, что я принялся бы шить сапоги, стучать молотом по наковальне, если бы кто-нибудь убедил меня, что я гоняюсь за тщетною мечтою! Надобно же было судьбе толкать меня на нынешнюю мою дорогу. Если же было надобно, зачем она ничего не дала мне на дорогу? Зачем она завалила путь мой людьми, страстями, отношениями? Путеводная звездочка моя светит — она прекрасна, но она не солнце, и я замерзну на снеговой дороге, глядя на мою приветную звездочку...

Говорят, что с самого детства уже видно бывает назначение человека. Судя по себе, я не знаю, правда ли это. Никогда колыбели моей не окружали ни видения, ни предвещания; никакой благотворный гений не слетал баюкать меня; никогда не чувствовал я в детстве минуты восторга, в которую хотел бы воскликнуть: «И я живописец!» Колыбель мою качала добрая моя мать и напевала мне баюкальные песни, как и другим детям; отец мой говаривал мне: «Учись, Аркадий, азбуке — будешь славный канцелярист!» Вы знаете отца моего, но не знаете его хорошо. Не видывал я человека добродетельнее его; но он не получил никакого образования и нам не мог его дать. Вечно занятой в своем казначействе, при недостатках в жизни, он сохранял только темную какую-то мысль, что надобно учиться для отличия от мужиков. Чему учиться? Как учиться? Отец мой не знал этого. Выходило то несчастное состояние, когда человек теряет первобытную грубость и не восходит на степень истинного образования. Старшие братья мои, добрые, смирные, умные дети, учились, ходили в уездное училище, потом в гимназию. Я был негодный баловень, родился слабый, больной, и мать испотворовала меня, сделала упрямым, своевольным. Я не был ни зол, ни коварен, но меня надобно было уговаривать ласкою, если хотели что-нибудь из меня сделать. Может быть, моя неохота учиться произвела то, что, своевольно бегая и играя, я стал бодр и здоров. С малых лет братья мне завидовали — их так мало ласкали; они хотели отнимать мои игрушки, какими мать беспрестанно дарила меня,— им не давали игрушек. Я дрался с ними, кричал, плакал; потом сам отдавал все братьям и товарищам, когда их

наказывали за ссору со мною. Если же они сердились, не брали, я бросал все, что дарили мне, все, кроме одного: суздальских картинок. Вы знаете эти лубочные изображения райских птиц, погребения кота — это были для меня драгоценности; их не уступал я никому, лепил их на стену подле своей кроватки, рассматривал их, любовался ими. Нередко просиживал я целые часы, глядя на них, перелепливая их с места на место, и даже не помню, когда я начал их сам списывать. В памяти моей сохранилось несколько случаев детства, оставивших во мне более сильное впечатление. Однажды приятель отца моего, слыша, что я бестолков и ленив на ученье, сказал, что принесет книгу, которая заставит меня полюбить ученье. Он подарил мне, в мои именины, «Начальное руководство» — книгу, изданную в 1793 году в Петербурге, со множеством картинок. В этот день я не спал и почти ничего не ел: книга эта казалась мне новым, волшебным миром! Тут было все: цари, боги, история, цветы, звери. Я скоро выучился читать, для того только, чтобы знать, что такое значат все эти чудные изображения? «Начальное руководство» составлено не мастером своего дела: это небольшая энциклопедия, где смешано без разбора все: священная история, мифология, естествознание, технология, басни, сказки; многое совсем не приноровлено к понятиям детей. Я вытвердил его наизусть. Показывая рисунки, я мог подробно рассказывать содержание их и изумлял гостей отца моего своими знаниями, не зная ничего основательно. В голове моей вертелся хаос слов, сказок, сведений, но я приводил в замешательство старших братьев моих, учеников гимназии. Видя, что я сам себе составляю краски из угля, чернил, ягод, цветов, мне подарили кисточку и ящичек плохих красок. Тогда я ничему уже не хотел более учиться и только рисовал беспрестанно. Через несколько месяцев опять дивились моим рисункам. Я копировал все из моего «Руководства», списывал все мои суздальские картинки, срисовывал цветы, делал силуэты так искусно, что они были совершенно не похожи ни на кого, но мать хвалила меня с восторгом, называла руки мои *золотыми*. И я гордился, рисовал неутомимо, почитал себя великим мастером, до того, что однажды, оставшись один дома, вздумал я списать образ ахтырския богоматери, находившийся в моей комнате. Мать застала меня за этим занятием, тихонько подошла и, вместо того чтобы бранить, обняла меня, заплакала. «Ах, ты мой милый Аркадий! — сказала она мне.— Ты напоминаешь мне грех, лежащий

на душе моей!» Я испугался. Мать моя объяснила мне, что, когда я, едва родившись, был отчаянно болен, она дала странное *обещание:* если я выздоровею, научить меня *иконописанию,* чтобы я мог сам списать образ ахтырския богоматери и на свои бы деньги сделал потом для этого образа ризу позолоченную. «До сих пор я не подумала еще об этом, окаянная! — сказала мать моя, сложив руки, и слезы потекли по щекам ее...— Не подумала, хоть сам господь вложил в тебя охоту к живописи и теперь явно наводит меня на покаяние, когда ты, не знавши моего обещанья, по своей воле принялся списывать образ ее, матушки-владычицы!»

Да, если я не чувствовал никогда тайного отзыва гения изящного, то это событие вдруг заменило мне все его отзывы. Боже! как наполнилась жаром каким-то моя голова, как забилось мое сердце! Благочестие было всегда первым правилом в нашем доме. Мать моя была чрезвычайно набожна. «Я обречен при самом рождении списать образ твой, владычица!» — думал я, смотря на икону ахтырския богоматери. Вы знаете этот образ: на нем изображена богоматерь в простой одежде; умиленно сложила она руки пред распятием. «Я должен снять обещание с души матери моей!» Мне показалось, что богоматерь улыбается мне; со слезами бросился я на шею к матери моей и потом убежал в сад. Вечер был прелестный. Солнце тонуло в разодранных, фигурных, фантастических облаках, облегавших запад после сильного дождя; оно расцвечало их радужными цветами; все остальное небо было голубое, синее и переливалось по краям золотом и пурпуром. В первый раз в жизни природа, дотоле мертвая, механическая, заговорила со мною. Стоя на коленях, я молился, глядел на небо, на эти цветные облака, и мне казались они сонмами святых, образами богоматери, исполинскими украшениями храма предвечного! Ветерок зашелестил листами, соловей защелкал в ближней роще, иволга, милая моя иволга вторила мне своим унылым голосом... Счастливое мгновение! Тогда решился мой жребий!

Неправда, будто изящные художества составились механическим подражанием природе. Тогда, молясь в саду, я не мог бы доказать противного, но не поверил бы, если б стали мне говорить об этом! В то мгновение я был первобытным человеком, тем девственным человеком, который первый вздумал перенести образ человека и природы в искусство. Надобно, чтобы когда-нибудь этот *первый* существовал. Я, дитя, восторженное порывом к божествен-

ному, проникнутое пророческим голосом матери, который обрек меня *быть живописцем,* когда еще я не понимал ничего, когда жизнь и смерть спорили обо мне, ничтожном, бессильном,— я безотчетливо перелетел в область первобытной фантазии человека: я создавал себе, что узнал я после; создавал много такого, чего не знаю еще и теперь! Все, что читал я в моем «Начальном руководстве» — история, басня, сказка,— все слилось с тем, что меня окружало, с этим небом, этою землею, этою зеленью дерев, этим пением птичек, слилось в душе моей в неясные образы, оцветилось радугою. Выразить, сказать это — я не мог и не умел. С жаром чертил я тогда на песке палочкою фигуры; они были неправильны, нелепы. Но это не было грубое желание только чертить что-то похожее на человека, на зверя, на птицу — нет: эти черты изображали для меня идею того, что скрывалось в душе моей. Указывая на них, с детским добродушием я готов был подробно, красноречиво объяснить, что они для меня изображали. Если б я был язычник, я преклонился бы пред ними, видя в них сокрытую, тайную мысль, которой вполне не мог я выразить не только словами, но и в душе моей, моими мыслями!

Простите мне подробности о моем детстве. Видите, как странно связывалась жизнь моя с тем, что после, в часы забывчивого наслаждения, я почитал своим предназначением и — чего теперь не почитаю этим.

Разговор с матерью и время, проведенное мною после того в саду, неизгладимо запали в мою душу. Какое-то религиозное чувство стало наполнять меня после того всякий раз, когда я смотрел на образа. Мне казалось, что они богом поставлены в жилище человека, чтобы напоминать ему о небе, о том чувстве, какое испытал я, молясь в саду. Люди, создающие эти святые образа, казались мне людьми, отличенными богом от всех смертных. В первый раз узнал я наслаждение переживать себя в создании своем. Неизобразимо было впечатление, когда приходил я после того в церковь. Там старинный высокий иконостас нашей приходской церкви с темными его образами казался мне миром, который создало искусство человека, напоминая ему о высоком назначении художника как изобразителя божественного. Когда, за всенощною, растворялись царские двери и среди куренья фимиама, в сумраке ночи, тускло озаряемом мелькавшим перед образами огнем свеч, при звоне колоколов, наносимом откуда-то издалека, извне, сверху, являлись священник и диакон в своих блестящих

ризах, и когда согласный клир громко начинал петь: «Хвалите имя господне, аллилу-ия!..» О, мне тогда казалось, что иконостас, алтарь, весь храм и сам я — все превращалось в картину! И эта картина шевелилась, оживлялась — казалась мне безмерною; лики святых являлись чем-то оживленным, не человеческим, алтарь — престолом бога и весь мир — его рамою! После того я не мог уже смотреть на мои суздальские картинки, на эстампы, где изображались звери, и птицы, и люди. Я бросил мое «Начальное руководство», где живопись сведена была часто на изображение предметов ничтожных. Греческое иконописание, с его неестественными цветами, его рельефным очерком, мечталось мне единым достойным живописи делом.

Я умолял мать мою отдать меня учиться иконописанию. Она не смела сказать об этом отцу. Как можно было мне, сыну титулярного советника, учиться у мужика какого-нибудь, и чему же? Пусть бы рисованью, так, как учатся ему дворянские дети, учатся братья мои в училище, где их заставляют скопировать глаза и уши, нередко с уродливых гравюрок, бог знает для чего — для того, может быть, что им нельзя же не быть в классе рисованья. Но мне учиться *писать образа, у цехового иконописца!* Однажды мать моя заговорила было с отцом о моей охоте к живописи и о том, не нанять ли мне учителя?

«То-то,— сказал отец,— к дельному, так у него охоты нет, а вот к дряни так охота!»

«А что вы, папенька, называете *дельным?*» — спросил я.

«То, братец, что ты должен учиться писать, читать, арифметике да готовиться быть порядочным человеком!»

«А что такое, папенька, *порядочный человек?*»

«То, что порядочный, то есть *чиновник,* как я, и как другие, и как все хорошие люди».

«И мне надобно будет так же, как вам, сидеть в казначействе или в палате, как дяденька, где я у него много раз бывал. Но там гадко, папенька! Там сидят подьячие!»

«Прошу покорно: *подьячие!* Да я-то кто? А ты сам что за птица? Ты должен быть приказным человеком и уметь зарабатывать себе хлеб».

«Разве только о хлебе надобно человеку думать?»

«Разумеется; о чем же еще. Не век я буду с вами, умру; кто станет тогда вас кормить?»

Я заплакал: он умрет, и мне должно будет сидеть

в палате, среди этих подьячих, думать о хлебе, только о хлебе! Мне казалось, что вся будущая жизнь моя потемнела тогда передо мною...

Видите, какое странное противоречие было во всем моем образовании. Я носил в душе моей безотчетный, но высокий идеал живописи как искусства, изображающего божественное. А люди понимали под этим искусством какое-то черченье домов, глаз, носов, цветов. И мне указывали на такое занятие как на ничтожное дело, пустую забаву. И мне говорили, что я должен целый век просидеть в палате, между этими подьячими, которых я страшился, ненавидел — и не диво: вспомните наших провинциальных подьячих, оборванных, пьяных! Я заметил, правда, бывши несколько раз в палате у дяди моего, что там сидят еще другие люди, которых все уважают, которые украшены блестящими крестами. Но я или думал, что они такие же подьячие, только старшие, или жалел, что они, люди хорошие, должны сидеть в мрачной, закоптелой палате. «Бедные! — думал я.— И все-то они бьются из хлеба! И неужели его так трудно добывать? И неужели, кроме него, ничего нет на свете?» Стоя в церкви, я часто сматривал на икону, бывшую внизу иконостаса. На ней изображен был Спаситель в пустыне. Перед ним стоял искуситель, подавал ему камень и говорил: «Преврати его в хлеб!» Ответ Спасителя был подписан вверху. Он врезался в мою память, этот божественный ответ: *«Не о едином хлебе жив будет человек, но о всяком глаголе божием!»* Сколько думал я над этим ответом! Спросить мне было не у кого. Я сам себе разрешал слова Спасителя. *«Глагол божий,»*— думал я,— есть то чувство, которое хранится в душе моей и говорит мне, что я должен быть изобразителем для людей божественного, изобразителем не из насущного хлеба, но по внушению божьему. Тогда и камень превратится для меня в хлеб».

Мать моя не смела ничего более говорить отцу моему, но, связанная обещанием своим, слабая, добрая, решилась учить меня иконописанию между делом, тихонько. Мы условились с нею, что я буду ходить в училище, хотя для виду, и начну между тем учиться у знакомого нам иконописца. Знаете ли вы, что такое *иконописцы* русские? Они введены в цех и составляют в России многочисленное сословие. У них есть своя теория живописи, свои манеры писать, составлять краски, покрывать картины лаком. У них есть свои предания, поверья, условия, есть целая письменная книга, где изложены тайны их искусства.

У них есть свои школы — *корсунская, строгановская, вологодская.* Как литье колоколов почитается у нас доныне чем-то таинственным, с чем соединяется молитва, к чему не должно касаться с злою мыслью, так у иконописцев их занятие. Они не допускают в свой цех человека дурной нравственности и не сделают его настоящим мастером. Они знают, что живописцем был евангелист Лука, что первый образ создал сам Спаситель, утершись белым полотном и послав свой *нерукотворный лик* царю Авгарю.

Сзади нас жил иконописец — истинное изображение древних последователей Алимпия Печерского и благочестивого Андрея Рублева, оставшихся в памяти потомства. Это был старик, добродетельный, богобоязливый. К нему привела меня мать моя. Мы застали нашего Альбрехта Дюрера за его работою: на большом столе лежала перед ним огромная доска; он писал на ней образ богоматери *всех скорбящих радости.* Выслушав мать мою, которую любил и уважал как добрую соседку, старик указал ей на образ. «Вы, сударыня, скорбите о неисполненном вашем обещании,— сказал он,— а Пречистая приемлет всякую скорбь, и я, изображая теперь ее образ, могу ли отказать вам? Будь благословенно ваше благочестивое желание!» Он подошел ко мне, поцеловал меня в голову; седая, длинная борода его упала мне на лицо. Старик благословил меня, велел нам и начал сам молиться. Какое благоговение проникло тогда в душу мою! Я был в патриархальном веке искусства. Здесь видели в нем великое, святое занятие, не ничтожную забаву. Его начинали молитвою; образ богоматери, разрешающий душу моей матери, составлял предмет труда. Чистая, светлая комната, где мы находились, множество образов, радость матери моей, смиренное торжество старика, когда он заговорил после того с матерью моею о своем занятии, сетовал об упадке его, о забвении чистой иконописи, о развращении нравов между людьми, которые ею занимаются,— это было что-то высокое, от чего душа моя отдыхала! «Суета овладевает миром!— говорил старик.— Что теперь делают с искусством, занимавшим некогда св. евангелиста Луку и великого чудотворца Петра, митрополита всероссийского! Что пишут! Знаете ли, что прежде только избранные допускались к живописи, что их торжественно благословляли святители, испытав наперед их искусство и нрав, что цари призывали в чертоги свои художников, благоговейно молясь их созданиям?

В «Стоглавом уложении» сказано: «Подобает живо-

писцу быти *смирну и кротку, благоговейну, непраздно*словцу, не смехотворцу, ни сварливу, ни завистливу, ни пьянице, ни убийце. Наипаче же подобает ему хранити всякую чистоту, душевную и телесную, в посте и молитве пребывати, и с превеликим тщанием воображати, и писати, что вообразить божественное. Царю таких живописцев подобает жаловати и святителям бреще и почитати их, паче простых человеков, зане бог талант великий открыл им!»

Я начал учиться у старика и переселился в новый, очарованный мир. Мое дело сливалось теперь для меня с нравственностью, с добродетелью. Не было у меня идеалов, не знал я великих творений человеческих, но я видел что-то небесное, таинственное в занятии моем. Славы я не ведал — мысль об изящном меня не касалась: я считал себя исполнителем обета матери моей, и тем большую прелесть имело это для меня, что соединено было с тайною. Отец и домашние — никто не знал, как уходил я через сад к моему учителю. Старик полюбил меня, не слыхал во мне души. По моей страсти, по моему образованию я превышал всех простых его учеников, цеховых работников, мещанских детей. Мысль, что у него учится *барич,* радовала старика и потому уже, что, придерживаясь немного старообрядства, он полагал высшие звания потерявшими чистую веру и радовался, что во мне успеет водворить древнее благочестие, радовался моей кротости, моей набожности. Во время работы он беспрерывно беседовал со мною. Он разговаривал о чудесах, о св. писании. Нередко, оставляя занятие, читал он со мною жития святых, плакал за ними и заставлял меня невольно плакать. Помню, как он рассказывал мне однажды видения святой отроковицы Музы, выбравшей во сне цветок смерти как величайшее блаженство в мире! Ангел подавал ей *три цветка* — она выбрала белый, прелестнейший — это была *смерть,* тихая, блаженная кончина, в чистоте и невинности, награда благоугодившей богу отроковице... Со слезами слушая сию повесть, я ждал моего ангела, благовестника смерти... Скоро, однако ж, не стал я довольствоваться учением у моего старика, снова улетая в область мечтаний. Голова моя разгоралась в мечтаниях. Я старался объяснить старику свои темные мысли.

«Неужели,— говорил я,— ты думаешь, что изображения твои выполняют всю мысль величия и святости, какие может человек понимать и хочет изобразить? Я воображаю себе красоту бога выше красоты человека. Неужели чело-

веку нельзя изобразить этой нечеловеческой красоты, если он ее понимает? Для чего же он понимает ее? Неужели и не было покушения стать выше той степени, на которой находится твоя живопись?»

«Были, сын мой,— отвечал мне старик,— были такие покушения, но неизобразимое тщетно будем стараться изобразить! Поймешь ли ты бога? Но посмотри: этот треугольник с сиянием изображает тебе *мысль* твою о боге! Так и мои изображения представляют его: это нижняя ступень лестницы, виденной святым Иаковом, ступень, лежащая на земле, а конец лестницы скрыт в небе. Засни на этой земной, нижней ступеньке святым, детским, невинным сном и переносись только мыслию к созерцанию того, что невообразимо и неизобразимо».

«Бог неизобразим,— отвечал я задумчиво,— так, но он являлся на земле человеком. Покажи мне хоть то, что было в нем тогда человеческого. Но неужели так груба была белизна одежды преображенного на Фаворе бога, как ты ее изображаешь?»

«Нет! Лицо его было, яко снег, и ризы его белы, яко снег,— да где же я возьму красок, дитя мое? В мире их нет! И могу ли изобразить сияние бога, если один луч солнечный, только еще солнечный, упавший на сияние, мною изображенное, темнит его! Говорят, что были будто бы где-то живописцы, до того чудно изобразившие преображение и рождество, что человек в забвении может подумать, будто их не кисть писала человеческая, не краски изображали! Но я не верю этим рассказам. Видал я немецкие и итальянские картинки, которые католики называют образами, но это грубые портреты мужей и жен красивых — человеческие, а не божественные изображения. Сын мой! Будь прежде всего смиренномудр — не ищи того, что не дано человеку, или — горе тебе!»

Так, горе мне! Я искал, чего не дано мне! Но как мог я воспротивиться судьбе, увлекавшей меня по безднам несбыточных мечтаний!

Однажды утром застаю у моего учителя какого-то незнакомого мне человека, в простом сюртуке, в поношенной шляпе, с палкою в руках. Он сидел и тщательно смотрел на работу старика, расспрашивал о разных подробностях и заказывал ему написать образ самым старинным, *корсунским писанием*. Не обращая внимания на незнакомца, я подошел к благословению старика: так всегда начиналась моя работа; потом сел я за свой столик. Незнакомец, казалось, изумился, взглянув на меня.

«Любезный друг,— сказал он старику моему,— разве это твой ученик?»

«Да, милостивый государь».

«Но, кажется, он должен быть из благородных, а не из цехового звания?»

Я был одет в своей курточке, с воротником á l'enfant.

«Да, милостивый государь. Это сын моего соседа, господина казначея... между нами только сказать».

«Разве это какая-нибудь тайна?» — спросил незнакомец.

«Да, милостивый государь»,— отвечал мой старик и рассказал ему вполголоса все происшествие.

Незнакомец слушал хладнокровно. Потом долго говорил что-то со стариком, но я не слыхал их разговора, занятый моею работою: я покрывал тогда лаком икону. Совсем не заметил я, как незнакомец сел подле меня и глядел пристально на мое занятие. Он начал потом со мною разговор. Я привык уже видеть людей, приходивших к старику и расспрашивавших его из любопытства об его искусстве. Тут имел я случай внимательно рассмотреть незнакомца. Ах! черты его изгладятся из души моей только с моей смертию! Лицо незнакомца было бледно, черные волосы и густые черные бакенбарты придавали ему какую-то суровость; темные, унылые глаза его оживлялись участием. Ему было лет сорок пять, по-видимому.

Казалось, что мои ответы ему нравились. Но он вдруг замолчал и ушел.

«Кто это был?» — спрашивал я у моего старика.

«Бог его знает. Умный и, кажется, благочестивый человек, даром, что барин»,— отвечал старик.

Дня через два, когда отец мой после обеда сидел в своем садике, к нам явился чиновник из губернаторской канцелярии. Неожиданный приход этого чиновника встревожил весь дом, особливо когда он сказал, что *прислан от губернатора* и желает видеться с отцом моим. Отец мой опрометью прибежал в комнату. Мы толпою глядели из дверей, как раскланивался, как усаживал он гостя неожиданного.

«Что бы это такое значило! — вскричал мой отец, когда чиновник ушел.— К его превосходительству, завтра непременно, на особенную аудиенцию! И горе и радость! Зачем бы это? Неприятности никакой нет; он велел мне именно подтвердить это. Разве при своей особе хочет меня определить, *по особенным порученииям?* Что же?

Славно! Жена! белую манишку и галстух белый приготовить мне к завтраму!»

Все мы, мать моя, даже слуги, только и толковали о том, что отец мой завтра позван к губернатору, *особенно и непременно.* Отец мой встал часом ранее обыкновенного, тщательно брился, беспрестанно глядел на стенные деревянные часы, боялся, радовался...

«Диковинка, диковинные вещи! — вскричал он, едва переступил через порог после своего возвращения.— Жена! Знаешь ли, зачем звали меня?»

«Нет, друг мой!» — отвечала мать моя, глядя на него с робким нетерпением.

«Его превосходительство просит отдать ему нашего Аркадия».

«Как отдать?»

«Да так, отдать, чтобы он воспитывался вместе с его племянником; он хочет самолучшим образом воспитать его и сделать значительным человеком».

Мать моя заплакала — не знаю, от горести или от радости. Я задрожал, в глазах у меня сделалось темно от слез, я зарыдал.

«И ты согласился?» — спросила мать моя.

«А для чего же и не так? С богом!»

«Чем я прогневал вас, папенька? За что хотите вы прогнать меня от себя?» — вскричал я, падая на колени. Слезы лились у меня ручьем.

«Ах ты, дуралей! — сказал отец мой, усмехаясь.— Поди вон и не говори ни слова».

Я ушел в другую комнату, плакал потихоньку, а между тем слушал, как рассуждали отец и мать мои. Они не понимали, что это значит: почему *его превосходительство* узнал Аркадия; почему он требует именно *его*? Мать моя думала, что это милость божия, хоть я и не в сорочке родился. Между тем я не понимал ничего в таком нежданном перевороте дел. Я видал до тех пор губернатора только раза два, в блестящем мундире, окруженного большою свитою, знал, что его в городе все боятся, слыхал, что он все может сделать. Жар и озноб чувствовал я весь этот день.

Мне было тогда лет двенадцать. Если может быть поэтическим названо воспитание самое беспорядочное, то мое воспитание, как вы видели, было поэтическое. Я жил в каком-то странном патриархальном мире, читал много, знал много и ничего не знал порядком. В училище, куда не переставал я ходить по уговору с матерью, меня по-

читали самым негодным учеником, ленивым, упрямым; даже не заботились, когда не знал я уроков или вовсе не приходил. Мать извиняла меня слабым здоровьем, хотя я был здоров, силен и крепок. Старик иконописец был от меня в восторге, мои успехи у него казались необыкновенными. Он не мог нахвалиться и тихостью, кротостью моего нрава. Таково было тогда во мне соединение противоположностей, и благословенный мир никогда и потом не сходил на меня, на мою душу, мое сердце, мое воображение: они вечно ссорились и ссорятся между собою...

В совершенном отчаянии, как будто на казнь, одевался я на другой день после обеда, когда отцу моему велено было приехать и привезти меня к *его превосходительству*. Я не знал: как мне войти в великолепный губернаторский дом, мимо которого с любопытством хаживал я иногда мимо; где мне стать, как говорить и что говорить! *Его превосходительство* и — *я!* Нас разделяла бездна неизмеримая!

Но беспокойство мое немного уменьшилось, когда я узнал, что мы поедем не в дом губернатора, а на дачу его, верстах в трех от города. Однажды целым семейством гуляли мы там по саду, когда губернатор был в городе. Дом у него на даче был построен небольшой, но прекрасный. Мне страх как хотелось, помню я, войти в него, но отец запретил мне и думать об этом. Его превосходительство казался мне теперь не так страшен, когда не соединялась с ним мысль о великолепных его чертогах. В его хорошеньком загородном доме я как-то легче мог снести величие его превосходительства. Дорогою очаровательные окрестности, прелестное местоположение на берегу реки, рощицы, поля рассеяли мою грусть. Я опять оробел, когда, остановив старые дрожки свои у ворот, отец мой у крыльца еще снял свою шляпу и в сенях долго оправлялся, учил меня кланяться, потом на цыпочках пошел по зале, где большие зеркала, люстры, паркетный пол меня совершенно изумили. Я дрожал, подходя к кабинету: нас было велено провести прямо в кабинет. Но едва растворилась дверь, страх мой прошел. За большим бюро сидит тут — мой *знакомый незнакомец*, которого я видел у моего старика иконописца!

В пояс, множество раз, кланялся ему мой отец. Я стоял выпучив глаза, когда незнакомец мой подошел дружески к отцу моему и пожал ему руку.

«Познакомимся, любезный мой Аркадий!» — сказал потом мне незнакомец с улыбкою.

«Да где же губернатор, *его превосходительство?*» — отвечал я, не кланяясь ему.

Отец мой покраснел от стыда. Незнакомец опять улыбнулся.

«Неужели вы — губернатор, вы — его превосходительство?» — спросил я добродушно.

«Кажется,— отвечал он.— Прошу, мой друг, полюбить меня».

Я совершенно смешался.

«Ах! вас я уже полюбил! — вскричал я.— Вы такой добрый, такой ласковый. Не знаю, за что вас боятся люди!»

Незнакомец не мог утаить вздоха и грустно посмотрел на меня. Я едва не заплакал, я как будто понял его, мне стало его жаль, сам не знаю отчего. Тут хотел я, по научению отцовскому, поцеловать руку губернатора; он не допустил до этого, обнял меня и поцеловал в голову.

После того усадили порядком моего отца и меня. С изумлением глядел я на блестящие шкафы с книгами, на статуи между шкафами, дорогое бюро, часы. Сердце мое трепетало. Я пристально смотрел и на самого хозяина нашего, и лицо его казалось мне добрым, увлекало меня. Принесли чай. Я не смел взяться за дорогую фарфоровую чашку. Отец мой не знал, куда девать ему свою шляпу, и решился пить чай, держа шляпу под мышкою, как это ни было ему неловко. Тут явились племянник губернатора, мальчик моих лет, седой старик, гувернер его, и еще старик — вы его знаете: это мой добрый Семен Иваныч.

«У тебя будет товарищ, Саша,— сказал губернатор племяннику,— подружись с ним!»

Мальчик горделиво вздернул голову, потом ловко расшаркался и начал говорить мне по-французски: я был уничтожен! Он так был щегольски одет, так ловок, так свободно ходил и прыгал по кабинету губернаторскому. Я дичился, чувствовал свое невежество, свою ничтожность.

Но в это время нечаянно растворили дверь в другую комнату, род небольшого будуара... картузик мой выпал у меня из рук, и я невольно вскрикнул:

«Ах! что это у вас там?»

Там я увидел несколько картин.

«Разве вы не знаете и никогда не видывали картин?» — спросил у меня племянник.

«Не знаю, не видывал!» — отвечал я, сложив руки на груди.

«Пойдем же смотреть!» — сказал племянник, прыгая. Он потащил меня за руку. Там, над диванами будуара, висело несколько картин в раззолоченных, богатых рамах.

«Вот, смотрите,— говорил мне племянник, указывая на картины,— вот *Корреджиева «Ночь»*, вот *«Иоанн Богослов» Доменикина*, вот *«Оссиан» Жироде*, вот *Фридрихов «Пустынный приморский берег»*...»

Я стоял вне себя.

Так вот оно то, о чем мечтал я в саду, когда молился там, узнав *обещание* моей матери! Вот те образа, о которых говорил мне старик учитель, называя слухи о них несбыточными!

«Дяденька! Он их вовсе не знает!» — сказал губернатору племянник.

«Он знает их лучше тебя!» — отвечал губернатор, стоя подле меня, поджав руки и с каким-то горестным наслаждением смотря, как я позабыл всех и самого себя, стоял, глядел на божественные изображения! Это были копии с картин Доменикина, Корреджио, Жироде, Фридриха.

«Сядь здесь, любезный Аркадий,— сказал губернатор, усаживая меня на диван,— и скажи: нравятся ли тебе эти картины?»

«Разве это картины? — отвечал я.— Нет! Не обманывайте меня: ветер точно веет в волосах этого старика — это месяц светит — а это тот самый святой апостол, которого Иисус Христос любил больше всех своих учеников — а это, видимо, господь новорожденный — от него сияние нестерпимо — посмотрите, как этот человек закрывает глаза: ведь он живой!» — Забывшись, я преклонил колена и молился.

«Довольно,— сказал губернатор поспешно,— довольно! Пойдемте, дети!»

Я позволил увести себя из комнаты, но ничего не мог говорить. Едва заметил я, как распрощался мой отец и куда ушел губернатор.

Едва мы отъехали немного от дачи, как отец начал меня бранить.

«Ты был дурак, мужицкий мальчик, шалун! — говорил он мне.— Сам ты не хотел прежде идти к его превосходительству, а теперь я уже тебя и не пущу, да и его превосходительство тебя прогонит!»

«Ах! папенька! Ради бога, отпустите меня к губернатору, ради бога, отпустите!»

«Да как отпустить тебя, этакого невежду?»

«Что же я такое сделал?»

«Ты вел себя, как деревенский мальчишка».

«На меня не разгневался, однако ж, его превосходительство?»

«Хуже! Все над тобой смеялись, как ты не умел кланяться и кричал, смотря на картины! Экая невидаль дураку! Потерял свое счастье, да и только!»

«Папенька! Я буду просить его превосходительство ради бога взять меня... хоть в слуги, только бы мне у него жить».

«В слуги! Где ты набрался таких неблагородных чувств и привычек, негодный мальчишка! В слуги! Лакейский дух какой! Нет, я тебя проучу!» — вскричал мой отец сердито.

Горько плакал я, когда мы приехали домой, и отец мой с сердцем начал рассказывать матери, что я посрамил его у губернатора. О боже! Моего возращения ждали, как торжества: братья, сестры, слуги сбежались встречать меня. Теперь я был прогнан в дальнюю горницу и плакал; все меня дичились, все надо мною издевались! Горе мое было тяжкое. И, право, я не жалел о том, что не буду жить в великолепном доме губернаторском, но мысль моя привязывалась только к будуару его, к этим чудным картинам. Ах! Как великолепно они носились теперь передо мною, как много высказывали они мне такого, о чем не мечтал я даже и во сне! Мне и в голову тогда не приходило творить самому что-нибудь подобное; я хотел только глядеть на них, видеть их, забывать, смотря на них, все: я не верил, что их создала рука человеческая, земными красками! Земле ли может принадлежать такой младенец? Для земли ли такое лицо, как у этого апостола? А этот старик!..

Я не переставал плакать. Отец прогнал меня от ужина, бранил мать мою.

«Вот до чего довело его твое баловство!» — говорил он. Впрочем, робея перед губернатором, он не заметил, что мы уже знакомы друг с другом. Но он сердился, бранился. Уныние распространилось во всем нашем доме.

Губернатор, *его превосходительство,* однако ж, не прогнал меня, не разгневался на меня, вспомнил обо мне вопреки словам отца. Рано утром, на другой день, явился кабриолет губернаторский за мною. Добрый Семен Иваныч приехал к моему отцу и сказал, что губернатор

переселяет меня к себе на дачу, где я буду жить с его племянником, и что ему, Семену Иванычу, поручено быть моим дядькою. Изумление неописанное овладело всеми. Отец мой не верил глазам и ушам своим, качал головою. Я бросился на шею к Семену Иванычу, обнял мать мою и с восторгом уехал. Губернатора не было на даче. Меня провели в учебную комнату.

Простите, что я рассказывал вам мелкие подробности этого важнейшего события моей жизни. Повторяю: мне хочется показать вам, как странно увлекала меня судьба, как беспрерывно уводила она меня в какой-то волшебный мир воображения и ссорила с действительным миром, где ей надобно было как можно крепче приковать меня. Она забыла, видно, что мне надобно было ходить по земле и дышать земным воздухом! А я так безотчетно предавался увлекающему потоку жизни и всегда был еще впереди своего настоящего состояния! Я еще не знал тогда собственного моего бессилия — теперь иное...

С переселением в дом моего благодетеля началась совершенно новая для меня жизнь. Рассказывать вам внешние подробности ее нет надобности. Вы знаете, что я жил у благодетеля моего до самой его смерти, более десяти лет. Через год меня не узнавали те, кто знал прежде. Лучше расскажу вам изменения моего душевного мира. Я был тот же, прежний, но сколько перемен во всем, во всем... Изменения морального бытия моего были безмерны, как безмерен был шаг, который вдруг сделал я. Меня, странного, мещански воспитанного мальчика, с моею так легко вспыхивающею головою, вдруг судьба сделала другом, сыном человека богатого, редкой образованности, высокой нравственности, совершенно не похожего на других ни жизнью, ни образованием! Я перестал знать различие между богатством и бедностью. Удобства жизни и роскошь, какими окружил меня мой благодетель, я принимал как дело обыкновенное и не думал благодарить его, ибо он без всякой оценки давал мне их, а я принимал, не зная, что люди ценят их весьма дорого. Так в течение нескольких лет я совершенно отвык от положительной жизни.

Еще более отделился я от мира состоянием души моей. Мой благодетель в юности своей сделался самовластным обладателем огромного имения; все льстило ему в будущем, люди казались рабами, готовыми служить для угождения ему, для его прихотей! Не зная тягостей службы, он был уже в чинах; не заслужив любви и дружбы, он был

уверяем от людей в дружбе и любви и доверился им, был жестоко обманут, разочарован, не возненавидел людей, но был оскорблен ими и начал их презирать. Жизнь, казалось, улыбнулась ему наконец. Он узнал одно милое, очаровательное создание и предался всем обольщениям пламенной любви. Но она умерла, эта очаровательная девушка, а он ее *пережил!* Несколько лет после того он скитался за границею; наконец приехал опять в Россию, не хотел блестящих должностей и решился взять смиренное место губернатора в губернии бедной и отдаленной. Здесь, в совершенном уединении, жил он, благотворя подвластным, одинокий, только с самим собою мечтая о надеждах, так жестоко обманувших его. Весь жар души его, долженствовавший разлиться по его жизни, осчастливить его жизнь, горел теперь в грустной любви к ближнему, не освещенной ласковою доверенностью к людям. Он казался угрюм, суров — грозный всякому мерзавцу, унижавший других своим достоинством, не находивший людей, по сердцу, по образованию сходных с ним. Единственный наследник его, племянник, причинял ему только досаду. Это был ветреный, гордый, ничтожный мальчишка. Страсть к изящным искусствам оставалась одною утешительною, постоянною страстью моего благодетеля. Увидев меня у иконописца, к которому зашел он, желая узнать подробности его малоизвестного искусства, добродетельный, одинокий, уединенный в самого себя, этот грустный мечтатель, этот пламенный мизантроп думал, что видит во мне поэтическое создание, предназначенное быть великим художником. Такое чувство привлекло его ко мне. Не только хотел он облагодетельствовать меня — нет! он хотел еще наблюсти во мне психологическое развитие души поэта. Системы едва ли не всегда неисполнимы и губительны, если их начертывает предубежденное в чем-нибудь воображение наше. Вследствие плана своего мой благодетель начал мое образование, чисто поэтическое, по жанполевской «Леване». Я с жадностью учился, к чему влекли меня мои непреоборимые наклонности, но вовсе не учился ничему другому; убегал вперед в одном и решительно отставал в другом. Старый гувернер, добрый француз, воспитанник баттёвской школы, друг Катрмера де Кенси, часто спорил с моим благодетелем, уверяя, что он испортит меня своим *неклассическим* воспитанием. Но благодетель мой ничего не слушал, вскоре увлекшись ко мне привязанностию, наконец дружбою. Я сердцем понял его, несмотря на мою неопытность;

он невольно открыл мне всю свою душу, передал мне свои чувства, понятия. Он не понимал опасности, какой через то подвергает меня. Он, тяжко испытанный, оскорбленный жизнью, разочаровывал меня в действительной жизни и уносил в идеальное бытие. Младенчеству надобны игрушки, юношеству так же надобны игрушки. А он обратил мне в игрушку людей и действительную жизнь их, указывая на идеалы, как на истинную цель жизни, воскрешая свои разрушенные мечты в моей будущности и забывая свои погибшие надежды в моих!.. Но идеалам нет места на земле: человек обязан жить с постылою действительностью и только золотить ее, страшась будущего, как злого врага. Каждый из нас разочаровывается в жизни. Как легко это в свое время, в своем месте! Но не говорите юноше, что под розовыми щеками девушки скрыты костяные челюсти, что эта зелень лесов, и голубой цвет неба, и краски лугов и полей — простой оптический обман лучей солнечных! Не говорите ему, что и под маскою дружбы и любви кроется червь своекорыстия в сердце человеческом! Не говорите, что и жизнь наша есть также страшный скелет, что на земле природа *должна* иссушать зелень полей и замораживать ручейки и реки, потому что без этого не будет у нее весны. Не говорите ему: вы его убьете!

А он говорил мне все это! Прощаю: ему было от этого легче самому, но я погиб! По слуху, я уже презирал и не любил людей, обожая в них человечество; по слуху, уже боялся я людских страстей и знал ничтожество многого, перед чем благоговеет грубое невежество простолюдина. И самая фанатическая добродетель его губила меня: она была не по плечу людям. Что же это такое? Урод нравственный!.. Все это отразилось на моем ученье, моей жизни, моей судьбе. Я более читал, нежели учился; голова моя наполнилась идеями, на которые недоставало у меня ни форм, ни образов, ни выражений, потому что я не знал ни жизни, ни света, ни людей. Так, я обожал моего благодетеля, но кроме его не хотел никого даже любить. Самые отношения мои к родным сделались странны: я видел грубое полупросвещение моего отца, его странные формы, простодушное невежество моей матери, мелкий эгоизм моих братьев. Тяжко сердцу, если оно не может уважать тех, кого любит! Я принужден был обходиться с моими родными, как с грубыми, необразованными детьми; братья мои просто возненавидели меня. Отец и мать терзали меня притом своими ничтожными требованиями: почему

я не в службе — и опасениями: что ожидает меня впереди! Они не понимали, что такое значит и к чему поведет меня моя жизнь? Я наконец убегал от них. Но все, что было вокруг моего благодетеля, также не терпело меня. Напрасно уступал я его племяннику, сносил оскорбления от этого шалуна, от его приверженцев, которые видели в нем будущего своего повелителя. Ничто не помогало. Я не смел тревожить моего благодетеля, открывая ему свое мучительное положение, но терзался и был несчастлив, когда столько людей мне завидовало...

За все это мог бы вознаградить меня тот мир, в который свободно переносился я,— мир фантазии, мир художника. Я тщательно изучал под руководством моего просвещенного благодетеля все переходы этого мира в истории человечества. Тщательно учился я живописи. Без всякой корыстной цели, без предположенной системы рисовать сперва головки и ножки, заметить потом, в чем я более успеваю, перейти после сего к исторической, *шевалетной*, миниатюрной, пейзажной и бог знает какой еще живописи, избрать себе после того образцом какого-нибудь великого или не великого живописца, скопировывать его — изучал я живопись. И не живопись изучал я, но *искусство* как искру божественную, запавшую в душу человека, как вечную идею, развивавшуюся всюду в мире, на Востоке, в Греции, в Средних веках. Я замечал все эти развития искусства, изучал мир, современный каждому его периоду, каждому его месту на земле, и хотел наконец угадать: что должен делать художник *теперь*, в *наше время?* Уверенный в том, что творение дважды не повторяется, что возрасты человечества также не повторяются однообразно, но совершаются отдельно и самобытно, как развитие бесконечного, окончания чего не можем мы угадать, а начала не знаем, я хотел знать требование *моего* века. Но, к несчастию, *великое* и *прекрасное* не суть следствие изысканий и соображений. Это вдохновение безотчетное, пророческое какое-то чувство, которое творит и создает невольно. Рафаэль долго думал, как изобразить ему Пресвятую, и терялся в размышлениях, мучился, терзался; силы его ослабели — он уснул. Тогда явилась ему Пресвятая Дева в том небесном виде, в каком он изобразил ее на изумление векам. Рафаэль вскочил с своего ложа. *«Она здесь!»* — вскричал он, указывая на полотно. И в забвении самого себя схватил он кисть и краски, забыл все, переносил свое видение на холстину, облекал мечту свою в очерки, в краски... Он *творил*, а не думал уже о том,

как творить. Я верю этому происшествию, верю и тому, что великое «Преображение» его было тайною, мучительною мыслию всей его жизни; в этом я также уверен. И тогда только, когда душа его затосковала о близкой разлуке с миром, Рафаэль умолил божественное вдохновение сойти в младенческую душу его. Оно низошло к нему, как древний Зевес к Семеле, в громах и молниях, и сожгло его: вспомните, что «Преображение» недоконченное было поставлено при гробе Рафаэля — он не досоздал его и лежал перед ним мертвый — великое свидетельство, что́ может человек; печальное доказательство, чего не может он перенести!

С другой стороны, грустная механика искусств есть свидетельство, что с началом жизни зреет в человеке и начало смерти, что бытие его есть борьба живительного начала и начала разрушительного. Вы не поверите, если вы сами не изучали искусства какого бы то ни было, что за бездна тяжкой, ничтожной, механической работы предстоит художнику, пока звуки его инструмента будут составлять пленительную гармонию, пока резец его станет вырубать из камня идеалы красоты, пока краски его заблистают жизнию в картинах. Природа лишена ума, но ей отдано владычество над вещественностью; человеку дано царство ума, но вещественность — враг его. Прислушайтесь, как ветер безумно вьется около струн Эоловой арфы и безотчетно извлекает из них звуки — как это легко ему! И как же трудно человеку обезуметь в изящном, чтобы так же безотчетно играть на великих струнах вещественности!

Эта механика искусства долго не покорялась мне, потому что я самовластно требовал ее покорности, а не рабски торговался с нею на маленькие уступки. Я хотел вырубить Кельнский собор одним ударом, из одного камня, забыв, что такого камня нет в природе и что этот собор строили тысячи людей триста лет...

Все мучения, все несогласия моего внешнего и внутреннего мира увеличились, когда я переехал в Петербург с моим благодетелем.

Что такое называете вы обществом людей? Не знаю; но, по-моему, это собрание народа, соединенного для вещественных польз — *только для вещественных.* В этом обществе есть место купцу, чиновнику, даже будочнику, а нет его ученому, если он не учитель, художнику, если он не ремесленник, поэту, если он не poeta laureatus. В провинции эта цель жизни общества так грубо, так нагло

открыта, что чувство собственного достоинства спасает вас. Не так в столице. Там, возведенная на высокую степень внешней образованности, грубая цель жизни до того закрашена, до того залакирована, что надобно высокую философию, чтобы не увлечься в вихрь ничтожных отношений общества или не упасть духом, видя себя без места в этом мире, сгроможденном из вещественных отношений всякого рода. Все страсти там разочтены; все требования души и сердца дают подписку действовать в силу общих условий и забывать собственную свою волю. О! как возненавидел я тогда этот *большой свет,* увидев его, узнав его, возненавидел еще более, нежели ненавидел прежде грубую жизнь провинцияльную! Там я *мог презирать;* здесь образованность, богатство, знатность не дозволяли мне отрадного чувства презрения. Здесь невольно рождалось во мне страшное, тяжкое сомнение: *не ошибся ли я?* Не эта ли жизнь есть, в самом деле, истинное назначение человека? Если же она и не назначение его, но люди условились в этом — условились все, дураки и умные, богатые и бедные,— что могу сделать один я в толпе их?

Благодетель мой по месту, какое занял он в Петербурге, был в самом блестящем кругу. Все было рассчитано и условлено между им и обществом. В этом расчете и племянник его, с своим новым, блестящим мундиром, с своим светским образованием, с своими требованиями на успехи в свете, получил свое значение; и камердинер горделиво стал у дверей, для того чтобы докладывать своему барину о приходящих; и швейцар спокойно остановился подле своей конурки, как будто говоря: «Прошу не трогать меня, я на своем месте!» Где же мог поместиться я? Люди хотели знать: что́ я такое подле моего благодетеля? Племянник его мог отвечать: «Я глупец и шалун, но я его племянник и наследник!» Люди вежливо кланялись ему. Если бы я сказал им: *«Я художник;* я потому в вашем обществе, что благодетель мой знает мою *душу!»,* люди изумились бы. *Душу?* А ее-то тщательно прятали они друг от друга! *Художник!* Но что такое были для них искусства и художества? Забава от нечего делать, средство рассеяния, что-то вроде косморамы, на которую смотрят они сквозь шлифованное стекло, требуя от нее условной перспективы.

В Петербурге я осиротел и во внешней жизни. Занятия по службе и большой свет теперь более прежнего отвлекали от меня моего благодетеля. Нам редко удавалось жить вместе. Утро, обед, вечер всего чаще бывали

у нас отняты. Я играл жалкую роль, являясь утром, когда толпились у него *деловые* люди; в обед, когда собирались нему люди, *равные* ему; вечером, когда съезжались к нему *убивать время* за картами и сплетнями. Это общество было нестерпимо холодно, как крещенский мороз. Но оно же показывало мне и безмерную неравность в отношениях между мною и благодетелем моим; оно и разделяло нас бездною неизмеримою, бездною состояния, занятия, отношений, приличий. Тогда только, с ужасом, узнал, заметил, увидел я все это! Я видел, правда, и то, что благодетель мой сам терзался от своего нового рода жизни. Как часто, оставаясь со мной, он по-прежнему спешил делиться душою и сердцем, отдыхал в разговоре со мною, в чтении, в суждении о моих занятиях, о моих мечтах. Но он приметно бременился своею жизнию, тяжелою, заботливою, блестящею и пустою, как японская ваза, расписанная яркими цветами: она светилась насквозь, и в ней ничего не было, кроме пустоты...

Если я сказал вам, что меня убивал взгляд людей на искусство, скажу, что еще более убивал меня взгляд на искусство современное. Видя, что ему нет места как положительному занятию в жизни общественной — бедное! как оно гнулось, изгибалось, какой позор терпело оно, чтобы только позволили ему хоть как-нибудь *существовать!* Начиная с самого учения, оно делалось чем-то похожим на горшки с цветами, которые ставят на окошках для того, что надобно ставить их и что можно притом похвастать хорошим фарфором, редкими, хотя и уродливыми, заморскими растениями и красивыми, дорогими цветочницами. Оно походило на колонны, которые ничего не поддерживают, но стоят близ опрятных лачужек петербургских и подле огромных домов — алебастровые карикатуры мраморных колонн греческого Парфенона и римских вилл, поставленные для того, что в Афинах и в Риме их ставили! Начинают теперь гнать *схоластические и классические* формы из нашей литературы, но в художествах они царствуют у нас беспрекословно, самовластно. И при них ли что-нибудь может родиться? При них ли развиться самобытности века и народа, когда при том смотрят на художества, как на прихоть роскоши; когда художники делают из своего занятия или profession должность или ремесло.

Наши аматёры были для меня еще несноснее! Глупец решительный, совершенный глупец для меня сноснее, нежели глупец, который хочет умничать. Они, эти восковые

души, эти конфетные сердца хотят быть *литераторами, поэтами, художниками?* Я много читал сатирических описаний, как светские люди дают концерты, разыгрывают театральные пьесы, занимаются живописью, музыкою,— но все еще, кажется мне, этот предмет далеко не истощен — и неистощим. Пусть бы они переводили гравюрки на свои модные столики, разрисовывали цветами бархат для своих ридикюлей, играли в своих аматёрских концертах пьесы, которые, как попугаи, твердили они тысячу раз и вытвердили наконец... Нет! они хотят еще вдохновений, настоящих занятий литературою, и живописью, и музыкою! Им мало альбомных стишков, мало карандашных копий с эстампов, в которых мечтают они видеть творения Рафаэля, Доменикино, Мурилло; мало котильонов и вальсов, переделанных из чудных тем Россини и Вебера! Они судят, они сами творят безобразные свои недоноски, своих кукол, одетых в лоскутья пошлого подражания! Они собирают себе галереи, где им все равно — изысканный Тициан, фламандская мясная лавка, приторная Ангелика Кауфман, и великий Мурилло, и страшный Доменикино рядом с ними! Они говорят: «Я купил прелестного Гвидо Рени — я променял своего Караваджио — я получу завтра прекрасного Тинторетта...» От всех этих людей... я бегал без оглядки. Но я попадался к художникам ex professo, по должности, по назначению, потому что их учили живописи и благословили быть живописцами, укрепив это дипломом. И как же иначе? Они высидели в школе положенные годы, прошли *натурный* класс, они умеют рисовать с бюстов и статуй, они дерзают списывать произведения божественных гениев — они, они *списывают* Корреджио и Рафаэля, Мурилло и Доменикино! Послушайте: это было мне нестерпимо больно. Да! волосы становились у меня дыбом, когда я видел все это, слышал обо всем этом! Дрожь пронимала меня, когда я видел ученье по ланкастерской методе особого рода, ученье, где начинали копированьем ушей и глаз, отрезанных от картин Рафаэля, и выходили слепые; но хотели судить! Да, судить, по известной мерке, по тому, что слышали они в классах, и писать на заданную тему, как пишут акростихи, дистихи, мельёстихи, шарады. И об этом живописном *буриме* с важностию толковали потом; сличали, как изобразил тот или другой предмет тот или другой известный живописец и что у кого умел занять себе новый художник: от Снейдерсовой ли собаки заимствовался он хвостом, от Поль-Поттеровой ли коровы взял он главное

украшение картины! И дело решал знатный барин какой-нибудь, великолепный *любитель*, бросая сколько-нибудь денег отличенному мазилке! «Если бы у нас были меценаты, ему подобные; если бы у нас было всегда такое ободрение; если бы у наших живописцев были всегда такие выгодные работы!» — восклицало собрание других мазилок.

Да неужели Рафаэль создавал потому, что папа задавал ему работу для ватиканской галереи и для фламандских ковров? Неужели Корреджио лучше создал бы свой исполинский мир в Пармском соборе, если бы ему заплатили за него сотни тысяч? И разве вам самим не задавали создания великолепных храмов, вековечных памятников, святых иконостасов? Что же вы сделали? И неужели, в самом деле, вы уже такие нищие, которым есть нечего? Дайте им поскорее жалованье, ради бога, обещайте пенсию, когда они состареются! Но за то велите им мести мостовую или вязать кружево — только запретите им приниматься за кисть. Они убьют искусство. Оно и то еле дышит!

Вы видите, что я должен был со всеми перессориться, потому что я не скрывал своих мнений, истинные или ложные они — не знаю. С досадою спрашивали у меня после того собственных моих созданий, а я с горестию видел, что ничего не могу представить, что, утопавший в море идей и идеалов, я работал неутомимо, жег себя в работе; но уже самое то губило меня, что я поставил цель свою недостижимо высоко и стыдился всего, что было ниже моей цели.

Наконец, я не мог более выносить ни других, ни самого себя. Я хотел просить благодетеля моего: позволить мне уйти пешком за границу, в отечество Дюреров и Рафаэлей; просить его, чтобы он забыл обо мне, как желал я, чтобы весь свет обо мне забыл! Я хотел сказать ему, что если я буду достоин его надежд на меня, его родительской ко мне нежности, то имя мое скажет ему моя слава! Если же *нет*, если мне суждено упасть, погибнуть под бременем самого себя и несбыточных моих мечтаний, то да позволит он совершенному забвению скрыть мое имя и даже то место, где успокоится голова его безумного Аркадия, которого судьба с детства тащила насильно на погибель! Но я не смел говорить всего этого моему благодетелю, ибо чувствовал, что я нужен ему для утешения его больной души. Без меня он остался бы совершенно *одинок*... Время проходило.

Его здоровье видимо наконец расстроивалось от несвойственного образа жизни, от трудных его занятий. В один вечер мы остались с ним одни. Он не велел никого принимать, чувствуя себя особенно нездоровым. Он рассматривал мои новые эскизы, говорил с жаром, с каким-то особенным чувством... он так любил меня, он так хорошо меня понимал!

«Аркадий! — сказал он мне.— Я не хочу скрывать от тебя радостной для нас обоих вести. Я думал было изумить тебя нечаянностию, но не буду отнимать нескольких приятных дней ожидания для того только, чтобы тем сильнее поразить тебя потом известием неожиданным. Знаешь ли, что я подал просьбу об отставке? Слушай далее: едва получу отставку, немедленно едем. Хочу поселиться в Италии. Здоровье мое расстроивается совершенно. Мне не для чего беречь его, но зачем же и быть самоубийцею?»

Говорить ли мне о моем восторге? Я целовал руки моего второго отца, я едва не плакал от радости. Италия, Италия!.. Мы проговорили с ним до глубокой ночи. Мой благодетель прожил некогда года два в Италии. Он много рассказывал мне вообще о своих путешествиях, об Италии особенно. Теперь мне усладительно было вновь услышать от него все, что уже слыхал я прежде. Наконец он встал, простился со мною, взял свою ночную лампадку. Все в доме давно уже спали. Мы были с ним одни совершенно. Выходя из комнаты, он вдруг остановился... Как теперь помню я этот бледный свет, упавший от лампадки на его бледное, задумчивое лицо! Он еще раз взглянул на меня, улыбнулся, протянул ко мне руку и сказал четыре стиха любимого своего поэта:

Du mißgönnst
Dem Bild des Märtyrers den goldenen Schein
Um'es kahle Haupt wohl schwerlich; und gewiss,
Der Lorbeerkranz ist, wo er dir erscheint,
Ein Zeichen mehr des Leidens, als des Glücks...[1]

Что такое были эти слова? Предчувствие, страшное предвещание будущей моей участи, изреченное устами того, кто вырвал меня из растительной моей жизни и указал мне на достоинства человека?.. Это были *последние*

[1] Едва ли будешь ты
Завидовать сиянью золотому
Вкруг мученика голой головы.
И знай, что так же лавровый венок —
Скорее знак страдания, чем счастья.
Пер. с нем. С. Соловьева

слова, слышанные мною от моего благодетеля!

Я ушел в свою комнату; грустное впечатление последних слов скоро пролетело, я вспомнил о предстоящем путешествии, голова моя была в жару, я не мог спать, ходил, думал, мечтал... К утру только заснул я... Просыпаюсь, услышав рыдание... это был Семен Иваныч... Он стоял подле моей постели и не мог выговорить ни одного слова... И без слов его я понял ужасную истину... «Он умер!» — вскричал я вне себя. Бросаюсь в спальню благодетеля моего... Тих, спокоен был лик умершего; задумчивая улыбка застыла на устах его... Смерть не смела стереть этой улыбки. Он был теперь счастлив... он рассчитался с жизнью...

Аркадий не мог более продолжать, закрыл лицо руками и тихо плакал. Крупные слезы текли между его пальцами — так крепко прижал он руки свои к лицу... Я не в силах был выговорить ни одного утешительного слова. Всякое утешение казалось мне оскорблением священной горести, какою чтил он память незабвенного для него человека.

III

— Oui, ma douce amie, malgré l'absence, les privations, les alarmes, malgré le désespoir même, les puissants élancements de deux coeurs l'un vers l'autre ont toujours une volupté secrète, ignorée des âmes tranquilles. C'est un des miracles de l'amour de nous fair trouver du plaisir à souffrir, et nous regarderions, comme le pire des malheurs un état d'indifférence et d'oudli qui nous ôteroit tout le sentiment de nos peines...[1]

Ж.-Ж. Руссо

Или я создан иначе, или неправду говорят, что величайшая горесть всегда безмолвна. Нет! после первого оцепенения какого-то, продолжавшегося несколько минут, походившего более на душевное несуществование, нежели на скорбь, я зары-

[1] Да, моя нежная подруга, невзирая на рузлуку, утраты, тревоги, даже на отчаяние, само всесильное влечение двух сердец приносит нам сокровенную отраду, недоступную безмятежным душам. Обретать радость в самом страдании — это и есть одно из чудес любви, и нам показалось бы злейшею бедою, если бы безразличие и забвение лишили нас способности чувствовать наше горе.

Пер. с фр. Н. Немчиновой и А. Худадовой

дал, слезы мои полились, как будто душа моя хотела выхлынуть с ними через глаза мои. Три дня плакал я, почти не переставая, почти не отходя от бездушного трупа того, кто столько лет был моим провидением...

Я едва замечал, что делалось вокруг меня. Помню, что слуги моего благодетеля горько плакали; что великолепная процессия шла за гробом его по Петербургу, что люди подходили, спрашивали: «кого хоронят?» — слышали имя и спокойно шли, кто куда шел, иной на рынок, иной в суд, иной прогуливаться — дело обыкновенное! Воротясь с кладбища, заперся я в своей комнате. Во все эти дни только однажды приезжал племянник, теперь наследник моего благодетеля. Потом явился он на похороны, провожал тело покойника и прямо с кладбища уехал куда-то. Я не начинал с ним говорить; он как будто не замечал меня. Мы были с ним чужие.

Сырой, пасмурный был этот день. Наступил вечер, тяжкий, грустный. Безмолвно ходил я по своей комнате, в ужасающем одиночестве. Ни прошедшее, ни настоящее, ни грусть, ни печаль, ни мысль о будущем, ничто не втеснялось в мою душу. Во всем доме было безмолвие, приводившее в трепет. Ничто не шелохнется в этом жилище, еще недавно оживленном деятельностью жизни, ума, сердца! Кабинет моего благодетеля был запечатан. Казалось, что с смертью его все умерло — умер и я! Уничтоженный, как будто несуществующий, ходил я по комнате, ни о чем не думал и не мог думать.

Бесчувствие мое было столь велико, что я не заметил, как вошел ко мне какой-то угрюмый незнакомый человек. Его провожал старик камердинер покойного. Угрюмый незнакомец объявил мне, что отныне ему препоручает все имение свое племянник покойного, что все распоряжения и доверенности прежнего владельца уничтожаются, и все дела поступают к нему, г-ну управляющему. Хорошо; но что же мне была за надобность до его дел? Я молчал, смотрел на незнакомца; он принужден был сам начать продолжение своей речи и сказать мне, что доверителю его не угодно оставлять за собою этого дома, что он его отдает в наем, что для этого надобно очистить дом, а посему и просят меня выехать из него немедленно.

Да! какая глупость! С чего вздумал я сюда воротиться с кладбища? Как мне было не знать, что с смертью моего благодетеля для меня все было кончено; что мир вещественный должен был теперь схватить меня и мстить мне

за то, что столько времени я не жил в нем? Эта мысль пролетела в голове моей, когда мне объявили, что меня гонят из дома, где провел я столько лет с моим вторым отцом... Счастливо или несчастливо? На что спрашивать: у меня было сердце, понимавшее меня, была целая семья чувств в этом сердце... Теперь — *одинокость,* страшное уединение души и сердца — и страшное лицо мира, с его двумя тусклыми, помраченными от низких страстей очами, на которых не ищите божественного отблеска первосоздания! Мне казалось, что я видел уже эти два глаза, на меня устремленные, чувствовал холодное дыхание мира и людей на моем сердце, замечал, как две огромные руки ничтожных забот о жизни обгибаются вокруг меня, хотят схватить, поднять меня, и мир злобно хочет после того смеяться над моею беззащитностью, моим сиротством, держа меня в страшных своих когтях... Холодный пот выступил у меня на лбу. «Но посмотрим,— думал я,— посмотрим, что ты сделаешь со мною, мир? Я от вас ничего не потребую, ничего не захочу, люди! Тяжко тому, кто чего-нибудь хочет, и ему этого не дают; а кто ничего не хочет, ничего не требует?»

«Долг мой был предуведомить вас, милостивый государь»,— сказал мне наконец незнакомец, удивляясь, по-видимому, моему молчанию.

«Я слышал все это»,— отвечал я ему.

«Итак, благоволите приказать убрать ваши вещи».

«У меня ничего здесь нет, милостивый государь,— отвечал я,— никаких вещей. Все, что вы ни видите, принадлежало моему благодетелю — теперь принадлежит все это его наследнику».

«Он позволяет вам взять с собою все, что было подарено или поступило во владение вам из движимости его покойного дядюшки. Вместе с тем прошу объявить: не имеете ли вы каких документов, по которым вам следовало бы получить какую-нибудь сумму или что-нибудь отдельно во владение?»

Я чувствовал, что лицо мое загорелось.

«Документов никаких я не принял бы, и благодетель мой не стал бы мне давать их,— отвечал я.— В течение многих лет, пока я жил в его доме, подарил он мне несколько книг, несколько эстампов — вот эти золотые часы. Я готов все это отдать...»

Я вынул часы из кармана и осмотрелся кругом по комнате, где лежали мои любимые книги и портфейли. Странное чувство! Как грустно стало мне, когда я поду-

мал, что мне должно будет со всем этим расстаться, со всем этим, что столько лет составляло часть моего внешнего бытия! И это чувство могло вгнездиться в душу мою, когда я был убит горестью о потере моего благодетеля? Но это чувство *есть* в *сердце человеческом:* мать плачет сильнее, видя игрушку, которою играл сын ее; слезы каплют чаще, когда мы смотрим на столик, за которым видали прежде милое нам существо, которого теперь уже нет...

Стыдитесь за меня!

«Надеюсь, что все эти безделки отдадут мне?» — сказал я. Да, я сказал это, когда за минуту столь горделиво готов был объявить миру: «Я *ничего* от тебя не требую!»

«Разумеется»,— с улыбкою отвечал мне незнакомец.

Он ушел, а я ходил по комнате. И в это время место прежнего безмыслия вдруг заступил в голове моей хаос различных мыслей. Они летели, пролетали, сверкали, пересекали одна другую. Прошедшее, настоящее, будущее — все было возбуждено коротким разговором с незнакомым мне новым управителем дома. «И после тебя начались обыкновенные действия людские, как будто после самого ничтожного человека! Где же следы, где истинная память твоя? Для чего же *ты* жил? — думал я.— Для чего *я* живу? Что было твое бытие, твое истерзанное, обманутое жизнью бытие — и *мое?* — невольно прибавил я.— Завтра идти из этого дома... Куда? Зачем? Надобно жить! Для чего? Что мне в будущем?»

Это был пароксизм какого-то нравственного бесчувствия, жгущая лихорадка души. Думаю, что если бы в эти минуты кто-нибудь подал мне пистолет... хладнокровно спустил бы я курок, приставив дуло пистолета ко лбу, и не понимал бы в то время, для чего я это делаю! Как хорошо знал подобное состояние души Байрон!..

...Vacancy absorbing space;
And fixednes without a place...
...Silence, and a stirless breath,
Which neither was of life nor death,
A sea of stagnant idleness,
Blind, boundless, mute and motionless!..[1]

Но это не было еще последним расставанием с жизнью. Сколько времени этому прошло? Пять лет, да, пять лет —

---

[1] ...пространство, наполненное пустотой; прикрепленность без определенного места... безмолвие и неподвижность воздуха, не говорившие ни о жизни, ни о смерти; стоячее море бездействия, слепое, безбрежное, безмолвное и неподвижное!.. *(англ.)*

я многого еще не знал тогда! Жизнь так дешево не дает отпускных. У меня оторвалось тогда только полсердца; но человек может жить, пока остается у него хоть маленький кусочек сердца. Только тогда он умирает, когда этот *последний* кусок разорвется. А пока человек еще жив, ему надобно жить. Я пережил тяжкую минуту бесчувствия и после того не мог уже умереть. Жизнь опять подкралась ко мне. Душа моя пустила новые побеги; жизнь усеяла их новым пустоцветом...

Она сошла ко мне прежде всего благодетельным сном. Я забылся — уснул. А когда я проснулся, сквозь зеленые занавески окна пробивался луч едва только восходящего солнца, и этот луч осветил мне будущее какою-то отрадою, сказал мне, что между мертвым и живым нет более отношений. Живому жить, мертвому тлеть. Мне казалось, что совершившееся недавно уже перешло в область отдаленных воспоминаний, что благодетель мой умер уже давно. И что такое *давно?* Разве не мысль человеческая меряет его? Разве она не может раздвинуть минуту на целый век и целый век сжать в одной минуте?

Теперь сидел я в креслах своих, где провел несколько часов, забывшись сном, сидел мрачный, но — бодрый и здоровый. Вчерашние слезы мои высохли. «Пойдем отсюда! — думал я.— Пойдем, сыщем себе пристанище!» Тут, машинально, рука моя обратилась к моему бумажнику. Я вынял его, развернул: в нем лежала ассигнация 25 рублей; я вынял мой кошелек: в нем был рубль серебра и несколько серебряной мелочи. Все это оставалось у меня от денег, которые ежемесячно давал мне благодетель мой на мелкие расходы. Я разложил эти деньги перед собою. «Тут будет у тебя столько, чтобы не умереть с голода на первый раз...— думал я.— А там?.. а там...»

Уныло склонилась голова моя. «Что же потом? Работать для насущного хлеба?» Я содрогнулся. Дверь тихо растворилась. Осторожно вошел ко мне Семен Иваныч. Его седые волосы, франклиновский вид, его черное с плерезами платье, красные от слез глаза (он не переставал плакать, уединяясь от всех) — в первый раз все это поразило меня. Со времени кончины моего благодетеля я почти не замечал моего доброго Семена Иваныча — неблагодарный! Что же теперь? Семен Иваныч, по обыкновению, нес ко мне маленький мой кофейник, чашку, молочник на маленьком серебряном подносе.

«Батюшка, Аркадий Иванович,— сказал он мне,—

услышав, что вы изволили уже встать, я принес вам ваш кофе».

Поверите ли, что это меня растрогало, обрадовало? Еще раз прежнее, хоть во внешнем, как будто ничто не изменилось вокруг меня! Еще человек близкий ко мне.

«Но почему же узнал ты, Семен Иваныч, что я уже встал?»

«Я, признаться, батюшка, видя, что вы очень обеспокоены, спал у вас подле дверей. Вчера этот новый управитель так грубо поступил с вами — я боялся...»

«Нет, нет! это невозможно!» — вскричал я.

«Батюшка, Аркадий Иванович! — сказал мне старик,— простите моей дерзости! Вы мне не приказываете говорить об этом, изволите прощаться со мною».

«Садись, Семен Иваныч,— сказал я, почти до слез тронутый добротою старика,— полно говорить об этом. Мы должны расстаться, мой любезный Семен Иваныч!» — продолжал я, протягивая к нему руку.

Я хотел только пожать его руку; он бросился целовать мою. Поспешно отдернул я руку и вскочил с места.

«Что делать, мой любезный Семен Иваныч! Общее несчастие наше...»

«Оно, конечно, велико; я все еще не могу удержаться от слез, да и в целый век об этом не наплачешься, но отчаяние — грех пред богом, тяжкий грех! Вам особливо, когда вас бог одарил всеми благами, умом и красотой (старик и теперь уверен, что я величайший красавец), вам будет еще жить хорошо, а мне — остается жить немного, следовательно — тоже хорошо!»

Что мог я сказать на это? Открыть ему, этому простодушному старику, состояние души моей вполне? Или, для увертки, сказать, что у меня есть нечего, и оттого так грустно смотрю я на будущее? Напротив, его простые слова: *«Отчаяние есть грех пред богом!..»* Что мог я возразить на сии слова? Разве не *отчаянием,* не *грехом* должно было назвать безотчетное, тревожное состояние души моей, самое себя терзающей? Сказать же, что меня сокрушает неименье денег, голодная смерть в будущем, когда у меня были две здоровые руки — стыд!

«Батюшка, Аркадий Иваныч,— начал старик, помолчав немного,— не отриньте вы моей просьбы: я весь тут, у меня нет ни роду ни племени. Барин давно уже дал нам всем отпускные, когда еще здравствовал: я свободный человек; да куда я пойду? Позвольте мне жить у вас; я еще могу служить вам не хуже молодого. Вспомните,

что вы на руках моих выросли: вы не захотите и теперь расстаться со мною. Не правда ли?»

«Любезный Семен Иваныч! на что тебе подвергаться на старости лет труду и беспокойству!»

«Какое же беспокойство? Простите моей дерзости: ведь я всегда почитал вас своим сыном; думаю, что и теперь могу еще быть для вас полезным. Вы совсем не знаете хозяйства; я хотел заменить вас собою, чтобы вы могли между тем, по обычаю вашему, на свободе думать и писать ваши прекрасные картины, как было при старом барине».

«Я сам еще не знаю, где я буду жить,— сказал я,— и *чем жить!»* — едва не вырвалось у меня.

«Не знаете? А я так почти знаю,— отвечал старик, усмехаясь. В изумлении взглянул я на него: он оробел, смешался.— Я думал, что вы позволите мне жить с вами, и приготовил было для вас и для себя квартирку, по вашему вкусу, прекрасную, веселую... простите меня! — Старик сложил руки с умоляющим взором.— Я знал, что у вас теперь нет денег. У меня, во время моей службы у барина, скопилось до двух тысяч рублей. Они лежали в ломбарде. Вчера я взял их оттуда, нанял квартиру; вот остальные деньги на разживу *нам*... О! у вас под руками золото будет родиться, а теперь... Батюшка, Аркадий Иванович! не откажи: утешь меня, старика! Вспомни, что душа моя сжилась с тобою, что я столько лет ходил за тобою, как за родным...» — Он хотел стать на колени.

Я бросился к моему старому другу и обнял его, этого слугу,— он был выше в это время, гораздо выше многого, что называют люди высоким! Я обнял бы его перед целым миром и горделиво сказал бы: «Обнимаю *человека*». Отказываться от такого предложения я не мог, более — оно согрело душу мою, мир умел подкрасться ко мне в виде этого старика, под личиною добродетели.

С тех пор мы уже не разлучались. Немедленно пошел я с ним осматривать мою новую квартиру. В самом деле, я увидел несколько веселеньких комнат. Семен Иваныч в тот же день перевез мои вещи, устроил маленькое хозяйство. Началась новая жизнь моя. Горесть моя успокоивалась мало-помалу и превращалась в грусть и унылую память о былом. Опять все возрождалось теперь в душе моей. Около года жил я в глубоком уединении. Чего не передумал, не перечувствовал я в это время!

Я узнал теперь прежде всего, как мало было надобно человеку для вещественной его жизни, о которой столь

много заботятся люди. Семен Иваныч доставил мне некоторые работы, и этого достало мне прожить год. Двум-трем богатым купцам надобны были портреты их самих, жен их, детей; каким-то поэтам надобны были картинки к их поэмам. Механически сделал я все это и никуда, ни к кому не ходил. Все еще не было мною решено, что мне делать с самим собою? В этот год снова переучил я все, что знал, перемыслил, о чем думывал прежде. Множество эскизов, рисунков, этюдов сделано было мною. Темная мечта — ехать в Германию и Италию — становилась, однако ж, постоянною моею мыслию. Я хорошо знал *наш* художественный мир и не хотел вступать в него. Но все это — мысли, мечты, предположения, ученье мое,— все было так неполно, мертво! Художник без живых страстей и ощущений, художник-мизантроп, какое-то недовольное создание, критически изучающее свое искусство, художник, который насильно старается разочаровать мир и природу и носится в неопределенных безднах между небом и землею,— что это такое? Все что угодно, но не истинный художник. Фридрих пишет пустыни безлюдные, дикие, необитаемые — часто изображает он просто одно бесконечное море, но посмотрите: тут есть, однако ж, клочок земного *берега,* тут *нет людей,* но есть *земля* их, и на ней видны остатки разбитой лодки, и чайка носится тут над каким-нибудь полуразрушенным крестом, а под этим крестом могила, и в ней,

Под мягким дерном гробовым,
Спит сердце, некогда земным,
Смятенным пламенем согрето!

Правда, и у меня была в мире могила, единственное место, куда ходил я гулять, могила незабвенного; но она молчала, он молчал! А душа моя требовала живого ответа, звала к себе живую душу! Где же была эта живая душа, друг моей, *моя?* Я вопрошал и могилу друга моего, и мир: могила его не отзывалась мне, а мир шумел вокруг меня и не думал замечать моих скорбных воплей.

Однажды вечер был прелестный: один из тех вечеров петербургских, по которым лета петербургского не променяю я на лето одесское или таганрогское, теплое, но богатое жаром, пылью и мухами. Проведя целый день в уединенной работе, я отправился на кладбище; дорогою встречалось мне так мало народа; на кладбище совсем никого не было: помнится, тогда весь Петербург гулял на островах, где показывали ему разные диковинки — фейерверки и еще что-то такое; о кладбище ли думать в это время

петербургскому жителю, который за фейерверком готов скакать двадцать верст и только одного не променяет на гулянье: свидания, назначенного знатным человеком, в его передней! Меня радовало, что решительно никто не встречался со мною на *ниве божией:* мне было так свободно на ней одному доспрашиваться ответов у самого себя, беседовать с могилою моего благодетеля. Шумный город остался за мною, в городском тумане. Уже долго сидел я и мечтал на гостеприимной могиле моей. Ее не тяготил еще тогда великолепный памятник, какой поставили на ней после. Меня не отчуждала еще от нее золотая надпись, где исчислены ордена и чины покойника, а не сказано, какое сердце скрывает эта драгоценная могила, какого человека прах тлеет в ней! Я забыл самого себя в усладительной тишине этой природы, в тихом спокойствии этой могилы. Природа, меня окружавшая, на этот раз — казалось мне — не была мертва: она дышала так понятно, весело, так тепло веяла она вокруг меня! Мне казалось, что я чувствую даже биение пульса ее, что он отзывается мне даже и в этой хладной могиле, что каждая травка, смятая моею ногою, говорит мне: «Не презирай, не уничтожай меня — ведь я жива!»

Тут легкий шелест шагов послышался вблизи. Оборачиваю голову: девушка в черном платье идет поспешно, не видя меня; лицо ее закрыто вуалем...

Знаете ли, что я никогда не любил и теперь не люблю женщин? Я не люблю *женщин,* эту касту, эту *секту* (как называет женщин наш милый поэт, воспевавший их, будто ангелов, ненавидевший, будто демонов). *Женщина!* Кто из них самих не рассердится за такое название? Сами они не любят его: им хочется в ангелы, в человеки, в матери. Тогда только жалобно говорят они: «я женщина», когда раздраженная ими страшная воля мужчины разрывает цепи, какими они оковывают ее, они, пигмеи, мирмидоны, нарумяненные Омфалы, заставляющие своих Геркулесов прясть нитки и целовать башмачки и трепещущие их львиной кожи! О, тогда они говорят тихо, жалобно: «Я женщина!» Переведите на настоящий смысл эти два слова: вы узнаете в них печаль души человеческой, понимающей свое жалкое, бедное полубытие, принужденной слабостью своею защищаться от грома, от молнии, горящих, гремящих в полной душе мужчины. Во всю жизнь мою до того времени почитал я женщин загадкою, которая не стоит разгадки, шарадою, у которой два слова имеют смысл, являют два смысла, если их читать отдельно,

и — никакого, если сложить их вместе. Это клавиши, на которых играют страсти мужчин. Самые неприятные воспоминания о женщинах остались у меня от моего детства; я совершенно разочаровался, видев потом женщин в большом свете. От аркадских идиллий меня брала зевота. Не хорош наш железный век, но, боже мой! что же был золотой! Только *одна женщина* существовала в мире, показала миру и унесла с собою из мира идеал, постигнутый потом в вещественных его формах Рафаэлем. Венера Медицейская мне всегда нравилась как кусок мрамора, обделанный для анатомического образчика женского тела; всегда смотрел я на эту статую, как философ смотрит на восковое изображение трупа, изучая в нем физического человека.

Но теперь, в это мгновение — место, уединение, тишина, черное платье, закрытое лицо — это не была женщина: это была какая-то идея, прилетевшая ко мне на призыв души моей. Незнакомка останавливается, не видит меня, закрытого кустами, которые насадил я вокруг могилы моего друга. Да она и не смотрит никуда — она стоит подле какой-то своей могилы; она становится подле нее на колена — она тихо плачет, приклоняет к этой могиле свою голову... С изумлением, не смея дышать, смотрел я на это создание, на его легкие, прелестные формы... Она что-то шепчет, говорит; напрягаю слух и слышу только одно слово: «Маменька!» Но как произнесено было это слово! — Милое, милое создание! пусть на одре смерти моей, в последний час моих смертных терзаний, скажут мне его, это слово, произнесут его мне этими звуками — они вдруг украсят всю прошедшую жизнь мою, они усладят мою смерть... «Мать моя!» — скажу я тогда в свой черед природе и засну, как засыпает дитя на лоне своей матери, и эти звуки будут мне предвестником того, что услышу я в небе!..

«Веринька! где ты!» — произнес мужской голос.

«Здесь!» — отвечала тихо незнакомка.

Сколько идей, мыслей, выражений соединилось для меня в одном этом слове? *Здесь она* — при гробе матери! Где же ей быть? Она неземная — мир в это время смеется, веселится, глядя на паяцев. Там собрались и *женщины*. Но что ей до них? Ее ищите здесь, здесь, где лежит все, что привязывало ее к миру — берегитесь, не испугайте ее: у нее есть крылья... И она *Вера,* она пришла сюда, когда и я пришел сюда! И рядом покоятся здесь два драгоценные ей и мне существа! Мы *свои* с нею; вот они, *наши* — эти

две могилы, доказательство, что мы с нею родные. Откуда пришла она? Кто она? Зачем вдруг исчез весь мир, разделявший нас доселе? Зачем он вдруг столкнул нас и говорит нам: «Плачьте вместе!» Неужели слезы наши, смешавшись вместе, будут небесною росою, от которой должен снова ожить и расцвесть увядший цветок нашей жизни? О! мы обманем мир — он свел нас на грусть и печаль, а мы найдем надежду и радость!

К незнакомке подошел немолодой мужчина. Он казался мне таким добрым. Пристально глядя на него, я ничего особенного не находил в его лице, но что-то необыкновенно доброе и простодушное оказывалось во всех его движениях. Это была поэзия своего рода — народная песня, пропетая добрым весельчаком.

«Я знал, что найду тебя здесь,— сказал он.— Дурочка! Всегда бежит сюда опрометью! Ну, что все плакать?— Он отвернулся и отер тихонько слезу, которая покатилась по его смуглой щеке.— Пойдем! Посмотри-ка, что за славная эпитафия!» — продолжал он и начал читать забавную надпись на ближней гробнице; но — он притворялся: голос его дрожал.

«Пойдем!— повторил он, но, опираясь на свою палку, не двигался и осматривался кругом.— Много,— сказал он,— много вас, дружки, собралось здесь! И много тут хорошего схоронено!» — Он задумался и произнес несколько стихов — вы знаете, чьи это стихи?

Как быть! а всем одно! всех на пути
Застигнет сон... Что ж нужды? Все мы будем
На милой родине! Кто на кладбище
Нашел постель — в час добрый! Ведь могила
Последний на земле ночлег; когда же
Проглянет день, и мы, проснувшись, выйдем
На новый свет, тогда пути и часу
Не будет нам с ночлега до отчизны...

Никогда эти добродушные, простые стихи не являли мне столько прелести, как теперь! Мне казалось, что я вижу самого сторожа ночного, самого Гебеля, который не сочиняет свои стихи, а так, остановясь на кладбище, думает их вслух.

«Вот и этот был куда славный человек!— продолжал незнакомец, указывая на могилу моего благодетеля.— И памятника никто не поставит, и поплакать никто не придет...» — продолжал он задумчиво.

«Папенька! я всегда молюсь за него, когда бываю у маменьки!— сказала незнакомка, подходя к отцу.— Я знаю, что он был ваш благодетель».

Тень твоя радовалась тогда, второй отец мой! Здесь вдруг билось три сердца, которые не *забыли* тебя! И он был благодетель отца ее, благодетель ее! Она молится за него! Великий боже! Если ты, тень священная! привела меня сюда, благотворя мне еще и по смерти, привела для того только, чтобы я узнал *ее*...

Я тихо поднялся с могилы. Нечаянное появление мое, казалось, изумило незнакомца. Дочь его робко прижалась к его руке. Он смотрел на меня пристально, но спокойно.

«Если не ошибаюсь,— сказал он,— вы Аркадий Иванович, живший у покойного генерала, вот у этого доброго почтенного человека?» — Он указал на могилу. Лицо незнакомца выражало особенное любопытство.

«Вы не ошиблись. Извините, что я испугал вас, помешал вам, может быть; но вы говорили о человеке для меня драгоценном».

«Ему был я в свое время обязан многим».

«Я никогда не видал вас у него?»

«А я вас знаю... Мы видались».

«Не помню, извините...»

«В училище живописи, у г-на N. N.».

Тут вспомнил я, что, точно, мы видались; но я пропускал это лицо без замечания. И что мне было заметить в нем? Оно всегда сидело за вистом, когда случайно я прихаживал вечерами, раза два-три к N. N., одному из главных учителей в училище живописи.

Мы пожали друг другу руки, как старые знакомые. Старик был отменно словоохотлив; он начал со мною разговор. Дочь его молчала. Он успел рассказать мне, что некогда был определен в училище живописи пособием моего благодетеля. Но потом оставил он свое занятие и потому, когда возвратился благодетель его в Петербург, он уже не являлся к нему. Теперь он был чиновником, рисовальщиком, переводчиком при одном из министерств.

«Но я все-таки, сударь, немножко охотник, аматёр в живописи. Все училище до сих пор мне знакомо. Главные учителя мои старые однокорытники».— Старик засмеялся. Его откровенность, добродушие, воспоминание о благодетеле моем, может быть, всегда сблизили бы нас. Теперь мог ли он мне не понравиться? Он был *отец ее* — а мне казалось, что душа ее уже давно мне знакома, и все родное ей было родным и мне. Мне все нравилось теперь в старике; нравился даже этот грубый лоск образованности, какой воспитание художника, самого дрянного, придает ему. Так грамотный образованнее неграмотного, хотя бы только по

складам читал он. Понравилось мне и то, что незнакомец не мучил меня вопросами: что я такое? где я? Впрочем, повторяю: что не понравилось бы мне, близкое к ней? Странное свойство человека: глупость отвратительна, невежество глупо; но если на них брошено покрывало отношений — глупость кажется добродушием, невежество — первобытною, доброю простотою человека. Человек неумолим, и он же так способен извинять, так снисходителен; и эти две противоположности могут быть в одну минуту, от одного слова, и никакой ум не защитит в этом случае от заблуждения! Нечувствительно пошли мы все вместе, перешли кладбище, вошли в город; разговор наш не прерывался. Незнакомец был шутлив, ласков и словоохотен — я влекся за ним... Чего желал я? Зачем шел? Не знаю, не знаю! *Она* шла с нами вместе; но что же была мне она? Я еще не видал даже ее лица, не говорил еще с нею ни одного слова, но я и не хотел видеть лица ее. Она могла быть безобразна, урод! Какое мне дело? Я уже знал ее: душа ее сказалась мне на могиле матери ее, на могиле моего благодетеля.

Вдруг остановились мы подле хорошенького, опрятного домика. Я изумился, огляделся кругом.

«Зайдите, сударь, ко мне, Аркадий Иванович,— сказал старик, пожимая мне руку.— Мне очень приятно познакомиться с вами покороче».

Вообще я небрег тогда о моем наряде. Еще менее думал я о нем, идя на кладбище. Я бормотал извинения.

«Ничего, сударь, ничего»,— сказал старик, удерживая меня за руку. Мне хотелось бы спросить у нее. Она как будто поняла меня.

«Папенька,— сказала она,— кажется, пора пить чай!» — и проворно пошла вперед. Я пошел за отцом ее.

Редко можно встретить жилище, небольшое, но столь хорошо, мило, удобно расположенное. Коврики, диваны, столики, светлые стекла в дубовых окончиках, цветы на окнах — и эта женская заботливость, видимая повсюду, в шитье по канве синелью, бисером, гарусом, в разных мелочах, доказывающих искусство, вкус, занятие хозяйки. И притом чистота, опрятность, несколько литографий за стеклами, прекрасное фортепиано. Мы сели в диванной, подле небольшой гостиной. Веринька явилась тотчас; она скинула свою шляпу; я увидел ее вполне.

Много раз после того старался я отдать самому себе отчет: что такое пленяло, очаровывало меня в ней! Нет! она не была урод, безобразна! Милое, привлекательное

личико, свежее, как роза, с большими глазами, то принимающими веселое, живое выражение, то вдруг унылыми, задумчивыми, но всего более ничего не выражающими, ибо выражение дают страсти; эфирный стан, маленькая ножка — но у какой же, хоть немного сносной, шестнадцати-семнадцатилетней девчонки всего этого нет? Что же особенно пленяло, очаровывало меня в ней? Что безвозвратно решило судьбу мою? Что? Не знаю: я тщательно изучал лицо Вериньки; я могу изобразить его вам ощупью, если вы закроете мне глаза, и — никогда не напишу я ничего похожего на Вериньку — не напишу ни ее взора, ни ее голоса, ни ее движений, ни ее души. Но все это, отдельно взятое, так просто, так обыкновенно... Боже! как хороша ты, моя Веринька; но скажи мне: что в тебе хорошего?

В первый раз после кончины моего благодетеля мне хотелось участия других. Думаю, что я говорил тогда хорошо: мы говорили о благодетеле моем, сердце мое невольно высказывало себя. Мы были как будто давно знакомые. Веринька сидела за столом, молчала, не замечала того, что локон ее, развившись, падал в беспорядке, что легкая косыночка скатилась с одного плеча ее... Она двигала серебряную ложечку по подносу, задумчивая, иногда с участием подымая на меня глаза свои. Когда я говорил о последнем вечере, проведенном с моим благодетелем, на глазах ее навернулись слезы — она поспешно ушла из комнаты. Я простился с стариком и побрел к себе...

Сказать ли вам глупейшее из всех слов, какие только находятся в языке человеческом? Это глупейшее слово — «влюбиться»! Этим словом унизил человек святое имя, которым называл себя сам бог. Так человек унизил великое слово «могу», заменив его словом «должен». С первым исчезло в любви все небесное, с вторым высокая воля человека заменилась невольною обязанностью, и пропало бескорыстное вдохновение добра! Человек был создан из добра и любви, с ними все соединялось у него в первобытной его жизни. Кто был добр, тот любил; кто любил, тот был добр. И любовь роднила душу человека с мертвою природою. Философия не разогреет веры, и не логикою убеждаются в ее святых истинах, но сердцем. Там, в сердце человеческом, воздвигнут алтарь святой веры, рядом с ним поставлен алтарь любви, и на обоих горит одинокая жертва вечной истине — пламень надежды! Без этого пламени солнце наше давно погасло бы, кровь в человеке давно застыла бы, и кометы праздновали бы только погребальную

тризну на скелете земли, с ужасом спеша из мрачной пустоты, где тлеет труп ее, спеша туда — выше, далее, где свет чище, ярче, более вечен... Вы дивитесь чудесам в великом, но зачем не наблюдаете вы их в малом? Наша земная любовь не есть ли отблеск любви вечной, огня небесного — украденного, говорили греки, Прометеем каким-то. Нет! Он не был украден, этот огонь: он мы — дитя не крадет молока своей матери: его всасывает оно с жизнью!

Я не умел *влюбляться:* я *любил,* едва только узнал любовь, как начал жить, едва только узнал жизнь. Жизнь разлилась во мне с первым моим дыханием, разлилась в мозгу, в крови, в костях моих. Так было теперь с любовью. Я жил с тех пор потому, что любил, и любил потому, что жил. Тут для меня не было ни идеалов, ни отдельного чувства — было все! Вскоре не было и меня, отдельно существующего — была только моя любовь. Вы хотите узнать, что происходило со мною после того? Я *любил.* Хотите знать, каким образом Аркадий, о котором рассказывал я вам до сих пор, сделался тем, что вы видите в нем теперь, как мирились и снова ссорились в нем все возможные противоположности, почему всегда хотел ехать и не поехал я в Италию? Отчего видели вы во мне какого-то упадшего, но счастливого своим падением человека, отчего видите теперь почти сумасшедшего? Я *любил* — и только: более ничего я не знаю. Ни сил, ни памяти моей недостанет рассказать вам все то, что заключено в одном слове: *любить.* Вот несколько лоскутов бумаги, на которые бросал я иногда свои заметки — одну из тысяч!

Аркадий вынял из бюро своего множество лоскутков бумаги.

«*Прошедшее!*— сказал он усмехаясь.— Я буду смотреть в этом на самого себя, как на что-то любопытное постороннее. Простите беспорядку, нескладице — иногда я сам ничего не понимал; мне иногда самому казалось, что я на один шаг от сумасшествия... О Веринька! что ты со мной сделала!»

«Мир в сущности своей лучше, нежели нам кажется; мы сами лучше, нежели мы думаем. Небо и земля, повидимому, отдельны; но они слиты вместе. Станьте на высокую гору, выше *низкой* земной поверхности — на земле, однако ж,— и вы увидите, что земля кругом вас сливается с небом. Но *на земле* станьте для этого, а не в облаках; иначе земля обовьется для глаз ваших густым

туманом земной атмосферы, и вы потеряетесь в бездне этого пустого тумана. Ногу на землю, взор в небо — вот истинное твое положение, человек! Но ты устаешь смотреть в небо? Хорошо; мы не можем глядеть на солнце — меньше ли его очарователен месяц? Заоблачное небо закрыто от нас солнцем, и на эту закрышку смотреть также нельзя — ослепнешь! Однако ж иногда и на солнце глядеть можно. Надобно только темное стекло. Так на счастье можно смотреть сквозь *темноту* жизни человеческой, сквозь несчастия. Тогда блеск его не ослепляет. А кому свет счастья нестерпим, тот смотри на месяц; вместо золотых лучей солнца он утешит вас своими серебряными лучами...

Святое должно быть прекрасно; все *прекрасное* должно быть свято для человека. Если вы без веры входите в храм, будет ли он для вас храмом? И зачем вы пришли в него? Не так ли все прекрасно потому, что вы чистою душою убеждены в этом? После сего есть ли что-нибудь на земле не прекрасное? Для того родится оживотворенная вера в него — *художник*. От его волшебного прикосновения то, что на земле *казалось не прекрасным,* получает красоту, делается *изящным*.

Если ты любишь прекрасное только в камне, только в красках на холстине, будет ли полна душа твоя? Никогда: ты любишь мертвые формы, ты не знаешь *души* прекрасного, заключенной в живой жизни его.

Чем больше думаю, тем больше убеждаюсь, что только невинность, младенчество души достигнет мира, после которого начнется новое, обетованное царство искусства и знания. Человек ищет истины, роясь в гниющем трупе ума, вооруженный анатомическим ножом. Ему надобно искать его в полноте жизни, искать не наукою, но верою. Мы уже слишком много *знаем*.— Чувствую, как душа моя начинает отдыхать теперь и как много начал я *делать* с тех пор, когда перестал *испытывать*. Какой-то святой огонь радости и тишины греет душу мою. А если я ошибаюсь и если это утомление души?— Нет! это не утомление! Чувствую, что теперь на плечах моих подниму я горы. Вот разница: прежде я *отчаивался;* теперь *надеюсь*. Надежда — сестра веры... Какое слово, какое имя! Чье это имя? Подруги любви?

Однако ж как грубы формы жизни их, формы их мышления! Этот старик, художник по диплому, рисовальщик

машин, как мало он знает, как грубо он чувствует! Мне смешно, когда он начинает говорить об искусствах. А *она* молчит — и заставляет меня краснеть при мысли: не дура ли она? Но ребенок разве глуп? В нем небесные формы, он только не знает наших выученных фраз. Бог с ними! Не эти ли фразы губили меня до сих пор? Богочеловек призывал детей прямо в царство свое, а нам с какими тяжкими условиями жизни, с каким крестом дозволено думать об этом царстве! *Погуби разум свой, разумный!* будь дитя... Однако ж это грустно, когда нет ответа душе моей, когда я должен возить тележку детскую или стучать в детский бубенчик, чтобы уравняться с *нею*...

Как я ошибся, как глуп был я! Как устыдила она мою гордость; какое величие души! Я изумлен! Так глубоко чувствовать сердцем, так безотчетно понимать сердцем все великие тайны ума и искусства, так задумываться над великим и потом так добродушно отвечать: «Понимаю, но не знаю состояния души, в котором это может услаждать ее!» Она не знает еще наслаждений страдания! Три часа говорили мы. Она скрывает себя от других. Нет! это не глупое незнание, не холодное равнодушие. Рафаил долго жил в семействе Товии, и никто не замечал крыл его. Так в ней все великое и прекрасное живет с нами. Сколько мыслей возбудила она во мне, сколько многое разрешила мне одним взглядом! А этот вопрошающий взор, устремленный на меня, когда она не понимает чего-нибудь? А эта радость, когда она начинает понимать, эта детская радость...

Он совсем не так глуп, и люди, его окружающие, не так глупы. Что лучше: большой ли свет, где все на ходулях и в масках, или этот малый, где люди ходят в первобытных одеждах и не закрывают масками простых лиц своих? Однако ж на вечера их я не пойду более. Мне скучно. Зачем же сидел я там до пяти часов утра? Аркадий! ты можешь привыкнуть, а это дурно.

Зачем теперь не думаешь ты о своей Италии? — Но как я поеду туда? — Пешком идти надобно тебе. — Хорошо, только зачем же? Не сам ли я всегда опровергал нелепость: изучать искусство в образцах? Это та же теория. Разве вдохновение, разве изящное есть какой-нибудь колдун или кикимора, которые скрываются в развалинах Колизея или пугают из грязи Понтинской? — Но, Аркадий, ты хотел

туда ехать, бежать? Ты хотел бежать туда от людей, от самого себя. Но теперь тебе не совсем дурно. Отчего твое довольство собою? Отчего...

Я не спал всю ночь. Гром и молния, дождь, ветер мешали мне спать. Голова моя болит.

Что за странность! Семен Иваныч уверяет, что ночь была тиха и прекрасна. Можно ли так ясно видеть сны? Но спал ли я? Кажется, нет! — Сомнение есть признак мудрости. — Как глупа эта сомневающаяся мудрость! И как будто мудрость может сомневаться!

Бессонница моя продолжается. Вчера я видел сон и с ужасом вскочил с постели — а он был так прелестен! Чего испугался я? Противоположности с действительным?..

Неужели обман и мечта — это счастие! Ради бога, уверьте меня, и жизнь моя перед вами — возьмите ее: я все еще дешево куплю небо на земле! Как она спрашивала меня: почему не был я целую неделю? Как слезы навертывались на глазах ее, когда она говорила мне о бледности лица моего! Если это просто *участие,* что же *любовь* ее?.. Чувствую, как голова моя кружится; или я сделался солнцем, вокруг которого вертится все... Веринька, милый друг! «Веринька, ты забыла гостей своих»,— говорил ей отец. Она *заговорилась* со мною. Я хотел уйти, но она *так* взглянула на меня, что я бросил шляпу, сел в угол и молчал. Как мило щадила она меня, не стараясь вовлекать в разговор, и как украдкою оглядывалась она на меня! А это движение, когда она прикладывает руку к груди, как будто у нее грудь болит... болит... Неужели от этого чувства больно груди? Или грудь человеческая не привыкла к этому святому чувству? О Веринька! Что ты такое?

Зачем пошел я к ним сегодня! День грусти и тоски нестерпимой! Она так обрадовалась, когда увидела меня, сделалась так весела, так ласкова ко всем, она прыгала, как дитя. Зачем она не бросилась ко мне и не прижалась к груди моей? Чего она боялась других? Что тут худого? Я обнял бы ее, как ангелы обнимают ангелов, душа моя так чиста была в то время... Но после этой радости не совестно ли ей было уравнять меня с другими? Хуже: я казался ей более чужим, нежели все другие! Она убегала

моего взора, ничего не говорила со мною... А эти два дурака, которые окружали ее,— они меня взбесили. Зачем она позволяет себе быть с ними всегда веселою, ласковою, а со мной так часто задумывается, молчит.

«Вы меня пугаете!» — сказала она и затрепетала. Разве взор мой сделался страшен в это время? Мне ужасно как хотелось выкинуть их в окошко.

«Что вам за радость говорить с этими дураками?» — сказал я.

«Какое же право имеете вы почитать их дураками и запрещать мне говорить?» — отвечала она.

«Право, *Веринька*».

В первый раз я назвал ее так. Она, казалось, собрала все свои силы и сказала с негодованием:

«Я всех в мире люблю!»

«Всех?» — спросил я злобно, чувствуя, что готов был позабыться.

«Неужели те, кого мы любим, должны терзать нас?» — сказала она со слезами на глазах, умоляющим голосом и ушла из комнаты.

Я убежал домой. Это невыносимо... Бог с тобой, Веринька! Люби всех. Я могу любить *одну* и хочу, чтобы она одного меня любила. Сердце человеческое не должно быть постоялым двором, где всякого принимают с равною ласкою: это храм, где воздвигается жертвенник одному. И для кого бесславишь ты святое имя любви? Их любить? Любовь тратить по мелочи?.. Как ты жалка, бедная Веринька, как ты бедна, жалкая девочка! Ты смешна мне. Я думал что-то найти в тебе — кланяюсь тебе, хорошенькое личико,— люби всех, люби... Кровь моя бросилась в голову... Презрение — незаконный брат любви, но родной ей по матери.

Старик заходил ко мне и пенял мне, зачем я позабыл их. Я немедленно пошел к ним, завернувшись в горациевскую епанчу философа. Ровно три недели я не был у них. Ее не было дома. Это меня обрадовало. Я думал отделаться визитом моим. Да и что ей во мне? Она не считает минут моего отсутствия, она не ждет меня,— ей все равно! Отец говорит, что она очень здорова. Горько улыбался я, слыша, что еще вчера, вчера они где-то провели всю ночь, все прыгали, плясали. Зачем не вошла она в эту минуту, веселая, насмешливая? Я никогда бы не явился к ним более. Она вошла поспешно, задыхаясь от усталости, но унылая, печальная.

«Что с тобой сделалось?» — спросил отец.

«Я бежала опрометью,— отвечала она вдруг,— мне сказали, что Аркадий Иванович пришел... я думала, что вас, папенька, нет дома»,— прибавила она краснея.

«Какая приветливость!» — подумал я и с досадою взялся за шляпу.

«Вы не будете пить чай у нас?» — спросила она в замешательстве.

«Нет!» — отвечал я грубо.

Отец вышел в это время. Глаза ее обратились ко мне; они, казалось, спрашивали: что значит все это?

«Вы у нас так давно не были».

«Разве вы заметили мое отсутствие?— Она молчала, несносная! молчала! Хоть из учтивости бы сказать: *да!*— Вы весело проводите время»,— продолжал я, едва скрывая бешенство.

«Ах! очень весело!» — сказала она, как будто боясь, чтобы разговор не обратился на что-нибудь другое.

Но я и не думал обращать его ни на что, был хладнокровен, спокоен. Тут, видно, ее рассердило мое равнодушие, и она — женщина!— нашла средство терзать меня! Скрывая досаду свою, с улыбкою она начала рассказывать мне о вечере, где они были. Ничтожная девчонка, стрекоза, бездушное создание! Я выдержал характер: захохотал, отвернулся от нее и ушел в кабинет к отцу ее. Там сидели какие-то старики. Я не видал ее более, потому что через полчаса ушел. Но — стыдись, Аркадий! ты видел ее! Да, я остановился на улице, против окна; она сидела на диване, задумчивая, печальная... Так-то я видел ее в первый раз. Но — клянусь богом!— что я смотрел на нее теперь, как на картинку. Зато дождь промочил меня до нитки. Он заступился за женщину, которая не могла победить твердости мужчины. Желая доказать свое упрямое равнодушие, я стоял и смотрел целый час.

Она любит меня! Нет сомнения! Ее поступки не кокетство. Но в ней вовсе нет сердца, или она глупая кукла. И ты, Аркадий, передашь себя ей, этой девчонке? Ты помиришься на этой любви, на этом ребяческом чувстве? Разве ты не видишь: она женщина просто. Не мне она, не мне — пусть явится избранный, мишурное создание, вывальсирует с нею из круга людей, объяснится с нею где-нибудь на бале, на прогулке, пусть благоразумно скажет он ей, что обожает ее. Она потупит глаза — карикатура, карикатура! Хохочу, когда подумаю! У нее есть

тоже свои дрянные идеалишки, своя кукольная комедия дружбы пансионской — вероятно, и любви,— ей пора сменить одних кукол другими куклами. «Объяснитесь с папенькою, я от себя не завишу».— «Но позволите ли мне надеяться, что мое желание не возбудит негодования вашего...» Нет! глупее надобно: «Но смею ли думать, что не оскорблю вас...» И в заключение всего: «Как я счастлив!..»

Семен Иваныч услышал мой хохот и вошел ко мне. В самом деле, какие глупости пришли мне в голову...

Чудная Веринька! скажи, кто ты: демон или ангел! Нет! ты *неземная* — это я знаю лучше самой тебя. Великого не стыдит унижение добровольное. И я понимаю, что ты скрываешься от людей, ты снисходишь к ним, ты равняешься с ними, ты не хочешь оскорбить их, открыв им свое небесное происхождение! Тебя оскорбило бы признание мое: ты думаешь, что словами не выражают чувств, ты чувствуешь, что надобно жить, дышать этим чувством, этою любовью — но не говорить о ней! Сегодняшняя прогулка, где так нечаянно мы встретились, где в толпе людей мы были одни, где мы говорили так мало, где я мог вести тебя под руку, слышать сильное трепетание твоего сердца, где ты забывала земной язык, где прижималась ты к моей руке и я казался твоим защитником...

«Полно говорить об этом — ради бога, перестаньте!» — сказала ты мне, когда я начинал рассказывать тебе об ужасном состоянии души моей: я не смел говорить о *любви* моей.

«Полно, Аркадий, mon bon ami![1] Вы не поверите, как тяжело слышать, что вы несчастливы! При вашем сердце, при вашей душе... Вы не должны быть несчастливы!»

«Что же составит мое счастье, Веринька, что составит его? Не люди, нет, не люди! Дайте мне одну *душу* любящую, понимающую меня...— Она вся затрепетала.— Вы мне и жаловаться на это не позволяете?»

«Могу ли я быть вашим руководителем, Аркадий?»

«Будьте им, будьте моим ангелом-хранителем».

«Мы не понимаем друг друга».

«Нет! вы меня понимаете».

«Боюсь понимать, может быть...»

«Меня ли можете вы бояться?— сказал я с жаром.—

---

[1] мой добрый друг! *(фр.)*

Испытайте меня, заставьте меня делать, говорить, думать, что вам угодно! Передайте только мне мир души вашей!»

Как начала она после того говорить, как чудно изъясняла мне свой детский, невинный, ангельский взгляд на мир, на людей! Только гордость моя не позволяет мне согласиться, что она права... Теперь я вижу всю ее душу! Я готов был преклонить колена перед нею, не думая казаться странным; в лице ее обожал я великую идею любви... И вся толпа, окружающая нас, также преклонилась бы перед нею, если бы только я сказал ей несколько слов, этой толпе. Никакое сердце, ничья душа не лишены своего участка неба.

Нет, Веринька! — так дешево не отдам я тебе себя! Твоей детской любви мне мало. Хочешь ли быть *моею*? Отрекись от себя; не думай быть со мною счастлива; воображай, что страшное, неизъяснимое бедствие ожидает тебя со мною; что только горькие слезы будут тебе отрадою... Тогда-то мы будем счастливы, но счастливы не по-земному: тогда жизнь моя, душа моя, моя вечность принадлежат тебе! Ты еще не знаешь счастия *умереть вместе*, после жизни ужасной, бедственной, от которой содрогнулось бы все, кроме любви. Любовь не боится ничего, всего менее — смерти. Это чудовище, столь гибельное, страшное всему другому, есть ангел-благодетель любви! Отдайте Вериньку кому угодно, забросьте ее за моря, за непроходимые леса и горы, позвольте мне ползти на коленах по всему свету, искать ее; разбейте лодку, на которой поплыву я, и бросьте меня, истерзанного, об острые скалы приморские, только бросьте к ногам ее, так, чтобы мой последний взор устремился на нее, встретился с ее взором, выражающим любовь...— Вот счастье, вот что я знаю в любви...

Она способна, она может так любить — она готова будет скитаться со мною вечно, по земле неприязненной, с нищенскою сумою, с посохом, которым мы будем стучаться под окном поселянина, выпрашивая ночлега любви нашей... Аркадий! ты сумасшедший!

Как странно говорил со мною сегодня отец ее! Чего он хотел? Не думает ли, что я *жених* его дочери, что я также хожу к нему, как другие, *играть в свадьбу*? И неужели она смотрит на меня, как на толпу других молодых людей, из которой более нежному, более скромному, более прилеж-

ному в искании, представляющему более удобств в жизни она отдаст свою руку? Веринька! неужели я *женщину, невесту* обожаю в тебе? Неужели ты думаешь, что я не посмел бы любить тебя, если бы ты была царица? Побоялся бы любить тебя, если бы ты была нищая бродяга, а я сильный царь? Ты прекрасна, Веринька: в глазах твоих небо, стан твой зефирен; но подурней, милый друг! сгорбись, сделайся безобразна! Тогда только увидишь ты, люблю ли я тебя! Принадлежи другому — что же мне? Я люблю душу твою — она всегда будет моею.

Нет, нет, о боже мой! Ей принадлежать другому! Нет! все — *только не это*! Я не переживу этого — больше недели не переживу. Что смерть? To die, to sleep![1] Мне нельзя будет тогда *даже и умереть:* ты останешься в мире...

Напрасно хотеть воротиться теперь — это уже невозможно, бедняк! Если она и не то, если она ничтожна, если ты должен играть жалкую, презренную роль ничтожного любовника, как этот долговязый молодой человек, который вчера навязывался к тебе в друзья,— все кончено! Ты думал властвовать ею, ты думал, что она боится, трепещет твоей исполинской силы, а она опутывала тебя паутинными нитками — и опутала! Видишь ли, кто теперь повелевает: она или ты? Что за лицо представляешь ты у них в доме? Что ты — привидение ли, которое приходит пугать других? Или шут, над которым все забавляются? Куда как глуп ты с своими мечтами, с своими высокими мечтами! Вчера ты хотел остаться в своем кабинете, и что же? Целый вечер у них; и целый вечер ты сидел наряду с другими, играл в дурачки, рисовал карикатуры! Тебе дали альбом, и ты вписывал в него глупости — цветочки, хижинки — и был весел-весел — вот что мне всего досаднее! Ты потерял всю власть над нею: она уже не тревожится твоими взорами, уже не боится тебя. Огонь безумных, сильных страстей погас! Она так спокойна, весела, так уверена, что ты всегда придешь к ним. Ты не смеешь уже изъявить ей никакого противоречия. Вчера, помню, при первом слове она тихо пожала мне руку и сказала: «Опять пугать меня, Аркадий?», и я замолчал. Ей весело играть в эту ничтожную любовь, в этот звонок жизни, по которому веселая радость и крошечное удовольствие являются, когда их позовут! Она дитя, она забылась сном, а ты не смеешь пошевелиться, не смеешь говорить громко — боишься перервать сон твоего дитяти! Но как очарователен этот сон! Веринька! ведь ты моя?

[1] Умереть, уснуть! *(англ.)*

Неужели я до того изменился? Как: они, эти люди, которые меня пугались, страшились, они уже начинают любить меня; они находят меня милым, любезным, забавным, веселым? Стыдись! По крайней мере этот долговязый вчера был рассержен. Какую глупую рожу делал он, как был жалок! Она торжествовала. Она говорила, казалось, всем: «Видите ли, как мой Аркадий умен, как он мил?» — «Вы всегда будете таким милым, Аркадий, как сегодня были?» — сказала она, прощаясь. Мне стало совестно за нее — нет! за себя.

И это ты перенес, Аркадий! Как: отец ее говорил тебе, что почитал тебя богатым, что он почитал тебя незаконным сыном твоего благодетеля, думал, что благодетель твой оставил тебе большое состояние? Какое сострадательное лицо сделал он, когда ты сказал ему, что ты бедняк, надеющийся только на свои руки, что у тебя ничего нет — ни денег — ни покровительства! С какою утешающею улыбкою говорил он потом: «Но я никогда не разлюблю тебя, мой любезный Аркадий Иванович, будь ты мильонщик, будь ты нищий! Я, брат, сам начинал с копейки!» — Потом он стал мне давать советы, как жить, как надобно думать о будущем — о будущем, не за гробом, а *здесь*! Как надобно беречь копейку на черный день... *Ее*, правда, не было тут... Я не мог же оскорблять отца ее? Но ведь это гадко: думать и даже говорить так, как он думает и говорит? Я не пойду к ним более — но надобно наконец узнать от нее... Где мое прежнее бешенство?

Три дня сижу я, запершись, у себя. Но как мне грустно, как мне скучно!

Сегодня я подходил к воротам дома ее — но не пошел к ней. У меня еще есть сила души...

Я был к нему несправедлив. Он обезоружил меня простодушною добротою. Мог ли я этого ожидать? Он пришел ко мне. Встревоженный принял я его. Старик спрашивал меня, зачем я не приходил к ним три дня и не пришел *вчера*.

«Вчера? Но что было *вчера*?»

«Забыл? Вот как ты любишь нас; а мы простудили свой обед; мы так привыкли видеть тебя при каждом семейном празднике нашем, при каждой радости нашей!»

Но какой праздник вчера был? Чему они там радовались?

«Ты и позабыл, видно? Вот я скажу Вериньке, что ты забыл *17-е сентября!* А она целый день ждала тебя, хотела даже послать нарочного».

Старик сел и начал говорить:

«Прости меня, брат Аркадий: я человек простой, невоспитанный; говорю что думаю. Не осердился ли ты на нас за что-нибудь? Это вчера приходило мне в голову, но я ничего не припоминаю. А что я люблю тебя, как друга, как доброго, славного, горячего немного, но умного малого — право, люблю, как сына... Мой покойный Гаврило был бы в твои годы... Ты на него немного и походишь... Голова только у тебя горяча, проклятая!..»

Итак, он не хотел оскорблять меня? Он не за то любил меня, что я казался ему сыном генерала, человеком с деньгами, *выгодною партиею* его дочери? Он видел во мне что-то похожее на милое, незабвенное дитя его?

Но зачем же он не говорит, что я могу быть его сыном? Неужели, когда дочь его видит в любви моей какую-то игрушку, он вовсе не понимает отношений моих к себе?

Но так выходит. Он говорит столь добродушно, столь откровенно. Что же? Если в его окошко смотреть и не видеть, не знать вовсе горящего солнца любви,— могу ли я тогда быть его сыном и Веринька может ли быть моею? Нет! Но он любит меня, он пришел узнать обо мне, навестить меня... К ней!.. к ней!.. Она решит все!..

«Бессовестный!» Одно слово, которое успела она сказать мне, когда мы на минуту остались одни, когда я взял ее руку и прижал ее к горящим устам своим. И какой взор сопровождал это слово... Только *одно* слово, но тут было все: упрек, прощение, радость свидания, грусть разлуки... Дайте мне сто лет жизни, сто рук — я изъясню вам это слово; но целой жизни мира мало будет вам изучить то, что я напишу вам.

Ни одной еще картиной не был я так доволен, как той, которую сегодня начал.

Если я был когда-нибудь счастлив, так не в детстве ли моем это было? Или не тогда ли это было, когда еще безотчетно увлекался я искусством? Были ли это минуты

душевной пытки, мучительных исследований, неудовлетворяемых идеалов? Нет!

Разве не счастье это, когда вы чувствуете, что сердце ваше бьется тихо, кровь тепла, голова свежа, люди *кажутся* — пусть хоть *кажутся* — добры, земное солнце греет вас, вся природа дышит сном радости?

Завтра решительно сожгу я свой большой картон с рисунками и возьмусь писать портрет этого откупщика.

Почему до сих пор я никогда не воображал себя счастливым семьянином; подле себя Вериньку, как подругу жизни, и мою буйную душу, согреваемую тихим дыханием любви из уст ее, и ангела, с улыбкою спящего на ее коленах? Аркадий! Недостижимо то, чего искал ты доныне. Не гордость ли твоя виною, что ты не сознаешь причины недостижимости в собственной своей слабости? Берегись, Аркадий! Гордость погубила сатану! Если грудь женщины не создана для поприща сумасшедших страстей, а для того только создана, чтобы голова, измученная их безумием, успокоивалась на этой груди? Вспомни, что Наполеон не терпел г-жи Сталь, страстно любившей его! Важная тайна человеческого сердца! Неужели ты влюбился бы в г-жу Сталь, в ее Коринну? Никогда! Поди они в ад! Актриса не женщина — это пасквиль на женщин; певицу надобно слушать, а не любить! Как умен был англичанин, который торговал горло у Каталани — только горло...»

— Читать ли вам еще что-нибудь, мой почтенный друг? — сказал Аркадий, отталкивая рукою свои заметки.— Избавьте меня! Мне тяжко — я задохнусь... Вы понимаете теперь, хоть немного, как эта непостижимая девушка умела пересилить мою бешеную душу, как она умела связать волю мою, как я никогда не смел сказать ей ни одного слова о любви моей — видел, что она любит меня, страстно любит, и не позволял себе даже ни одного взгляда, который вырвал бы у нее признание, после которого я прижал бы ее к груди своей, задушил ее в своих объятиях. Беспечная невинность, детская простота; и среди этого один взгляд, одно слово, которые показывали мне все богатство души ее; и после этого слова, этого взгляда какая-то электрическая, согревающая, детская веселость, от которой радость так сладостно дышала на меня от людей и от природы... Вы застали меня в этом

состоянии — меня, забывшего все свои идеалы, все свои мечты, и — для чего? Для счастья земного? Но я и по-земному не был счастлив: я только уничтожился... прежний Аркадий исчез тогда во мне. Я успел наконец помириться с самим собою, с моим внутренним, вечным врагом, но условия были тяжки: я был уже просто *живописец,* не *художник.* Довольно ли, что меня полюбили даже в Главном училище живописи, что мне хотели даже дать денег и отправить меня в Италию на счет этого училища. Все это перенес я, потому что Веринька сказала мне: «Аркадий! вы это сделаете!» Я подписал бы кабалу на вечное мое рабство, если бы только она сказала: «Аркадий! вы это сделаете!» Проклятые слова! Я успел тихонько расстроить посылку меня в Италию и как ребенок трепетал, чтобы Веринька этого не узнала; я успел сделать, что меня выключили из Главного училища живописи. Ей было все это досадно; я притворялся, что и сам очень жалею. Для чего же сделал я все это? Я не в силах был подумать о разлуке с нею... И что же за все это Веринька?.. Три дня тому — страшный свет осветил мне судьбу мою! Это ужасно...

Аркадий быстро прошел по комнате три или четыре раза. Он сел потом. Ни одно движение наружное не показывало внутренней бури его. Он говорил мне хладнокровно, по-видимому; только лицо его было бледно, глаза мутились, губы посинели...

IV

Ты любишь тяжело и трудно,
А сердце женское — шутя!

А. Пушкин

Не знаю: испытывали ль вы, когда вы любили — «любили ль вы?» — надобно спрашивать прежде всего в наше время,— если вы любили, узнали ль вы то тягостное, терзательное чувство, какое меня мучило и мучит в моей несчастной участи? При совершенном уничтожении каком-то, при каком-то странном состоянии, в котором я существую, живу, дышу, мыслю — только моею любовью,— это чувство лишило меня всякой радости, всяких наслаждений во всем другом. Оно убило у меня все, потому что я отвергаю, отталкиваю от себя все; все, что не *оно,* не это чувство, не любовь моя! О, как

бы все возвысилось, расцвело, ожило передо мною, когда бы любовь моя была счастлива, увлажала глаза мои слезами радости; когда бы она была хоть трескучим, диким, но взаимным пламенем, в котором я сгорал бы *сам-друг*... Нет этого! Я горю, тлею, одинокий, медленно, тяжко; и за всем тем, как святотатство, отвергаю я все, что *не она!* Тяжким преступлением кажется мне самая легкая мысль хоть на минуту, хоть иногда забыть любовь мою! Не думаете ли вы, что в то же время порывы ко всему другому исчезают в душе моей? Бедствие, гибель мою составляет то, что, нет,— они не исчезли! Я, как раб, лишенный воли, не смею только предаться им; и — теперь едва ли уже не отвык от увлечения ими. Но эти порывы: мысль о славе, пытливость ума, мечты художника — все это гнездится в душе моей,— все это превратилось в змей шипучих, которые не дают мне покоя, лишают меня сна, делают мне горькими каждую мысль, каждое дыхание, я душу их — они снова оживают и шипят еще сильнее, делаются еще ядовитее! Я унижен и *понимаю* свое унижение — вот мука моя! Этого мало: *понимаю,* но не хочу, если бы и мог, *не хочу* вырваться из сетей бедственной моей страсти! Испытали ль вы это состояние? Согласитесь ли вы, что сумасшествие лучше, лучше, легче этого состояния? Это ад по доброй воле, из которого страдалец не хочет выйти, потому что в нем оставит он грешника, которому судьба определила век мучиться в этом аду; но с этим грешником он не расстанется за райские наслаждения!

Три дня тому — предчувствовал ли я, что это будет роковой день решения судьбы моей! — три тому я пришел к Вериньке. Ее не было дома. Дня с два я не видел ее. Прощаясь с нею в последнее свидание, я заметил в ней, в первый еще раз, какое-то усиленное ко мне внимание, какое-то необыкновенное волнение души. Она так уныло, внимательно смотрела на меня; рука ее, забытая, оставалась в руке моей; грудь ее трепетала; глаза наполнялись слезами. Казалось, что ее тяготит какая-то тайна; казалось, что она трепещет, как бы тайна эта не открылась. Несколько раз она восстанавливала меня, когда я хотел идти.

«Что с вами, Веринька?» — спрашивал я, изумленный, встревоженный.

«Ничего!» — отвечала она и едва не плакала, и никогда глаза ее не выражали столь много! Все это дало мне запас счастья на два дня, но ужасно беспокоило меня. Теперь меня встретил отец ее. Он был один и задумчив.

Разговор наш вертелся на пустяках и перерывался беспрестанно. Невольный ужас овладел мною.

«Все ли у вас здоровы?» — спросил я.

«Все»,— был холодный ответ его.

«Но где же...» — промолвил я и не мог докончить.

«Не о Вериньке ли ты спрашиваешь?» — спросил старик.

Я мог только наклонить голову в знак подтверждения.

«Ее нет!» — отвечал он.

«Что это значит?» — воскликнул я.

«Она уехала из Петербурга, в деревню к тетке, и, признаюсь тебе, разлучась с нею в первый раз в жизни, я грущу и печалюсь, как будто сердце потерял!»

Он *сердце* потерял! А я что же потерял, я? — Никогда прежде мысль о *разлуке* не представлялась мне. Иногда с ужасом воображал я, что Веринька может принадлежать другому; но — расстаться с нею, и так нежданно, и не слыхав от нее ни одного слова, не слыхав даже милого, унылого: «до свиданья!»... Мне казалось, что кости мои затрещали в суставах... Но это было только начало пытки...

«Видя в тебе доброго друга нашего дома,— продолжал старик очень хладнокровно (он не выдержал более своей тайны),— не стану скрывать от тебя, любезный друг Аркадий, что меня занимает теперь весьма важное семейное дело...»

«Если вонзать нож в сердце, так вонзай его глубже, быстрее и сильно поверни потом,— думал я,— иначе можешь ошибиться в ударе: только измучишь человека, а не зарежешь. За что же мучить? Лучше убей с одного раза».— Я предчувствовал, что́ хочет говорить старик! Откуда было это предчувствие — не понимаю. Боясь, что упаду, крепче сел я на диван и придвинулся к самой спинке его.

«Ты догадываешься, любезный Аркадий, что я хочу говорить тебе о судьбе Вериньки. Ей открывается *прекрасная партия.* Думаю только и не придумаю, как мне быть? Конечно: человек хорош, молод, состояние у него будет отличное; ну и любовишка замешалась тут: Веринька ему очень нравится. Он так и говорит, что любит ее и надеется видеть в ней добрую жену и мать; даже не требует за нею никакого приданого. Я, признаться, ничего и не могу дать за дочерью, кроме этого домишка. Мне бы так хотелось, однако ж, чтобы зять мой поселился со мною. А он говорит, что этот дом для него мал...»

«Вы уже успели с ним переговорить обо всех этих хозяйственных распоряжениях?»

«Как же, братец; надобно делать дело порядком. У меня главное затруднение в том, как мне расстаться с дочерью и как опять бросить этот дом? Конечно, можно отдать внаймы, а самому переселиться к зятю, но жаль постояльцам отдать дом, который готовил я для себя и так хорошо отделал и устроил. Опять и то, что человек-то славный! Ты его знаешь: вы с ним друзья; он мне сам сказывал».

«Кто он такой?»

Старик назвал его: это был дурак, долговязый молодой человек, давно ходивший к отцу Вериньки, и над которым я всегда безжалостно смеялся.

«Он лжет, что мы с ним друзья!» — вскричал я с негодованием.

«Как же так? А он еще хотел заказать тебе портрет Вериньки, если дело у нас сладится!»

О позор! о унижение! Я готов был рвать на себе волосы и чувствовал, что вся кровь моя клокочет и пенится. Но через минуту мысль: долговязый — мой счастливый соперник — показалась мне столь смешною, что я думал, не шутит ли старик...

«Совсем не знал я, что он жених вашей дочери... никогда этого и не думал...» — сказал я, едва не засмеявшись.

«И я не думал,— отвечал с важностью старик.— Он всегда казался мне славным малым, и я замечал, что он ластится к Вериньке. Но только с неделю тому он получил письмо, где уведомляют его, что старик дядя скончался у него: пятьсот душ в Калуге. Состояние, братец, прекрасное! И вообрази ты себе, что уж моя дочь ему бы и не пара, а первое дело его было, что он пришел ко мне и сделал предложение. И только тут-то узнал я, что он давно в Вериньку влюблен!»

«Но мне всегда казалось, что он очень глуп».

«Нет! что ты! Преобразованный ведь он. Застенчив немного, но от этого исправится. Да я и не знал, что ты его не любишь?»

Не постигаю, как я остался жив и как не наговорил чего-нибудь безумного! Видно, что человек может быть живущ и перенослив притом, если захочет!

«Право, брат Аркадий, в большом я затруднении! — продолжал старик, ходя по комнате.— Как ты думаешь?»

Я думал: если это не глупая шутка, то не испытание ли, не желание ли шутливо сказать мне, что он отдает мне

Вериньку... Но к чему же такая нелепая шутка?.. Ах! это была ужасная истина!

«Где теперь ваш будущий зять?» — спросил я, сам не зная для чего.

«Уехал, братец, вчера для устройства дел, принятия наследства и прочего и воротится уже зимою».

«Через полгода?»

«Да».

«И дочь ваша воротится от тетушки через полгода?»

«Да; но что ты вдруг побледнел?»

«Следственно, их останется тогда только обвенчать?»

«Нет! еще дело так далеко не дошло!»

«Как же! Ведь вы согласны?»

«Охотно; но Веринька что-то...»

«Ангел-Веринька! Скажите ради бога: она отказала?»

«Нет, не отказала... Но что ты опять покраснел, брат Аркадий? И к чему приплел ты имя ангела к Вериньке? Э-э! любезный Аркадий, что все это значит? Неужели...»

«Веринька ваша еще свободна?»

«Да, потому что я не добился от нее ответа. Девичий ответ обыкновенно бывает — слезы! Но она не отказала — она просила только меня отсрочить; а потом умоляла отпустить ее к тетке. Так жених — без решения, с одним моим словом, что я согласен, но *принуждать* моей дочери не стану — уехал, и дело отложено».

«Итак, она не согласна? А вы не станете ее принуждать, почтенный, добродетельный человек?» — вскричал я, вскочив с своего места.

«Избави меня бог!»

«Вы отдадите дочь вашу человеку, который ее любит, которого она сама любит, с которым она будет счастлива, блаженна?» — продолжал я, крепко обняв старика.

Едва освободившись от моих объятий, старик принял угрюмый вид.

«Во-первых, так по-чертовски не обнимают добрых людей, а во-вторых, что это такое значит, брат Аркадий? Или и ты в женихи себя ладишь Вериньке?»

Я окаменел и старался разгадать по выражению голоса, что такое хочет сказать старик?

«Любезный! — продолжал он.— Мы люди старые; этой любовной вашей дребедени не знаем. Что ты наговорил мне о счастье, о любви, о чем еще... Аркадий, брат! я этого не замечал прежде — это нехорошо, нехорошо!»

«Итак, всякому позволяется любить Вериньку вашу, только не мне?»

«Любить всякому?.. Она ничего не знает обо всем этом вздоре?»

Я молчал.

«Знает? Это нехорошо! — сердито вскричал старик.— Помнишь ли ты анекдот в «Письмовнике», что один кавалер спрашивал у девушки: «Как, сударыня, пройти к вашей спальне?» — «Через церковь»,— отвечала она».

Негодование овладело мною. Я с жаром начал говорить о несправедливости низкого подозрения, о том, что любовь моя была чистое, святое чувство; но я не мог сказать старику, будто Веринька не знала о моей любви... Ах! она слишком знала о ней!

«И ты ей признался, чай, по-рыцарски, по-картинному, на коленях?»

«Нет! я молчал!»

«Как же она могла знать все эти пустяки, когда ты посылал к ней посла немого с грамотою неписаною? Вот я, например: ты не говорил, и я совсем этого не заметил. Мало ли вас увивалось вокруг Вериньки. Правда, ведь девушки иногда объясняются без слов, как-то глазами... Неужели это было причиною ее слез, ее отказа, ее отъезда? Глупо! Для чего она мне об этом не говорила!»

«Что же вы сделали бы, если б она сказала?»

«Я отвечал бы ей...— Старик сердито ходил по комнате.— Тогда бы я подумал, что говорить; а теперь, как ничего не сказано, так мне и говорить нечего».

«Но я вам говорю теперь это».

«То есть что Веринька тебя любит?»

Боже! мысль, в которой несколько лет не смел я отдать сам себе тайного отчета,— он сжал эту мысль, объемлющую все мое бытие, в один вопрос и сказал ее в виде допросного пункта, тремя холодными словами...

«Да говорите же, Аркадий Иванович! Тут уж молчать не время».

«Не знаю!» — промолвил я, едва не задыхаясь от горести.

«Ну, так дело-то, видно, все пустяки: обыкновенное глазенье молодежи друг на друга. Я так и надеялся на тебя, любезный Аркадий, что ты честный человек, что ты истинный друг мой. Женщины народ слабый; мужчины должны беречь их».

«Я посвящу всю жизнь мою на то, чтобы беречь ее!»

«Да говори же толком, чего ты от меня хочешь?»

«Отдайте мне Вериньку!» — вскричал я, едва держась на ногах.

Старик молча сел на диван и уперся ногтем в зубы.

«Отец мой!»

«Я, сударь, вам, во-первых, не отец, а во-вторых — дайте мне подумать».

«Подумайте!» — сказал я и пошел вон, сам не зная куда. Я не показал признаков сумасшествия перед отцом Вериньки — но видите, каков я теперь! А этому уже прошло три дня! Не спрашивайте у меня ничего: ни о том, что́ было со мною в эти три дня, ни о том, что́ я предпринимаю в будущем!

Аркадий кончил свое повествование. Я ничего не советовал ему, но притворился любопытствующим узнать разные подробности о благодетеле его, об училище живописи, об иконописании, увлек его в посторонний разговор, стал с ним читать. Семен Иваныч поглядывал в дверь с радостною улыбкою, видя, что мы разговариваем спокойно. Я ушел, когда уже было утро. С несчастными надобно обходиться как с больными: а Аркадий был истинно несчастлив.

На другой день, едва проснулся Аркадий, я был уже у него с наемною коляскою и предложил ему ехать верст за тридцать от Петербурга. Это казалось ему неприятно, но он промолчал и согласился. Я не давал ему покоя, ничего не спрашивал у него, видел, о чем хотелось ему говорить, и удалял этот разговор. Мы проездили сутки двои; я уговорил его потом ехать со мною на финляндские каменоломни.

Грустно, больно было мне смотреть на Аркадия во все это время, тем более что я не понимал еще и сам, как пособить ему. Но первый перелом его душевной скорби прошел. Когда мы воротились в Петербург, Аркадий сам предложил мне лекарство для больной души его.

Велик запас жизни, дарованный провидением человеку! На утлой доске выплывает человек с развалившегося, избитого волнами корабля к бесплодному утесу; неделю живет потом на этом утесе, голой скале, которую едва не заливают волны разъяренного моря, едва не сокрушают удары буйных валов, живет под свистом бурь, огнем молний и — уцеливает! Небо проясневается, волны утихают, голод и жажда томят, но не умерщвляют его, и надежда не перестает гнездиться в сердце страдальца! И наконец она спасает его! Так и в нравственном мире.

— Почтенный друг мой! — сказал мне Аркадий, когда мы по приезде нашем отдыхали вечером в его мастерской.— Чем могу изъявить вам благодарность мою? Не-

ужели вы думаете, я не вижу, не понимаю ничего, что́ вы для меня делаете?

Я пожал ему руку.

— Я заплачу вам тем, что к стараниям вашим спасти меня сам приложу все старания. Будь что будет! Назначено ли мне, в са́мом деле, проявить что-нибудь в будущем или ничтожно погибнуть — будь что будет! Всего более страшит меня какое-то мрачное предчувствие — и я верю ему: ничтожество — мой удел на земле! Гордые мечты мои погаснут бесплодно, великие думы мои убьет безжалостная судьба. Она зарежет меня перочинным ножиком, а не убьет громом! Но я погибну тогда только, когда истощу все силы в борьбе с нею. Вот вам моя рука и клятва!

— Принимаю ее, Аркадий, и даю тебе мою клятву: все, что от меня зависит, употребить для твоего спасения! Ты не знаешь себе цены, душа сильная!

— Сильная! Мне кажется, что я точно мог бы что-нибудь сделать... Скорее опыт сил моих, и — почему знать? Может быть, этим опытом я возвращу себе все? Это и была первая мысль моя, когда я узнал решение моей судьбы! Мысль, внушенная моим ангелом-хранителем, подкрепи меня!.. Только бы продышать мне как-нибудь... В будущем году назначена выставка... Мой «Прометей», идея, которую так давно и тяжко носил я в груди моей,— да, эту идею изображу я им! И когда восторг зрителей, голос народный, собственное мое убеждение скажут им, что я *первый* между ними,— не завидно первенство между пигмеями, но где же земля исполинов? — тогда отец ее поверит... хоть тому поверит, что я могу пропитать голову мою и жену мою... А она меня любит, у нее достанет сил сказать: *он или никто*.

На другой день я застал Аркадия за работою. Вдруг ожил он и совершенно изменился! Опять казался он тих, спокоен, весел. Вместо отдыха он ходил в Главное училище живописи. Там не любили, но боялись его и не смели отказать ему в льстивой ласке и притворном расположении. Возвратившись домой, Аркадий рисовал карикатуры на учителей Главного училища. Многие были забавны. Не описываю их. Иного стоило только нарисовать вернее, и выходила карикатура превосходная.

В это время, к большой досаде моей, мне надобно было ехать, для справок по моему делу, в Москву, в Симбирск. Я отправился. Аркадий дал мне слово писать и не написал ни одного письма. Отлучка моя продолжилась. Мысль об участи Аркадия беспрестанно тревожила меня.

Впрочем, один общий наш знакомый уведомлял меня, что видается с Аркадием и что он здоров. Почти первое дело мое было, по приезде в Петербург, послать к Аркадию. Он прибежал опрометью вместе с моим посланным, и, к изумлению моему, веселый, радостный. Извинения в неписаньи писем, расспросы о здоровье были непродолжительны. Какое непостижимое смешение противоположностей может быть в человеке!

— Не буду рассказывать вам, как провел я все это время,— говорил Аркадий.— Я кончил моего «Прометея» и *доволен* им: вот все! Завтра приходите ко мне, почтенный друг мой, в двенадцать часов утра. Знаете ли, кого вы увидите у меня? Вериньку и отца ее!

— Как же это, Аркадий?

— О! не думайте слишком многого!— Аркадий засмеялся.— Я не был у старика более полугода. Он сам не заходил ко мне, и — что за странный человек! — обрадовался, увидев меня. Я ни слова не говорил ему о прошедшем. Казалось, он был рад этому и изъявлял мне большую дружбу. Мы были как будто старые приятели, которые не говорят ничего о временной размолвке. Неделя тому Веринька возвратилась. Она приехала в тот самый день, когда для моего «Прометея» принесли мне золотую раму. Это счастливый знак; притом же это случилось во вторник и четырнадцатого числа — признаки хороши! Я только всего раз и виделся с Веринькою. Она похудела немного, но — чудный, настоящий ангел! Мы говорили мало, но — она меня любит! Видно, что глупое сватовство не состоялось: наш *пятисотный* жених не едет, ха, ха, ха! — Через три дня открывают выставку картин. Я просил старика прийти ко мне, посмотреть, что я приготовил на выставку... Ах! почтенный друг мой!..— Аркадий в восторге обнимал меня.

— Предупреждаю вас, что я переменил квартиру и живу теперь на*** улице.

— Как? На той же самой улице...

— Где живет она. Мог ли бы я пережить столько времени, если б не глядел хоть на тот дом, где некогда видал ее!.. Впрочем, эта квартира гораздо удобнее прежней...

— Чего же теперь хочешь ты, чего ждешь ты, Аркадий?

— *Счастья.* Дайте, я запишу вам новый мой адрес! — Он убежал.

— *Счастья!* — прошептал я; сердце мое стеснилось...

Случалось ли вам видать, как молодого, неженатого, но живущего своим маленьким хозяйством мужчину посещает семейство, где есть *одна,* для которой приглашение его было сделано? Это мило и любопытно видеть! Сколько тут бывает мечтаний, приготовлений, робкого любопытства! Хозяин показывает подробности своего хозяйства; старики думают, что он для них только заботится и делается любезным, услужливым; *она* понимает истинную цель услуг, тихо мечтает о том, как можно б было устроить здесь, поправить там, быть счастливою в этом тихом убежище. А он, неловкий хозяин, попадаясь беспрерывно под дружеский выговор стариков, дает разуметь, что у него *некому* хозяйничать. Наконец уговаривают *ее* приняться разливать чай, управлять, распоряжать. Краснеют, спрашивают, хозяйничают... Это прелесть! И сколько после того бывает воспоминаний! *Здесь* она сидела, *там* глядела, *там* останавливалась, *там* сказала то-то...

Новая квартира Аркадия была в самом деле лучше и обширнее прежней; новая мебель украшала комнаты. Семен Иваныч ходил торжественно, одетый в старый свой праздничный фрак; весело и значительно посмеивался он и кивал мне головою. Едва пришел я, как жданные гости появились на улице. Их, разумеется, ожидали нетерпеливо, побежали к ним навстречу: ведь надобно было показать им дорогу. Шутливые восклицания старика отца слышны были из передней. В первый раз увидел я тогда Вериньку и отца ее.

О нем вам нечего говорить много: одно из тех созданий, которых называют *добродушными весельчаками,*— нечто не злое, не слишком умное, кругловатое по наружности, веселое, от нечего делать душе и сердцу, шутливое без остроумия, смеющееся каждой своей шутке, способное и плакать, когда бывает какое-нибудь горе. Но *она?*

Разрушать ли мне очарование моих читательниц, если они уже создали себе идеал Вериньки? Или взять на совесть грех и уверить их, что в Вериньке были все совершенства, что она была совершенная красавица? Ни то, ни другое. Вы знаете русскую пословицу: «Не по-хорошу мил, а по-милу хорош». Эта пословица — разрешение психологической задачи о том, что нам *нравится* и *не нравится,* что мы *любим* и *ненавидим.* Кронеберг, разрешая странную задачу любви, говорит, что в жизни человеческой бывают мгновения, когда душа вспыхивает молнией прекрасного и проникает сквозь свою темную, вещественную оболочку. В то же самое мгновение, когда

одна душа таким образом является в мир, подглядывает ее другая душа и узнает в ней свое родное, небесное. Раз освещенный этою молниею души, вещественный образ человека, проявившего свою душу, остается навеки в душе другого, и уже ничто не разрушит его — ни время, ни самое безобразие! Там, где люди ничего не видят, мы видим этот светлый образ души, проглянувший для нас сквозь ничтожную оболочку и оставшийся в нашей душе. Для двух душ, свидевшихся таким образом в области земного изгнания,— что такое *время*, что такое *расстояние?* Они знают только одно: *любить друг друга;* когда они вместе — любить и *радоваться;* любить и *грустить* — когда они розно. Впрочем, Веринька для всякого, и не подглядевшего души ее, была милое, прелестное создание, цветущее всем тем, что дает нам молодость, обладающее многим, что остается и после нее. Она не была бы нигде *заметною,* но взор ваш, утомленный блеском красоты и изысканности, всегда мог бы успокоиться на ее милом лице, мог бы полюбоваться ее стройными, изящными формами после многих красавиц, которых не захотите любить и о которых говорите, отворачиваясь: «Как хороша!» Но идеал Аркадия — *эта* девушка, *она* — идеал его, высокого художника, великой души человека, понимающей все ясновидящими очами своими! Я смотрел на Вериньку, понимал возможность того, что она нравится, но не постигал безумия, околдования моего друга.

Аркадий усадил своих гостей и отрекомендовал им меня. Отец крепко пожал мне руку. Веринька взглянула на меня и тихонько, с улыбкою, сказала:

— Он много говаривал мне о вас!

Голос и улыбка были увлекательны; но — увлекательны — не более! Между тем старик отец ее повел шумный разговор. Надобно сказать, что с ним пришел еще какой-то *аматёр,* старый гравировальный мастер. Тот и другой занялись прежде всего водкой и закускою, поставленными на столе. Аркадий был как будто на иголках, метался робел, хотел скорее начать свое торжество.

— Пойдемте смотреть поскорее мои картины! — сказал он наконец Вериньке тихо.

— Я сама нетерпеливо хотела бы видеть их,— отвечала она, взглянув на меня и как будто говоря: «Если, хоть для приличий, вы пойдете с нами».

Я встал с своего места. Аркадий схватил руку Вериньки.

— Вы уж и спешите, господа? — сказал отец Верринь-

ки.— Да нет, брат Аркадий: я не расстанусь с селедкою! Чудо, чудо! Где ты брал? Скажи, сделай милость! Вот, сударь, объясню я вам о селедках...— продолжал он, обратясь к своему товарищу. Я не дослушал слов его, ибо спешил за нетерпеливым Аркадием. Он увлек уже Вериньку — он был так счастлив, так доволен; он с жаром прижал руку ее к губам своим. Легкий румянец пробежал по ее щекам; она украдкой взглянула на меня, потом на него; нежный укор изобразился в ее взорах, как будто она хотела сказать: «Что ты делаешь, безрассудный!»

— Милый друг! дай мне забыться хоть на минуту. Кто ручается даже за будущий час? — говорил Аркадий, не отпуская руки ее. Веринька еще раз взглянула на меня выразительно. «Что мне делать с ним, с этим прихотливым ребенком,— решите сами!» — вот что выразил взор ее.

— Он хорошо знает меня; он мне истинный друг,— говорил ей Аркадий.

Мы вошли между тем в мастерскую Аркадия, отлично прибранную, искусно отененную занавесами. Тут стояло полукругом несколько картин его и портретов. Аркадий оставил руку Вериньки и, горделиво сложив руки на груди, хотел насладиться ее восхищением.

Тут была картина Аркадия «Иисус в пустыне» — желание изобразить то, что так сильно поражало его в детстве. Но этой картиной Аркадий был недоволен. И не диво: он измерял ее достоинство по безотчетному идеалу своих младенческих лет. Вторая — «Чтение в семействе», о которой я уже говорил, еще несколько других и между прочим «Прощанье рыцаря». Закованный в железную броню, нежно, с горестью смотрит паладин на милую девушку; печально лежит голова ее на груди рыцаря; рука его обхватила стан ее. Знаток увидел бы в этой картине глубокое изучение германской живописи, тщательность в костюмах. Но душа художника не выражалась в ней вполне: он изображал чуждое ему — горесть *счастливой* любви; лучше мог бы он изобразить чувство более странное: наслаждение любви *несчастной.*

Независимое вдохновение можно было заметить в «Клятве швейцарских вождей» — предмете, взятом Аркадием из Шиллерова «Вильгельма Телля». Простота, с какою изображены были тут Штауффахер, Фурст, Мельхталь, толпа разнообразных лиц, поднятые к небу руки пастухов, смесь странного оружия их, швейцарская природа окрест их — все это было истинно и прекрасно.

Художник понял поэта. Но весь Аркадий, вся жизнь его выразилась в его «Прометее». Идея, которую великий Эсхил заключил в своей чудной трагедии, которую потом так хорошо выразил Байрон,— горделивое презрение воли тирана Зевеса, величие духа, превышающее самую судьбу, и страшное терзание вещественное, соединенное с скорбью об участи человека, с пророческим видением, заставлявшим Прометея среди мучений прорицать гибель Зевеса,— все это выражала картина Аркадия. Огромный кровожадный орел, подъемлющийся к небесам; седой Океан, угрюмо погружающийся в бездны моря; дикообразный Эфест, держащий в руках орудие казни, страшный молот свой, и бесчувственно смотрящий на оживотворителя людей; природа, содрогающаяся от бедствий Прометея и гремящей грозы небесной! Это был Эсхил, переведенный рукою Гете; миф первобытной Эллады, проникнутый огнем всеобъемлющего романтизма; событие Древней истории, описанное в трагедии Шекспира... И Аркадий хотел, чтобы это произведение поняли его судьи, его зрители — чтобы это произведение поняла Веринька!.. Бедный Аркадий! вечно несогласный с собою, когда люди его понимали, и вечно непонимаемый ими, если был согласен с собою!..

С детским любопытством Веринька пробежала взором своим по всему ряду картин; обратила лорнет свой на «Прометея» и — содрогнулась. Только. Чего же вы хотите? Она была женщина: ее ли женской душе, жадной наслаждений счастием и радостью, можно было оценить этот миф глубокий, этот мир страстей, кипящий огненною лавою, сражающийся с волнами моря, которые влились в расселины горящего волкана. Взор Вериньки еще раз пробежал по всем картинам, и она сказала радостно и весело:

— Бесподобно! Прелестно, Аркадий! — Этим словом она заплатила дань своему роду, тому, что она была *женщина!* У них есть слова, которыми выражают они свои безотчетные чувства, свое ребяческое удивление. Таковы были разборы Гетевых и Вернеровых созданий, писанные г-жою Сталь,— это женское «бесподобно, прекрасно!», растянутое на множество страниц.

Взор Аркадия потемнел и помрачнел; руки его крепче сжались на груди. Веринька взглянула на него и оробела, подошла к нему, хотела взять его руку; он не давал ей своей руки. В смущении она отошла к картинам и наклонялась к ним, как будто рассматривая их, но я видел, что она хотела скрыть свои слезы. Аркадий подошел к

«Прометею» своему и горящим взором, с каким-то яростным негодованием, смотрел на него — он готов был уничтожить свое создание. И какой поэт не изорвет своей поэмы, вдруг услышав простое, детское «прелестно!», когда он с восторгом читает ее своей подруге! Это вода, влитая в зажженное масло! Он в облаках и думает, что он орел, а его тянут к земле ниткою: он бумажный змей, пущенный с земли прихотью ребенка. Я не хотел скрывать своих чувств от Аркадия.

— Аркадий! — сказал я,— поди, обними меня: ты великий, истинный художник! — Эти слова были сказаны мною от искреннего восхищения; они были животворною росою на страждущую душу художника.

— Почтенный друг мой! — воскликнул Аркадий и бросился ко мне.— Она не понимает! — шептал он мне. Тут, с детскою невинностью дитяти, с жаром любящей души, Веринька подошла к нему. Слезы капали из глаз ее, и она не скрывала их. Мгновенно опомнился Аркадий. Он схватил ее руки и целовал их.

— Аркадий, mon bon ami! — говорила Веринька.— Зачем вы требуете от меня невозможного? Могу ли я судить и понимать ваши прекрасные произведения? Одно, что их *создал Аркадий*, вот одно, что составляет для меня главную — всю их прелесть...

— Что их создал ты, скажи мне, Веринька! — воскликнул Аркадий,— и ты осчастливишь меня...

— Что их создал *ты*,— сказала она, нежно улыбаясь сквозь слезы.

О женщины! кто дал вам эту волшебную силу над сердцем мужчины, эту силу слабости? — и как умеете вы пользоваться ею! Аркадий готов был прижать теперь Вериньку, не умеющую оценять его произведений, к груди своей и забыть своего Прометея, свое искусство, всю вселенную у ног ее...

Разговор отца Вериньки и товарища его послышался в ближней комнате. Аркадий и Веринька опомнились. Он пошел навстречу гостей; она отошла к картинам и внимательно смотрела на них, хотя я видел, что она ничего не могла в них разглядеть. Ее щеки пылали, грудь волновалась, глаза перебегали с одной картины на другую в беспорядке чувств и мыслей.

— Ну! управились мы, брат, с селедкою, выпили, закусили; давай теперь смотреть картины! — говорил отец Вериньки.— Да ведь мы по-художнически, по-ученому смотреть будем! Ставь сюда кресла — так! Надобно вы-

брать настоящий point de vue![1] Хорошо! Эта картина невыгодно поставлена — а еще сам художник ставил! Ближе ее к окошку, чтобы лучше был свет. Отойди, Веринька! что ты знаешь!

— Отойдемте, сударыня,— сказал, смеясь, Аркадий.— Вас исключают из числа знатоков, а я теперь не имею права судить.— Он стал с Веринькою в стороне и тихо пожимал ее руку.

— Начнем с начала: с рам. Что это у вас нынче пошли в моду эти готические рамы, плоские, пестрые? То ли дело прежние, с бусами и сухариками, имевшие более *эффекта!* Хорошо, хорошо! Только терпеть я не могу этой темной немецкой живописи! Тут облака надобно было мягче сделать! Что это за костюмы ты написал, вот в этой картине?

— Это древние, германские.

— Все немцы да немцы! Почему не национальные наши? Пора нам думать о своей родной живописи, пора, братец, думать о русском! Тут clair-obscur[2] не точно смешан. Ошибка, братец! Рыцарь не мог прижать девушки так крепко к груди: ведь он был в железной броне! Зачем такие страшные носки у его сапогов?

— Так носили тогда.

— Так носили! Да ведь ты подражаешь природе не грубой и должен украшать ее! За что же ты и художник? Ты должен был украсить, сгладить костюм. А! Прометей! То-то художником-то быть: тотчас угадаешь! Хорошо! Ну, ведь не посоветуется, злодей, с опытными людьми! Во-первых, как он неловко положен...

— Да, ему, думаю, и в самом деле было не очень ловко лежать на Кавказе,— отвечал Аркадий.

Бедный Аркадий! Он думал торжествовать, думал, что Веринька поймет его «Прометея», что сила его дарования ослепит старого *художника,* отца ее, думал, что она в восторге устремит на него безбоязненный взор любви, а отец ее воскликнет: «Аркадий! ты великий художник», что в эту минуту будут забыты глупые приличия — он может упасть к ногам старика, сказать: «Отдайте же Вериньку этому великому художнику!» Веринька упадет в его объятия с словами «я твоя!». Что же теперь? Бездушный мазилка после рюмки водки закусывал его картинами... А Веринька? Она как будто стыдилась мгновенной милой

[1] точка зрения! *(фр.).*
[2] распределение света и теней *(фр.).*

откровенности своего сердца; она спрятала свою душу; она огородила себя холодностью, как будто нарочно заковала себя в самые тяжкие приличия светской девушки и отошла от Аркадия, пока отец ее начал со мною спор об изящном: я не вытерпел и горячо стал защищать Аркадия. Спор продолжился; мы перешли вообще к искусствам. Аркадий был забыт. Веринька спокойно глядела в окно, и — женщина! — ничего, ничего нельзя уже было прочитать на ее лице! Наконец старик вынул часы, посмотрел на них и сказал:

— Как приятно пролетело время — три часа! Пора домой! Сбирайся, Веринька! Хотя я уверен, что споры ничего не решают и что каждый всегда остается при своем мнении,— продолжал он, обращаясь ко мне,— но тем не менее всегда приятно поспорить с умным человеком!

Он ласково отрекомендовался мне, просил жаловать к нему, благодарил Аркадия, и гости пошли. Проводив их, Аркадий бросился к окошку. С каким восторгом, с каким унынием смотрел он на Вериньку, идущую с отцом. Еще раз она сжалилась над ним — оглянулась на него раза два, улыбнулась... И тогда только, когда отец и она ушли из виду и Семен Иваныч начал прибирать остатки закуски, Аркадий полупечально, полунасмешливо обратился ко мне, прошедши несколько раз по комнате.

— «Вот наши строгие ценители и судьи!» Неужели *так* будут судить все? — сказал он.

— Нет! — отвечал я, скрепив сердце, хотя мне хотелось броситься к Аркадию, обнять его и сказать ему: «*Да*, бедный Аркадий, *да*!»

В тот же день Аркадий отвез свои картины на выставку. «Швейцарских вождей» его не приняли, говоря, что на выставке нет места. Одно крыло было таким образом отбито у Аркадия... Но еще надежда не покидала его. Он сносил все с терпением изумительным.

Дело Аркадия перенесено было теперь на решение толпы, публики, знатоков... Что же она сказала? Чем они решили?

Смешон, участия кто требует у света!
Холодная толпа взирает на поэта,
Как на заезжего фигляра: если он
Глубоко выразит сердечный, тяжкий стон,
И выстраданный стих, пронзительно-унылый,
Ударит по сердцам с неведомою силой,—
Она в ладони бьет и хвалит, иль порой
Неблагосклонною кивает головой.
Постигнет ли певца внезапное волненье,

Утрата скорбная, изгнанье, заточенье —
«Тем лучше,— говорят любители искусств,—
Тем лучше! Наберет он новых дум и чувств
И нам их передаст». Но счастие поэта
Меж ними не найдет сердечного привета,
Когда боязненно безмолвствует оно...

Такая толпа должна была решить дело Аркадия.

Но каково было Аркадию, гордому, несчастливому Аркадию, когда с решением этой толпы соединялось все его будущее!

Мы пришли с ним на третий день после открытия выставки, когда избранные посетители впускались *по билетам.*

Прошедши по всем залам, посмеявшись над классическими уродами, которым придавали имена Геркулесов, Марсов, полюбовавшись на плохие копии с превосходных эрмитажных картин, пожалевши о бедных учениках, которые принуждены были писать по определенной мерке, на жалкие задачи, мы остановились у «Прометея». В этой комнате было поставлено еще несколько огромных картин, на которые художники не пожалели ярких красок и в которых *подражали они самым лучшим живописцам.* Тут толпилось множество народа; блистали звезды, стучали шпоры, гремели сабли, веялись перья дам. Мы стали в стороне.

Генерал. Прелесть, сударь, прелесть! Как быстро идут у нас художества. C'est charmant![1]

Щеголь. Mais, mon général!..[2]

Генерал. Без «mais», mon cher! Посмотри: что за прелесть!

Щеголь. Но видели ль вы Луврскую галерею?

Генерал. Видел, mon cher, и в полном блеске, в 1814 году. Прелесть! — Как хорош этот старик! А эта живая головка. *(Тихо.)* Кто эта дама? А! да! Прелесть.

Меценат *(идет мимо).* Bon jour![3]

Генерал. Вы не любуетесь?

Меценат. Эти две я уж купил. У меня не было *пандана* для большой залы. *(Художнику.)* Только смотрите, чтобы вышли в меру!

Художник. А «Прометея» не прикажете?

Мец. «Прометея»? *(Прищуривает глаза.)* Предмет не хорош.

[1] Это прелестно! *(фр.)*
[2] Но, генерал!.. *(фр.)*
[3] Добрый день! *(фр.)*

Барин *(соседу своему)*. Слышите! Вот и его сиятельство то же говорит!

Femme savante. Fi! quelle horreur![1] Что это такое? Не пытают ли это кого? Какая гадость! Что это!

Щеголь *(улыбаясь)*. Это Прометей.

F. s. Prométhée. А! из мифологии. Давид ввел было в моду изображения мифологические: но теперь мода эта давно забыта. Bon jour, ma cousine!

Толпа дам и девушек. *(Слышны восклицания французские и русские.)* Charmant — horreur — très bien[2] — мило — были ли вы у N. N.— что ваша тетушка — были — будем — танцовали — quel beau temps![3] — C'est lui...[4]

(«Прометей» шатается от их толчков.)

Надзиратель. Осторожнее, ваше превосходительство,— вы изволите уронить «Прометея».

Старик с звездою. Он и без того лежит. *(Хохочут.)*

Щеголь. Какая теснота! Позвольте пройти! Bon jour!

Сухощавый знаток. В этой картине вовсе не понята цель. Что хотели изобразить? Мифологический сюжет? Надобно было отделать его барельефным образом, *алянтик*.

Другой знаток. Что это за фигуры подле главного лица? Они развлекают внимание — это ошибка художника.

Первый. Тело слишком темно.

Другой. Небо слишком мрачно.

Старый художник. Это, сударь, новая школа, дюреровская. Мы, классики, ее не понимаем.

Молодой человек *(тихо товарищу)*. Здесь вся душа художника! *(Слова их заглушаются громкими суждениями.)*

Старик. Нога крива.

1-й знаток. Отдадим сами себе отчет: какое чувство должно было одушевлять Прометея? Конечно: раскаяние, благоговение к наказующей судьбе. К чему же это презрение на лице его?

Надзиратель. Позвольте, милостивые государи,— дорогу его сиятельству *(его сиятельство лорнетирует картины. Все отстраниваются)*.

---

[1] Ученая женщина. Фи! какая гнусность! *(фр.)*

[2] Очаровательно — ужас — очень хорошо *(фр.)*.

[3] какое прекрасное время! *(фр.)*

[4] Это он... *(фр.)*

1-й знаток *(тихо)*. Какой это у него орден?

2-й знаток. Кажется, Золотого Руна.

N. N. *(тихо и униженно его сиятельству)*. Как вы находите?

Его сиятельство *(с гримасою презрения)*. Могло б быть лучше.

Так судили о «Прометее». Вдруг Аркадий, дотоле равнодушный, усмехавшийся, побледнел, схватил меня за руку и указывал прямо на своего «Прометея». Перед этою картиною стоял высокий молодой человек и, разинув рот, равнодушно глядел в потолок, на картины, на зрителей.

— Это *он!* — шептал мне Аркадий.

— Кто *он?*

— Долговязый! Он воротился! Боже мой! у него золотое колечко на правой руке!

Аркадию сделалось дурно. Я поспешил вывести его на свежий воздух. Мы пошли на его квартиру. Аркадий молчал дорогою. Едва мы пришли, Семен Иваныч известил Аркадия, что Парфен Игнатьевич, отец Вериньки, заходил к нему, спрашивал его, отдохнул немного и ушел.

— Не заказывал ли он чего-нибудь? — спросил Аркадий задумчиво.

— Ничего-с. Но он заботливо разбирал тут какие-то бумаги и, видно, второпях забыл их. Вот они на столе. Он говорил, что у него теперь тьма хлопот.

— Бумаги! — К изумлению моему, Аркадий схватил бумаги, оставленные стариком, и поспешно стал перебирать их. Это были какие-то счета, записки. Одну из них вдруг развернул Аркадий, руки его задрожали — записка вывалилась у него из рук,— он упал в кресла.

Испуганный Семен Иваныч бросился помогать Аркадию. Я поднял записку с полу: это был образчик билета, вероятно, писанный для отдачи в типографию и начинавшийся сими словами: «Парфентий Игнатьевич N. N. сим честь имеет известить о помолвке дочери своей Веры Парфентьевны...»

— Не бойся, любезный Семен Иваныч,— сказал Аркадий, бодро вставая и усмехаясь,— не беспокойся! За бумагами верно пришлет Парфентий Игнатьевич. Ты отдашь их присланному.— Он тщательно сложил бумаги и передал их старику. Сомнительно посмотрев на обоих нас, взглянув потом на меня, будто умоляя меня быть хранителем Аркадия, Семен Иваныч вышел. Да, в эту

минуту я обещал сам себе употребить все, что будет в моих силах, для спасения бедного моего друга!

Аркадий ходил несколько минут по комнате молча, спокойно по наружности; только беспрестанно отирал он лицо свое платком. Потом, не говоря ни слова, взялся за шляпу.

— Аркадий! куда ты? — спросил я.

— К Вериньке,— отвечал он каким-то могильным голосом, отирая щеткою шляпу свою и поправляя перед зеркалом беспорядок своей одежды.— Разве вы не видите, что ее губят? Я должен спасти ее!

— Аркадий! позволь мне идти с тобою!

— Пойдемте. Мне все равно. Мне хочется только сказать ей или им два-три слова. Как я желт и бледен! — Он поправил свои волосы.

Аркадий шел поспешно, почти бежал. Едва успевал я за ним. Расстояние было невелико. Нам никто не встретился в передней комнате. Мы вошли прямо в гостиную. Веринька сидела тут на диване, наклонясь головою на стол и закрыв лицо платком. Услышав шум, она вскочила, увидела Аркадия, ахнула и принуждена была удержаться рукою за стол. Глаза ее были красны; другую руку прижала она к груди своей.

— Веринька! милый друг! — сказал Аркадий трепещущим голосом.

— Аркадий! зачем вы пришли! — отвечала она и в бессилии опять села на диван, боясь совершенно лишиться чувств.

— Судьба твоя решена?

— Оставьте меня, Аркадий, ради бога, оставьте. Будьте счастливы! Вы достойны счастия!

— Хоть не смейся надо мной, бесчеловечная! Веринька, милый друг! я пришел спасти тебя!

— Поздно, Аркадий! Оставьте меня; я уже принадлежу другому. Мое слово дано!

— *Другому!* — Аркадий отскочил от нее, как будто наступил на ядовитую змею.— Он прежде повергнет меня мертвого к ногам твоим и тогда возьмет тебя!

— Аркадий! ради бога...

Аркадий в отчаянии ничего не слыхал.

Вдруг лицо Вериньки изменилось. Она отерла слезы свои, встала и твердым голосом сказала ему:

— Я добровольно отдаю ему свою руку. Вы не имеете права располагать моею волею!

Я ждал грома, но его не было: душа Аркадия уже

потухла. Колена его смиренно подогнулись. Он сложил свои руки и с умоляющим видом поднял их к Вериньке.

— Ты решаешь смерть мою, Веринька! Если ты добровольно отдаешь ему свою руку, сердце твое принадлежит мне — я знаю!

— Нет!

— Бесчеловечная! так ли мы должны хоть расстаться с тобою! Еще есть время, Веринька: скажи одно слово — убежим, милый друг, если тебя принуждают! Ты ошибаешься, Веринька: ты *моя, моя!..* О чем ты плачешь?

— Кто велел вам подсматривать за моими слезами? Я не хочу вас видеть!

Веринька закрыла глаза платком. Аркадий не говорил более ни слова; он встал, сложил руки; жадным, горестным взором, взором, в котором жизнь и смерть, казалось, спорили о своей добыче, он посмотрел на Вериньку и потом бросился из комнаты. Веринька опомнилась, как будто вышла из какого-то состояния бесчувствия; она не замечала меня и кинулась к дверям.

— Аркадий! — вскричала она.

Аркадий бежал уже по улице.

— Аркадий! — громко произнесла она и с выражением нестерпимой горести протянула руки вслед за ним, к окошку.— Аркадий!

Голос ее выражал отчаяние. Тогда только заметила она меня, покраснела, слезы ее вдруг исчезли. Это была обыкновенная, благоразумная Веринька.

— Сударыня,— сказал я, приближаясь к ней,— вы знаете меня: я люблю Аркадия, как брата; я пришел с ним, боясь, чтобы отчаяние не довело его до какой-нибудь безрассудности. Сядьте и выслушайте меня.

Веринька машинально села на диван и закрыла глаза платком, взмокнувшим от слез ее.

— Сударыня,— сказал я,— не скрывайтесь от меня; говорите со мною, как с отцом своим. Мои лета дают мне на это право. Вы любите Аркадия? Будьте откровенны.

— Более жизни моей люблю его! — сказала Веринька, рыдая и прижимая руки к груди своей.

— Что же разлучает вас? Если согласие вашего папеньки должно купить улучшением состояния Аркадия, я готов поделиться с ним. У меня большое имение, я одинок. Скажите одно слово, и вы будете счастливы!

— Счастлива! Никогда, никогда! Я давно уже отрек-

лась от счастья! Одно осталось мне: жертвовать собою для спокойствия моего отца...

— И выйти за человека, не любимого вами?

— Папеньке он нравится — я его не ненавижу — он меня любит.

— А Аркадий только вами и живет!

— И только терзает меня и все, что его окружает!

— Неужели вы не верите любви его? Неужели вы не захотите даже пожертвовать ему собою, если и знаете его пылкий, неукротимый характер!

Веринька перестала плакать, потупила глаза и щипала кончик платка своего.

— Буду с вами откровенна, человек добродетельный! — сказала она.— У вас нет детей, но вы можете судить: не первая ли обязанность моя успокоить, утешить отца, у которого я одна, единственное его утешение, единственная его отрада? Этим ли пожертвую я безрассудной страсти моей — безрассудной! Чувствую, как дорог мне Аркадий, но ужасаюсь любви его, трепещу ее! Мы не понимаем друг друга; и не знаю — может ли даже кто-нибудь понять это сумасшествие, это безумие, с каким любит Аркадий! Я не в состоянии осчастливить его. Он видит теперь во мне что-то неземное. Изменения его характера ужасны. Уверена, что он так же потом легко возненавидит меня, как теперь безумно обожает! Не говорю о счастьи: такое неукротимое бешенство чуждо его! Но Аркадий будет со мною несчастлив, и я должна отдать руку свою другому, чтобы спасти от горести моего доброго отца... чтобы спасти его самого — ах! нет! спасти самое себя... Его любовь могла бы, наконец, и меня довести до безумия... И без того, сколько раз я была от нее на краю бездны...

Веринька опять начала плакать.

— Подумали ль вы о том, какую участь приготовляете себе?..

— *Смерть,* может быть... Что же тут ужасного? Не я буду виновата, если не переживу.

— Нет! не смерть, но жизнь в объятиях человека вами нелюбимого, в ужасающей стуже приличий и обязанностей, нарушение коих будет для вас преступлением. И как же? С любовью, с пламенем, который будет сожигать вашу грудь.

— Пощадите меня!

— Будет ли счастлив этим ваш отец? Вы молчите?

А если Аркадий не перенесет своего бедствия? Если могила его будет укорять вас, что вы погубили в нем человека великого, надежду отечества, сердце, каких немного на земле, душу высокую, пламенную, которая любила вас — как не любят уже в наше время...

Веринька плакала и не отвечала ничего.

— Говорите, сударыня! — повторял я.

Она молчала; глаза ее были неподвижно устремлены на золотое колечко, бывшее у нее на правой руке.

— Зачем еще не вчера пришли вы...— прошептала она.

— Неужели вы боитесь разорвать ваше обязательство? Неужели приличия страшат вас?

— Это невозможно! — сказала она.

Душа моя отворотилась от нее. «Так-то всегда любите вы, женщины!» — думал я. И сердце мое облилось кровью. Я вспомнил свои страдания. Так-то некогда растерзали меня... Мне показалось, что я вижу в Вериньке оживленный эгоизм женщин нашего времени.

Теперь, когда после этого прошло много времени, размышляя обо всем, я уже не обвиняю ее. Кто не содрогнулся бы, в самом деле, души и любви Аркадия, кто из вас, женщины? Может быть, в минуту забывчивости некоторые из вас предались бы такой любви, но — только *забывшись*! Вы все Вериньки! Должно ли обвинять вас? Сохрани бог! Вы правы. Говорят, что девушек должно приучать к хозяйству. Жаль, что, приучаясь к нему, они нередко видят хозяйственные распоряжения в самых высоких вдохновениях души...

Я застал Аркадия на его квартире. Он был мрачен, но спокоен и встретил меня следующими словами:

— Почтенный друг мой! можете ли вы оказать мне последнюю услугу!

— Последнюю, Аркадий?

— Решено: я немедленно еду за границу! Вот, посмотрите: я рассматривал сейчас карту Европы. Завтра же оставлю я Петербург, и, пока получу паспорт, пока соберется мой Семен Иваныч, я буду жить в Ревеле. Туда приедет он ко мне, и тотчас отправимся мы в Дрезден, оттуда в Швейцарию, оттуда в Италию... Прости, отечество, прости все — я никогда уже не возвращусь сюда, никогда! Не возражайте, почтенный друг! Не ручаюсь ни за жизнь, ни за что, если останусь еще одни сутки в Петербурге... Ни за что не ручаюсь...— повторил Аркадий. Он страшно сжал кулаки и заскрежетал зубами.—

И презирать ее не могу, и возненавидеть ее не умею! — воскликнул он.

— Аркадий,— сказал я, стараясь перебить его мысли,— это прекрасно вздумано. Что же тебе надобно?

— Гадости, без которой ничего нельзя сделать на свете,— *денег*! У меня есть тысячи с полторы. Примите на себя труд, почтенный друг мой, продать мои картины. Может быть, кто-нибудь купит их, хоть для *пандана.* Семен Иванович продаст мебели и прочую дрянь. Ссудите меня деньгами, с тем, чтобы получить уплату из продажи моих картин и вещей, и — простите, простите, друг незабвенный!

Мы обнялись. Надобно ли сказывать ответ мой на требование Аркадия? Почти всю ночь просидели мы вместе и проговорили. О Вериньке не было ни слова. Иногда Аркадий вдруг останавливался, думал, с трудом соображая, о чем мы говорим... На другой день я проводил Аркадия по Нарвской дороге. Разумеется, что картины его оставил я у себя и что цена их далеко превосходила небольшую сумму, которою я ссудил его. Остальную сумму, по его желанию, переслал я к его отцу. Через две недели и Семен Иваныч простился со мною. Он знал, что уже ему не воротиться в Россию, но не хотел оставить Аркадия. Долго, со слезами, молился старик в Казанском соборе и говорил:

— Матушка казанская богородица! благослови только и утешь моего барина. Ничего более не молю!

Увы! молитва доброго старика не была услышана!

Вы хотите знать окончание моей повести об Аркадии? Память незабвенного друга мне так драгоценна, что я доскажу вам о нем.

Я сам думал, что время, путешествие, страсть к искусству, слава, может быть, рассеют горесть и отчаяние Аркадия. Но время ничто, если прошедшее убито у человека навсегда, а настоящее погубило всю его будущность. Путешествие хорошо для души, жадной впечатлений, юной, свежей или уже отстрадавшей, утомленной, требующей просто отдыха. Ни то, ни другое не было уделом Аркадия. Горячая кровь текла у него из сердца, разорванного бешеною страстью. Ужасная одинокость в настоящем, пустыня жизни впереди — и что́ тогда значит страсть к искусству? А слава? И в наше время! Этот

мячик, перебрасываемый от одного к другому бестолковою толпою... Кто может жить *только с нею!* И что такое вообще слава? Определили ль вы ее?

Расставшись с Аркадием, я вскоре уехал в свой город и жил там по-прежнему, как теперь живу. Но речь не обо мне. С Аркадием вели мы постоянную переписку. Часто получал я письма Аркадия. Он описывал мне свои впечатления, свои занятия. Так прошло три года. Письма его стали приходить реже, хотя так же были дружественны, так же обширны. Наконец прошел целый год, и я вовсе не получал от него писем. Я знал, что Аркадий, объехав большую часть Италии и Сицилию, наконец поселился в Риме, что он посвятил себя совершенно живописи. Имя его скоро стало известно между тамошними художниками. Желал бы я сообщить читателям некоторые из писем Аркадия. Как созревал его ум в страданиях! Как светлела более и более душа его! Но никогда, ни слова не писал он ни о любви своей, ни о прошедшем — ничего не упоминал и о состоянии своего здоровья. «Что сказать вам, добрый друг, на вопрос ваш о моем здоровье? — писал однажды Аркадий. — Тот здоров, кто счастлив. Больной душе не навеют здоровья лимонные рощи Италии, не согреет ее итальянское солнце...» Письма к отцу Аркадия шли через меня. Аркадий был в них нежным, почтительным сыном и радовал старика от времени до времени надеждою возврата в отчизну. Я пересказывал старику о славе, какую приобретал сын его. Старик не понимал этого, но радовался, как ребенок. Часто приходил он ко мне — *поглядеть на картинки своего Аркадия:* так он называл картины, доставшиеся мне в Петербурге. Часто изъявлял он желание иметь себе особенную *картинку* его и писал об этом к Аркадию. Аркадий обещал прислать.

Когда я начинал уже сильно беспокоиться о том, почему так долго не получаю известий о моем друге, писал уже к нему неоднократно и не получал ответа, мне сказали в одно утро, что меня спрашивает какой-то иностранец. Это был итальянский живописец, странствующий торгаш картинами.

Полуфранцузским языком он изъяснил мне, что едет из Одессы в Москву и Петербург и везет на продажу множество египетских древностей, этрусских ваз, разных картин и статуй. Потом он вручил мне письмо Аркадия.

— Вы его знали в Италии? — спросил я нетерпеливо.

— Знал ли я его, синьор? Он спас мне жизнь в Террачинских горах, и я не имел бы чести говорить с вами теперь, если бы не *синьор Аркадио* защитил меня.

— Здоров ли он? Где он?

— Как, синьор? Неужели вы не знаете!

— Что такое?

— Он умер, синьор, умер этот необыкновенный молодой человек, di molto ingegno, di grandissimo ingegno![1]

— Но как же у вас письмо его? — спросил я, будто громом пораженный.

— Ах, синьор! Я оставил его совсем больного. Надеялись, однако ж, что он еще проживет лето; но в Триесте я получил известие о смерти Аркадия. Впрочем, нельзя было без слез смотреть на него, когда он прощался со мною. Он был так худ, так бледен; и при всем этом он соблюдал удивительное присутствие духа и смеялся, прощаясь со мной до свидания за гробом! Он всегда был печален, мрачен; ничто не могло развеселить его, хотя никто не знал, что такое его сокрушало. Vi sono certi punti che non sembrano mai abbastanza sviluppati e schiariti[2].

Я развернул письмо Аркадия. Оно состояло из немногих строк, писанных уже слабою рукою. Аркадий просил простить его, что он скрывал от меня бедственное состояние своего здоровья. «Не жалейте обо мне,— писал он,— вспомните обо мне иногда, но не жалейте — жизнь моя давно не принадлежала уже здешнему миру. Никакого друга не встретил бы я так весело, как эту костлявую гостью, которая сильно стучится ко мне в двери». Он рекомендовал мне итальянского живописца, своего приятеля, как доброго, честного человека, и писал, что с ним посылает свою *последнюю* картину. «Рассчитываю по времени, что он приедет к вам около именин моего отца. Если будет так, то передайте моему старику эту картину в самый день его именин. Он давно просил меня прислать ему картину. Он порадуется и благословит меня заочно. Не говорите ему, однако ж, ничего о моей болезни и о смерти моей, если до того времени о ней узнаете. Зачем отравлять немногие дни, оставшиеся моему доброму отцу! Он любил меня.— Я перевел двадцать тысяч

---

[1] большого дарования, величайшего дарования! *(ит.)*

[2] Бывают некие обстоятельства, которые никогда не кажутся до конца выясненными или проявившимися *(ит.)*.

франков на дом Б** и компании в Санкт-Петербурге. Это осталось у меня от издержек. Здесь осыпали бы меня деньгами, если бы я хотел. На что их мне? Отец стар; братья проживут без меня. Себе оставил я сколько надобно на простые похороны. Получите упомянутую сумму и вручите ее отцу моему. Семену Иванычу (не забудьте его! Добрый старик лишается со мною последней своей радости!) препоручу я, после смерти моей, привезти в Россию несколько рисунков и вещей для вас — на память обо мне. Воспоминание о моем благодетеле и о вас уношу с собой во гроб; и с вами еще... но зачем вспоминать о том, что отвергло меня так жестоко, растерзало меня так свирепо... Говорят, что *она* счастлива. Боже! при гробе нет уже страстей — я желаю ей счастья — молюсь о ней... и о *нем*, если он осчастливил ее собою, молюсь, как ни тяжко мне,— а это *очень тяжко*, почтенный друг мой...»

Долго плакал я над этим письмом. Как нарочно будто на другой день были именины отца Аркадиева.

— Где картина, присланная с вами Аркадием? — спросил я итальянца.

— На моей квартире, синьор.

— Выберите раму у меня,— сказал я ему,— вставьте в нее картину и приготовьте к утру завтрашнего дня.

Рама нашлась по мерке: мы ее сняли с «Прометея»... Синьор взял раму. На другой день, свято исполняя волю моего друга, я предварительно узнал, когда старик Иван Перфильевич уйдет к обедне, и явился к нему в это время. Братья Аркадия приняли меня весьма вежливо. Я сказал им о присылке картины. Вскоре привезли и картину. Она была огромна и в маленьком домике старика, в своей золотой раме, казалась чем-то необыкновенно великолепным. Вся она была закрыта полотном. Мы поставили ее в зале, где она заняла целую половину стены. У меня недоставало еще духа раскрыть ее. Слух о картине, присланной от *Аркадия Ивановича*, разнесся уже по соседству. Множество народа сошлось смотреть.

Я сел у окна, ожидая старика, и грустно смотрел на все, меня окружавшее. Я был в том доме, где родился, между теми людьми, с которыми провел свое малолетство Аркадий. И дом, и люди были те же, какими были они за двадцать пять, за тридцать лет,— ничто не переменилось в них: они только устарели физически — *они*, то есть и *дом*, и *люди* эти. Они были спокойны, веселы,

самодовольны — эти братья Аркадия, соседи, родственники, пришедшие поздравлять старика. А *он?* А этот Аркадий? Он уже прогорел метеором по небосклону, ярким метеором,— он, единственный *человек* из этой толпы *народа....*

Обедня кончилась. Старик пришел домой. Все встали, встретили его, поздравляли. Он увидел меня, тотчас поплелся ко мне, взял меня за руку и с радостью спросил:

— Видно, письмецо от друга моего Аркадия? Сын ты мой милый! Может быть, в последний уж раз привел меня господь праздновать на старости день моих именин, и ты радуешь меня в этот день письмом своим!

— Письма нет,— отвечал я,— но Аркадий прислал вам в подарок картину своей работы и просил меня вручить ее вам в день именин ваших.

— Картина от моего Аркадия,— завопил старик,— прислана мне! Где, где она? Дети! картина от моего Аркадия!

— Она в зале, дедушка! — закричали внучата, дети братьев Аркадия, прыгая вокруг своего деда.

Старик спешил туда. Мы раскрыли картину: она стояла теперь во всем великолепии, освещенная утренними лучами солнца. Старик, с толпою родни, соседей, с братьями Аркадия, вошел в залу: домашние все уже сбежались туда. Множество голов зрителей видно было даже в окошках.

Тут, на картине, изображен был Спаситель, благословляющий детей. Лицо его было божественно, исполнено любви и благости. Он изображен был сидящим; несколько детей беспечно, смело, безбоязненно окружали его, смотрели на него; только один из них, устремив глаза свои на Спасителя, задумался и облокотился локтем на его колено. Вознося благословляющую руку над головою сего дитяти, другую обращал Спаситель к двум ученикам своим и, казалось, говорил им: «Не возбраняйте детям приходить ко мне; для таких предназначил я царство небесное; только будучи невинен душою, как младенец, будешь со мною во славе отца моего на небесах!» В стороне, отворотясь от детей, стоял какой-то человек. Его бледное лицо, его всклоченные волосы, морщины, прорезанные пылкими страстями на лице его, показывали, что это был не простой пастырь галилейский, но страдалец, много испытавший, проведший бурную жизнь. Казалось, этот человек слышал в словах

Спасителя решение загадки, мучившей его всю жизнь; казалось, он хотел бы погрузиться в прежнее невинное младенчество... Он возводил к небесам взор надежды и страха.

Старик упал на колени пред этою картиною, восклицая:

— О, мой милый Аркадий! осчастливил ты меня! Да благословит тебя господь, как благословляет он этого младенца!

Мы подняли старика. Он велел поставить себе стул против картины, рыдал; слезы радости текли по его щекам. Каждому, кто подходил, кто приходил вновь, он указывал на картину и мог проговорить только одно:

— Аркадий, Аркадий прислал!

Когда я сказал, что Аркадий прислал еще ему около двадцати тысяч рублей, которые успел он скопить во время пребывания своего в Италии, это почти не произвело в нем перемены; но тогда других надобно было видеть. Братья Аркадия принялись хвалить его...

Разумеется, никто из зрителей не мог судить о высоком искусстве Аркадия, которое доказывала эта картина, но тем не менее все были приведены в восторг его работою. Превосходное было это произведение! Какое дарование! Сколько души! Что могло б быть из этого человека! — Увы! эта *последняя* картина Аркадия растерзала меня, когда всмотрелся в нее более: в лице малютки, благословляемого Спасителем, я узнал черты Вериньки, возведенные к идеалу невинности первых лет детского возраста, а этот измученный страстями пастух — это был сам Аркадий! Итак, мысль о тебе — женщина! — преследовала его и на краю гроба! И такой любви ты не поняла, не оценила! Меня даже успокоивало теперь помышление, что Аркадий уже не существует, что он уже перестал жить, то есть перестал страдать. Но видеть восторг, производимый его картиною, слышать благословления отца, произносимые ему, воображать, что, может быть, многие, смотря на его картину, думают: «Как счастлив этот художник! Как услаждает его слава!» — соображать и думать все это было мне тяжко, грустно, больно... Вся жизнь Аркадия сливалась для меня в этой картине... Только слезы облегчили сердце мое...

Несколько дней сряду к старику приходили смотреть картину. Сам губернатор приезжал к нему. За нее давали ему очень дорого. Но он не уступал ни за что и говорил, что, умирая, велит поставить ее против себя и будет благословлять милого сына своего и желать ему *счастья* и *здоровья!* — Увы! в целом городе только я один знал, что Аркадия уже нет на свете...

Под миртами Италии прекрасной
Он тихо спит, и дружеский резец
Не начертал над русскою могилой
Слов нескольких на языке родном,
Чтоб некогда нашел привет унылый
Сын Севера, бродя в краю чужом...

На другой год мне опять привелось ехать в Петербург по делам. На меня навязалась тяжба. Мне надобно было выправиться о моем деле по министерству юстиции, и знакомые дали мне письма к одному значительному чиновнику. Имя его показалось мне знакомо, только я никак не мог вспомнить, где я знавал его? Осведомившись, что могу застать этого чиновника по четвергам, вечером, являюсь к нему и нахожу довольно много гостей. Хозяин был в своем кабинете с кем-то. Меня просили войти в залу. Тут нашел я несколько столов с вистом и бостоном. Дамы сидели на диване. Хозяйка сидела тут же и весело разговаривала с ними, ее окружали трое или четверо милых, опрятно одетых детей. Она была еще молодая женщина, одетая по-домашнему, щегольски, и ловко встала, чтобы принять меня. Тогда я узнал ее: это была *Веринька!* Я остолбенел и искал в лице ее, полном, здоровом, спокойном, искал в этой чиновнице, даме, с чепчиком на голове, в модном шлафроке, окруженной детьми и гостями, идеала моего друга Аркадия.

— Боже мой! Г-н Мамаев, вы ли это? — сказала мне *Вера Парфентьевна.*— Садитесь, пожалуйста, садитесь. Давно ли вы в Петербурге?

Мы начали говорить — о погоде, о новостях. Она *вспомнила* меня. И *ничего более* не вспомнила? Не знаю. Тут вошел сам хозяин. Из долговязого молодого человека, одетого в щегольский фрак, он сделался теперь плотным чиновником, в вицмундире, с крестом на шее, с другим в петлице и с пряжкою за пятнадцатилетнюю беспорочную службу. Он принял меня вежливо, обещал все сделать. Жена его, очень равнодушно, сказала ему, что некогда я был знаком с ее отцом, что я старый *приятель*

их дома. Муж просил меня после этого посещать их, предлагал мне немедленно партию в вист. Я отказался от виста и не приходил к ним более. В департаменте сказывали мне, что муж Вериньки отличный чиновник и со временем может надеяться многого, что он притом весьма счастлив в семействе, что жена у него премилая женщина, добрая мать детям и большая хозяйка. Я видел после того еще раз Вериньку в театре. Она сидела в ложе с мужем и детьми. Не один лорнет был наводим из кресел на эту ложу; не один молодой человек говорил другому: «Прелестная женщина! и с каким вкусом одета!»

ПОВЕСТИ ИВАНА ГУДОШНИКА



ПРЕДИСЛОВИЕ

Давно, когда жил я еще в Москве белокаменной, узнал я повесть об Иване Гудошнике и повести, какие сам он рассказывал в старое время.

Пересказал ли мне их какой-нибудь бывалый человек, или нашел я списки старинные, на что вам знать? Я решился тогда же издавать то и другое и напечатал одну повесть о самом Гудошнике и одну из его сказок.

Приняли их, помнится, довольно благосклонно. Были и даже теперь есть добрые люди, которые уговаривали меня продолжать, и я хотел продолжать, но — человек предполагает, а судьба располагает!

Может быть, когда-нибудь доскажу я конец повести о самом Гудошнике, его клятве при гробе господнем, и что из того последовало, перескажу я его собственные повести и сказки, а теперь — вот старая сказка его и еще кое-что из его повестей и былей, что прежде начинал я пересказывать — иное кончил, иное не кончил.

Авось кто-нибудь скажет спасибо, что все собрано вместе! А не скажут, так, по крайней мере, бранить не станут, потому что за что же бранить, народ православный? Вольному воля: читать и не читать!

ПОВЕСТЬ О СИМЕОНЕ, СУЗДАЛЬСКОМ КНЯЗЕ

Благочестивые жители Нижнего Новагорода шли к вечерне в соборный Архангельский храм. Сквозь окна храма мелькали тусклые огни восковых свеч, зажженных перед образами. Церковь была полна народа; на крыльце и в ограде церкви толпился народ, но многие бежали еще опрометью ко храму, и все, казалось, чего-то ждали. Нетерпеливое внимание заметно было в толпе. Подле затворенных лавок на площади собрались нижегородские купцы. Сложа руки и устремив любопытные взоры на княжеский дворец, они говорили между собою. Вокруг дворца в тесноте негде было яблоку упасть. Богато убранные кони под бархатными попонами, подведенные к крыльцу, видны были с площади сквозь тесовые растворенные ворота.

За толпою купцов у навеса лавок сидел на складном стуле седой старик, угрюмо опершись на палку. Руки его, сложенные на верхушке палки, обделанной в виде костыля, закрыты были длинною бородою его. Красный кушак по синему кафтану показывал достаток его. Он смотрел то на дворец, то на народ, покачивал головою, поднимал ее и опять опускал на руки. Другой старик, сухой и тщедушный, отличавшийся от всех одеждою, подошел к уединенному зрителю, низко поклонился ему и сказал громко:

— Бог на помочь!

— Будь здрав, гость московский! — отвечал нижегородец,— по добру ли по здорову?

— Славе те, господи! Вот получил из Москвы грамотки. Жена, дети здоровы, и товар доплелся до Москвы.

Слова «из Москвы», казалось, оживили старика. Подвинув свою шапку на затылок, он обратил любопытный взор на москвича и невольно повторил слова его:

— Из Москвы?

— Да, но вот что ты будешь делать: невзгода Москве нашей, да и только — опять была немилость божья, пожарный случай.

— Что? Опять?

— Да, почитай, весь посад выгорел, а пожар начался с дома окаянного Аврама Армянина.

— Хм! Часто горит у вас на Москве!

— Да Москва-то не сгорает! — отвечал москвич, коварно улыбаясь,— а вот у вас, в Нижнем, так раз вы горело, да зато ловко.

— Его воля! — вздыхая, отвечал старик и обратил взоры к небу. Заходящее солнце блеснуло ему в глаза, и он, зажмурясь, опустил голову к земле.— Да, попущением божьим о Петровках уже пятнадцатый год минет, как Нижний Новгород впадал в руки басурманские, а следы все еще не заглажены. Нижегородцы прображничали тогда наш городок благословенный, и справедливо повелась в народе пословица: «За Пьяною люди пьяны»!

— Москва не вашему городу чета, да и тут после вражьего меча десятый год проходит, а трава растет там, где прежде высились терема и хоромы. Сколько одной божьей благодати сгорело и осталось в запустении!

— Друг ты мой! не говорит ли нам Святое Писание, как тяжек меч вражий? Когда царю Давиду предложили глад, смерть и нашествие неприятельское, он молил бога выбрать легчайшее, и бог не врага, а смерть послал на Израиля. Тяжка смерть, но тяжеле воин вражеский, гибель живая,— не уснет, аще зла не сотворит!

— Но ведь на нашу Москву и враг-то какой нападал! Долго стоять земле русской, а не видать такого злодея, каков Тохтамыш окаянный! Ни в устах милости, ни в сердце жалости. Огнем палит, чего не возьмет, и ни храма божия, ни княжеского чертога не остается за его следом — идет и метет!

— Все равно, что силен, что бессилен, только умел бы железную баню вытопить да булатом выпарить, а уж татары, злой, ненавистный род, таковы, что, кажется, и во сне-то они мыслят о вреде христианам. Бывал ли ты сам в руках татарских и видал ли ты басурманскую, проклятую гадину в их житье-бытье?

— Оборони меня, господи! Нет! До сих пор господь миловал!

— Истома Захаров любит только издалека греть ру-

ки, а нейдет сам в огонь,— сказал кто-то подле разговаривавших.

Старики оглянулись и увидели, что к ним подошел богатый купец нижегородский Замятня. Москвич переменился в лице, а седой нижегородец обратился к Замятне.

— Держал бы ты язык свой на привязи,— сказал он.— Точно меч обоюдуострый слова твои: ни брата, ни друга не щадишь — рыкаешь, аки лев на краеградии!

— Да ведь господин Истома мне ни брат, ни друг,— отвечал Замятня, смеясь.— Кто с ним торгует, тот и помолчать может, а целому миру рта не завяжешь. Иной наживает там, где все проживают, и вольно ему было сказать тебе, что он не бывал у татар — люди другое поговаривают!

Истома покраснел и побледнел.

— Добрая слава под лавкой лежит, а худая слава всегда на почетном месте сидит,— пробормотал он.— Мало ли что говорят и о князьях, и о боярах!

— Так будто все и неправду говорят? Глас народа — глас божий! Будто князь да боярин уж всё и хорошо делают? Как ты думаешь, старинушка, господин Некомат? — сказал Замятня, обращаясь к старику в синем кафтане.

Некомат поднял голову.

— Слушай, Замятня,— сказал он, дрожа от досады,— язык твой не доведет тебя до добра! К чему ты приплетаешь речь о князьях и боярах? Нынче и стены слышат, а не только что площадь, где народу так же просторно, как немецкой рыбе аселедцам в бочонке.

— Я ведь не порицаю никого, да что поговорю, так и только того! Вот иной и не говорит, да еще каждый раз приговаривает к имени своего князя: «Батюшка наш, милостивый князь», а как придет к разделке, так в милостивого князя первый камнем бросает. Бывалое ведь дело — рассказывают...

— Не всякому слуху верь.

— Вот и об Истоме мало ли что говорят! Сказывают, будто он и в люди пошел с тех пор, как погрелся у татарского огонька в Тохтамышево нашествие.

— Я был на Волоке Ламском, когда вражья сила находила на Москву, а потом скрывался в Троицком монастыре. Когда же грелся я у татарского огня?

— Ведь ты не на исповеди теперь,— сказал Замятня,

смеясь,— и если и попадался в табор татарский, так уж, верно, неволею, а не волею. Что же делать с татарами! Сабля вражья и прямую душу кривит. Народ поганый, народ окаянный, времена тяжелые — поневоле свихнешь либо направо, либо налево!

— Ох! тяжелые, тяжелые! — подхватил Некомат, как будто стараясь отдалить от себя неприятный разговор.— Пришествие языка чуждого от стран неведомых — явное знамение пришествия кончины мира!

— Почему же языка неведомого? Кто не знает по-татарски, тому он и неведом, а кто знает, так он и ведом ему.

— Нет, друг ты мой любезный, я говорю о происхождении сынов Агариных. Кто ведает, откуда окаянный рой басурманов налетает на православную Русь?

— Как откуда? Разве ты не слыхивал?

— Нет, слыхал и читал во «Временнике»,— отвечал Некомат,— где именно написано, что пришествие их положено при кончине мира. Мефодий Патарский пишет, что Александр Македонский ходил из Индии богатой к полунощному лукоморью и встретил там народов поганых, не соблюдавших ни поста, ни молитвы. И он загнал их за синие горы, загородил горами, сотворил медные врата и запаял *сунклитом*, а его и меч не берет и огонь не жжет! Много лет прошло, они стали прорубаться сквозь гору и вышли.

— Ты забыл прибавить, что они никогда не прорубились бы, если бы мы сами не помогли им. Сперва прогрызли они оконце и начали подавать оттуда золото и самоцветные каменья, а в замену просили железа. Что же? Христиане стали к ним железо возами привозить и подавать в оконце, так что лет через тысячу сквозь оконце прошли их тысячи и пришли отбирать свое золото тем железом, которое от христиан выменяли.

Некомат увидел, что его поймали на его исторических знаниях. Он замолчал, а Замятня продолжал говорить:

— То-то, дружище, если бы в христианском мире побольше правды было, так и дело шло бы иначе. Все мы хнычем да головой качаем, а что руки наши нечисты да сердца наши омрачены, о том не подумаем. Вот уже двести лет с лишком, как мы кряхтим под татарскою плетью и ждем преставления света, а приготовились ли мы к тому? Грех сказать земле русской, что господь не дает ей владык добрых, да народ-то живет со грехом пополам,

так добрые князья, что семя на камне,— процветет и погибнет!

— Правда твоя,— отвечал Истома, отдохнувши после слов Замятни.— Вот и нашу мать Москву выдают со всех сторон — стоит она, как сиротина на могиле отца и матери,— нет ни помощи, ни пособия от других княжеств!

— Хороша ваша сиротина Москва! — сердито вскричал Замятня.— Придет беда, так она и поет: «помилуйте, православные», а отхлынуло, так того за ворот берет, кто ей помог! Ты, москвич, нашего брата-нижегородца не тронь! В наши сердца глядись, словно в матушку Оку, а в вашей Неглинной и ворон не видит, что он черен. Когда покойный князь Димитрий Иванович попросил стать за святую Русь — кто отказался? А там, как стал он гнуть других, так нечего жаловаться, что выдали его Тохтамышу!

— Не нуждается Москва в вашей помощи! Только зла-то вы не делали бы да не рыли ямы, и за то бы спасибо! Когда Тохтамыш пришел к Москве и три дня стоял, сам не зная, что делать, когда была у нас потом потеха и на самострелах, и на мечах, и наш воевода князь Остей не сдавался ни на какое льстивое слово, кто уговорил его, кто *правил* тогда на святом Евангелии, что татары не сделают зла Москве? Ваши княжичи — Василий да Симеон! На них пали кровь Москвы и пепел святых храмов ее!

— Кто тебе сказывал? Там их вовсе не было!

— Нет! были они, и Москву они погубили! Ты ведь знаешь все дела князя Симеона, злодея, изменщика веры, холопа поганого хана, Некомат! Скажи, правду ли я говорю, что он, злодей, всему виною?

— Почти что правду! — отвечал Некомат задумчиво, как будто нехотя и наклонив голову. Он, казалось, читал дела прошедшего в темной думе своей.

— Старик, старик! — отвечал Замятня с выражением упрека,— ты в гроб глядишь, а не щадишь своей совести! Симеон изменил Руси? Симеон продал свою веру и разорил Москву? Не в оковах ли приведен он был туда? Не поклялся ли ему Тохтамыш своим проклятым Махметом, что он не тронет в Москве ни синя-пороха? И когда безбожный хан нарушал свою клятву, когда москвитяне безумно поверили басурману,— Симеона обвиняешь ты во всей беде, во всем невзгодье!

Некомат покачал головою, встал с своего стула и тихо начал говорить, поднявши глаза к небу:

— Сердца людские грудью закрыты, и кто же узнает тайные помышления их? Но последствия всегда оправдают праведного и накажут грешника. Если бы Симеон был муж праведен, то, по глаголу, должно бы ему быть счастливым и благоденственным, и роду его величиться. Писано бо есть, что «память праведнаго с похвалами, и род его яко древо насажденно при исходищи вод». Где же Симеон? Погиб? Где род его? В тюрьме! Князь наш Борис Константинович княжит благоденственно над Нижним и смиряет злобу кротостью. Он праведен, а Симеон злый зле погиб!

— И отец его был такой же вероломный и пагубный! — прибавил Истома хриплым голосом.

— Пощадите хоть кости-то доброго князя вы, Некомат и Истома, вы, кому счастливый кажется праведником, а несчастливый грешником! Нет! Я ел хлеб князя Димитрия Константиновича и не попущу злому слову пасть на память его! Вспомни ты, горделивый москвич, не он ли получил от хана Агиса грамоту на Московское княжество и отказался от Московского престола, довольный Суздальским уделом? Не он ли потерял любимого сына, когда козни Москвы навели на него злого Арапшу? Не его ли дочь, благочестивая Евдокия, была супругою вашего Димитрия и матерью юного князя Московского, которому ты восписываешь такие хвалы и похвалы? Не сам ли Димитрий возвел Симеона на престол Нижегородский? А теперь,— продолжал Замятня, понизив голос,— теперь, когда князь Борис выкланял себе Нижний, обнадеяв хана большею податью, вы славите его величие, а Симеон у вас злодей и отступник.

— Да что судить нам о делах княжеских,— отвечал Некомат,— судит им бог! Мир явно клонится к гибели и злу — брат восстанет на брата, отец на сына. Горе идущему, горе и ведущему! Немцы, которые селятся теперь в Москве и Нижнем, до добра не доведут. Слышал ли ты, что какой-то немец вывез в Москву бесову потеху — стрелять живым огнем!

— О, да какая ж была страсть божья! — подхватил Истома.— Как выстрелили в первый раз из той адовой потехи, так души у всех замерли — огонь и гром, дым и смрад пошли из ее жерела, словно свету преставленье! Ох! да что уж нынче — и мертвым костям покоя не стало! Затеял какой-то немец копать у нас на Москве ров кругом города — и гробы разметали, и косточки родительские повыкидали... Прости, господи, наше согрешенье!

Тут шум и крик народа прервали беседу. Все оборотились ко дворцу и увидели, что князь Борис выезжает из ворот дворцовых, окруженный своими сановниками и боярами. Золото блистало на сбруях коней и одежде князя и свиты его. Некомат и Истома втеснились в толпу, спешившую навстречу князя.

— Вот заступники твои, князь Симеон,— проговорил тихо Замятня, смотря вслед за Некоматом,— вот люди, которых осыпал ты благодеяниями, которым благодетельствовал отец твой! Первый рубль подкупает их, и первая полтина перевешивает все добро.

— А Замятня забыл, что на площадях не говорят того, что думают,— сказал кто-то. Замятня оборотился и увидел человека с длинною бородою, в худом нищенском кафтане.

— Эх, товарищ! Плох стал народ! — отвечал Замятня вполголоса.

— Когда же он был лучше?

— Нет ни совести, ни правды!

— Правды искать у торгаша Истомы! Кто ищет клада на кладбище, приятель?

— А Некомат, человек, которому благодетельствовал князь наш, послушал бы ты, что говорил он об нем и об роде его!

— Что говорить ему! Язык его, как добрый жернов, вертится, куда повернут его на вороту, а ворот его серебро да золото!

Они пошли к церкви и тихо разговаривали дорогою.

— Наболтали мне они и бог знает чего,— сказал Замятня,— а одно залегло у меня в сердце... Послушай: откроешь ли ты мне всю свою душу?

— Для тебя ничего нет скрытого — спрашивай!

— Правду ль говорил мне Истома, будто Симеон изменил вере отцов своих и отступился от христианского закона? Уверен в нем, но человек в невзгоде так хил, так плох... С чего бы взять ему окаянному!

— Нет! Он клевещет — он лжет! Симеон не изменил ни слову своему, ни вере своей! Храбр, как меч, тверд, как адамант-камень.

— Но горяч, как раскаленное железо, а мир, с своей славой и почестями, так светится, как звезда полуночная,— стол княжеский так слепит глаза...

— Нет! говорю тебе! Горяч, но добро дороже ему золота и имя честное лучше стола княжеского — он не

изменит кресту и вечному блаженству за временные блага!

— Слава богу! Ты успокоил меня. Царство темное! Ты не поработило доныне ни одной души княжеской!

— Но послушай, Замятня: ты сам не стоишь доброго слова. Дурак в тебе все высмотрит, как в стеклянной чарке, и болтун собьет тебя с толку! Будь осторожнее, будь умнее! Эй! береги слова!

— Бог видит душу мою, как я стою за правое дело, да язык мой злодей мой... А уж Истоме окаянному напишу я на иссохшей его роже правду.

— Тише, тише... отойди от меня.

Князь Борис ехал мимо них. Все сняли шапки. Говор в народе уподоблялся жужжанью пчел. «Какой он дородный! — говорил народ,— то-то настоящий князь, то-то добрый князь Нижнего!»

— Помнишь ли ты,— шепнул опять нищий Замятне,— помнишь ли, когда Димитрий Иоаннович так же ехал здесь с князем Симеоном? Не тот ли самый народ смотрел на Димитрия, как на орла быстропарного, а на Симеона, как на сокола золотокрылого, и не мог нарадоваться красоте двух братьев? А теперь что Симеон!

— Что Симеон? Посмотри, как красуется князь Борис на своем вороном коне, а вглядись-ка лучше, ведь коня-то этого подарил тогда князь Димитрий Симеону!

— А кожух на боярине Румянце подарен был ему за верную службу его Симеоном!

— Это что за толстяк едет подле князя? — спросил, смеясь, Замятня.

— Неужели не знаешь? Белевут, боярин московский. Он давно приехал сюда с уверением в дружбе от князя Московского. Вот и другой московский боярин, Александр Поле. Он живет здесь уже месяца три.

— А зачем?

— Как зачем? Уверяет в дружбе.

— Разве князь Борис сомневается?

— Бог весть! Видно, что у кого болит, тот о том и говорит. Да что там за толпа такая народа остановила коня княжеского? Смотри — падают на колени! Пойдем ближе.

Замятня и нищий протеснились сквозь народ и стали подле свиты князя. Князь Борис остановил коня. Первый боярин его, Румянец, подскакал к небольшой толпе на-

рода, стоявшей на коленях, и поспешно спросил, что им надобно.

— Мы не к тебе, боярин Румянец, а к князю Борису Константиновичу,— отвечал седой старик.

— Все равно — говорите мне! — поспешно вскричал Румянец.

— Между князем и его народом, когда мы стоим пред лицом его, не надобно посредника, как между богом и человеком нет посредника в молитве!

Румянец покраснел от гнева и грозно закричал им·

— Прочь с дороги!

Князь Борис, безмолвно смотревший на действия Румянца, тихо промолвил ему:

— Что тут за люди, боярин?

— Князь великий! — отвечал Румянец, преклонив голову в знак покорности,— это бродяги вятчане. Они пришли сюда сбирать милостыню и рассказывать сказки.

— Нет, князь Нижегородский,— отвечали несколько голосов,— мы не нищие и не милостыни просим, но княжеской милости!

— Помилуй, государь! — воскликнул старший из вятчан,— будь нашим спасителем — смилуйся над нами!

— Но зачем же вы здесь встречаете меня? Зачем не пришли в мой дворец?

— Высоко крыльцо твоего княжеского дворца, и бояре твои стоят настороже. Боярин Румянец уже третий день гонит нас от твоего двора.

— Боярин! что такое они говорят? — небрежно спросил князь у Румянца.

— Все последние дни ты был занят важными делами, и то ли время — слушать их жалобы! Они то и дело *рагозятся!*

— Всегда время князю пособить своим подданным и везде место спасти! — сказал старший вятчанин.— Государь князь великий! помилуй!

— Ну, да теперь уж не время и здесь не место суда — после,— сказал князь и хотел ехать.— Допустите их ко мне,— примолвил князь, обращаясь к вельможам, за ним ехавшим.

— Нет, князь, мы не сойдем с места. Спаси и помилуй! Жены, дети наши гибнут — защити и спаси нас!

Князь помолчал с минуту. Глубокое молчание было вокруг него.

— Говорите: чего хотите вы от меня? — сказал он, нахмурив брови.

Все вятчане поднялись на ноги. Старший из них подступил ближе и начал говорить:

— Ведомо тебе, государь, что жили мы в Вятке нашей тихо и мирно. Но теперь прошло прежнее время. С тех пор как на Волге появились суда татарские, не стало нам покоя. Уже несколько раз приближались татары к пределам хлыновским. Мы откупались деньгами, отражали силою, а теперь нет нам спасения! Хан Тохтамыш грозит нам огнем и мечом. Его воинство уже давно сбирается на Волге и готовит суда. Мурза Беркут идет повоевать Вятку. Государь! спаси нас!

— Я не могу ни спасать, ни оборонять вас,— отвечал князь,— вы не мои!

— Мы люди и христиане! Мы отдадим тебе Вятку со всеми городами — пошли защитить нас.

— Не могу защитить вас и не стану ссориться с ханом, моим владыкою! Он решает судьбу вашу, и да будет вам, что он судил!

— Они сами разгневали великого хана,— закричал Румянец,— сами грабили его суда, убивали посланцев, крамольничали, ссорились, не платили дани!

— Платили, боярин, платили, но нет у нас более, чем платить. Князь и бояре! перемените гнев на милость! Куда нам деваться, если вы откажете? Кровь христианская не даст покоя вашей совести!

— Старик! не тебе учить меня — иди с богом! Я не могу пособить вам!

— Заклинаю тебя святым храмом божиим, куда едешь ты, князь нижегородский! Нам остается броситься в воду, погубить души свои! Бог велит русским князьям защищать родные области и взыщет на тебе попущение!

— Видишь ли, государь,— сказал Румянец,— буйство лапотников? Так-то они поговаривают всегда!

— Кровь наша говорит, боярин! Князь! если ты отринешь нас, тебя отринет бог от престола своего! Спаси христиан!

— Замолчи, старый буян! — вскричал князь и повернул коня в сторону.

— Итак, нет нам надежды ни от Нижнего Новагорода, ни от Великого Новагорода — один отталкивает и другой не принимает! Князь! предшественники твои не оставляли нас. Князь Симеон и князь Василий ходи

ли помогать нам — не заставь нас пожалеть, что венец Симеона возложен на твою голову!

— Выгоните их из Нижнего! — вскричал князь.— Они буяны, нахалы, крамольники — не повинуются власти хана! — И гневно он удалился.

Горестно заплакали вятчане, когда воины оттолкали их с дороги. Блестящий поезд князя с презрением проехал мимо, и народ хладнокровно смотрел на людей, отверженных князем.

Солнце закатилось. Алая заря горела еще на дальних облаках, и струи Волги тихо плескали в берег, когда нищий, говоривший с Замятнею, шел с площади, откуда в разные стороны расходился народ. День был воскресный. Подле ворот почти каждого дома сидели беседы женщин и девушек, пели песни и играли. Молодые мужчины, в праздничных кафтанах, ходили по улицам и кланялись красным девицам. Нищий шел тихо и медленно. Он поравнялся с забором одного дома и, не доходя до ворот его, остановился. На лавочке у ворот дома сидела молодая девушка, в богатой повязке, с которой множество алых лент падало на спину, и жемчужные подвески спускались почти на полвершка на лицо. Нищий задумчиво смотрел на нее. Тяжелый вздох вылетел из его груди. Он был неподвижен и не приметил, заглядевшись, когда подошел к нему Некомат.

— Куда бредешь ты, божий человек? — спросил Некомат ласково, остановясь подле нищего.

— Куда ноги несут,— отвечал нищий.

— Я видаю тебя часто,— сказал Некомат,— и часто смотрю, как бродишь ты мимо дома. Для чего не зайти тебе ко мне и не попросить честной милостыни? Рука Некомата всегда отверзта на благостыню.

— Бедность робка, господин, и боится помешать тебе считать твое золото. Спасибо за приветное слово!

— От слов сыт не будешь — пойдем ко мне,— я велю накормить тебя и дам на дорогу хлебца и деньжонок.

— Доволен божьею милостию и не требую ее от людей.— Нищий побрел вперед. Некомат не отставал от него.

— Ты полоумный человек или юродивый, когда от милостыни отказываешься. Кажется, сегодня похорон бога тых нигде не было и напиться было негде. Князь и бояре его не щедры.

— Щедра рука каждого дающего, а всякое даяние приемлю я во благо.— Некомат и нищий поравнялись с воротами дома, подле которых сидела девушка. Некомат остановился и сказал ласково: — Это ведь мой дом — зайди ко мне и отдохни!

— Я не знаю, гость Некомат, что ты так ласково говоришь со мною?

— Не знаю отчего, благообразное лицо твое мне нравится. Ты, я чай, не моложе меня. Молитва бедного лучше жемчуга перекатного — зайди ко мне и помолись моим иконам.

— Подай мне милостыню, гость Некомат, и все равно — я подарю тебя благословением и на улице!

— Не мечи бисера — размечешься, и не все говори на улице, что можешь сказать в светлице. Мне есть нужда поговорить с тобою.

— О чем же тебе говорить с нищим? Я ничего такого не знаю...

— А я кое-что знаю. *«Высоко сокол летает, себе цаплю выбирает».*

Невольно вздрогнул нищий.

— Пойдем, гость Некомат: если ты требуешь. От хлеба-соли не отказываются!

Они пошли в дом. Девушка, дочь Некомата, ушла в дом, увидя отца. В темноте взобрались Некомат и нищий на высокое крыльцо, в сени и в комнату. Лампадка теплилась пред иконами в углу. Хозяин и гость его помолились и перекланялись. Некомат повесил на крючок свою шапку. Между тем приказчик Некомата, высокий, худощавый мужчина, вошел со свечою, поклонился, поставил свечу на стол и удалился опять с поклоном. Нищий стоял у дверей. Прошло с минуту, пока Некомат молчал. Наконец он поднял руки над головою и громко сказал:

— Буди благословен тот день, когда я увидел опять сына души моей! Боярин Димитрий! — воскликнул он,— ты ли скрываешься от меня?

Нищий молчал и стоял неподвижно.

— Боярин Димитрий! — продолжал Некомат,— ты не хочешь сказать мне ни одного слова?

Тут нищий ступил вперед два шага, распрямился, переменил голос и мужественно и твердо отвечал Некомату:

— Если ты узнал меня, не буду скрываться, да и к чему скрываться мне? Если ты хочешь выдать меня

князю Борису, выдавай, но прежде умру я, а не скажу ни тебе, ни ему ни одного слова!

Слезы потекли из глаз Некомата. Он закрыл глаза рукою и дрожащим голосом сказал Димитрию:

— Неужели я не доказал тебе прежде, боярин, как любил я тебя и доброго князя нашего Симеона? Не ты ли просил у меня благословения на брак с моей дочерью? Не я ли прежде обнимал тебя, как сына? Что ты не отстал от нашего князя, что прошло года два, как мы не видались с тобой,— так я и забуду тебя?

— Полно, Некомат,— отвечал Димитрий,— я не шутить пришел к тебе, и меня не обольстишь сказками. Душа твоя по золоту ходит: было счастье, и ты был друг мне; прошло оно — и ты друг Румянца и князя Бориса.

— Не думал я на старости лет услышать от тебя такое горькое слово! Где же и когда я сотворил зло тебе и твоему князю? Если я не говорю вслух, как Замятня вздорливый, что князь Борис неправедно сел на столе нижегородском, если я не кричу, что он безбожно отнял Суздальское княжество у своих племянников,— боярин Димитрий! я отец: много гниет в тайниках молодцов за то, что громко поговаривали! подумай — я узнал тебя: не в моей ли было воле указать на тебя князю и сказать: «Вот любимый боярин Симеона — возьми его, князь!»

— Некомат! я не могу оскорбить тебя укорою за прежнюю жизнь. Ты всегда был сребролюбив, но никогда не слыхал я, что злое дело легло на твою душу.

— И теперь чиста она, и теперь я вижу в тебе моего друга и сына! — Он обнял Димитрия и крепко прижал к груди своей.— Узнай меня лучше, вглядись в меня пристальнее!

Димитрий молчал.

— Соглашаюсь, что ты помнишь еще благодеяния Симеона,— сказал он,— но чего же ты от меня хочешь?

— А! ты открыл наконец неприступную душу твою! Теперь узнаешь, чего хочу я,— теперь возвеселится душа моя! — Он потянул веревочку, привязанную к надворному колокольчику. Явился приказчик его.— Поди и позови гостей моих,— сказал ему Некомат,— а ты, Димитрий, пойдем со мною.

Не отвечая ни слова, Димитрий пошел за ним в сени

и на лестницу. Некомат отворил дверь. Они вошли в девичий терем. Здесь сидела подле окна дочь Некомата с своею нянею. Она встала и почтительно поклонилась отцу и гостю.

— Няня! Поди и принеси нам хорошего меду! — сказал Некомат.— Хочу выпить с нищим братом моим из любимой золотой чары. Тебе не впервые угощать у меня нищую братию!

Няня вышла. Несколько минут все молчали. Некомат как будто ожидал, пока няня сойдет с терема.

— Дочь моя ненаглядная! — сказал тогда Некомат,— помнишь ли ты жениха своего?

Девушка вздохнула и не знала, что сказать.

— Ах, батюшка...— прошептала она, запинаясь.

— Жениха твоего, боярина Димитрия? Отвечай мне, Ксения!

Слезы навернулись на глазах Ксении и покатились по лицу ее. Кисейным рукавом своим отерла она их и промолвила:

— Батюшка! все забыто, кажется — все... и давно...

— Нет! Я не забыл...

— И где теперь мой жених! В какой стороне скитается он...

— Он здесь, Ксения! Посмотри — вот он, твой суженый!

— Ах! — вскричала Ксения, и ноги ее подломились — она как полотно побледнела.

— Боярин Димитрий! Разве ты не хочешь открыть ей своей тайны? Видишь ли теперь, что я не изменник, что я не зла желал тебе, что родное дитя мое я не отнимаю у тебя, не отнимаю того, что мне всего дороже...

— Некомат! — вскричал Димитрий,— вижу все и обнимаю тебя, как друга и отца! Ксения! Димитрий опять с тобою!

Ксения плакала навзрыд.

— Я не понимаю тебя, Некомат,— сказал печально Димитрий,— не понимаю, что ты делаешь со мною и чего ты хочешь, обновляя то, что я хотел, что я старался забыть!

Некомат улыбнулся:

— Поцелуй свою невесту, свою суженую, а потом я расскажу тебе все. Некомат, поверь, не дремал в то время, когда не спала злоба врагов Симеона.

Димитрий обнял трепещущую Ксению и напечатлел поцелуй на губах ее.

— Ты не узнала меня? — спрашивал он.— Ты видела меня в наряде боярина, а теперь я нищий — поддельная борода и рубища мои представляют тебе старика дряхлого. Не кручинься, душа моя,— узнай меня опять!

— Сердце мое не забывало тебя! — шептала ему Ксения.

— Но вот идет няня! — сказал торопливо Некомат,— она не ведает нашей тайны. Пойдем, Димитрий, пойдем! — Он вырвал руку его из рук дочери и повлек его за собою.

Они опять сошли в Некоматову светлицу. Как изумился Димитрий, увидя накрытый стол, блиставший серебряною посудою, и, когда два человека, сидевшие на передней лавке встали, узнавши в них Александра Поле и Белевута, бояр московских.

Дружески подошли к нему бояре и приветствовали его ласково.

— Добро пожаловать, боярин Димитрий! — говорил Поле, обнимая Димитрия.— Юный годами, ты равен мне саном и подвигами! Мы не видались с тобою с самой Куликовской битвы. Тогда еще я заметил тебя в рядах воинов суздальских. Вот как теперь ты закутался, что тебя и не узнаешь! Да все равно: боярская кровь течет и под рубищем.

Димитрий не понимал, что значит все им виденное и слышанное. Он пробормотал несколько слов и остановился.

— Чара меду развяжет уста его,— сказал Некомат и налил четыре огромные стопы из оловянного жбана.— Да здравствует князь Василий Димитриевич Московский, племянник и друг князя Симеона! — воскликнул Некомат.

— Да здравствует! — повторили московские бояре. Димитрий взял стопу; все разом чокнулись, и разом все стопы были осушены.

«Куда он запропастился? Где девался? Вот уж загорается заря на востоке — не сделалось ли с ним беды какой? Избави нас, господи!» — так говорил сам с собою человек, бродивший по берегу Волги и беспокойно глядевший во все стороны.

Вдруг вдалеке показался другой человек и шел прямо

к тому месту, где бродил нетерпеливо ожидавший. Тот остановился, огляделся пристально и, видя, что идут прямо на него, запел вполголоса: «Высоко сокол летает». Подходивший повторил также: «Себе цаплю выбирает».

— Ты ли, Димитрий? — спросил первый.

— Я,— отвечал подходивший.— Ты давно ждешь меня, Замятня?

— Давно! Хорош молодец! Спрашивает, как будто и не знает, что я с полуночи торчу здесь, словно грань поверстная, а теперь скоро светать начнет!

— Терпи, товарищ! — сказал Димитрий, крепко ударив его в руку,— терпи — скоро и на нашей улице праздник будет!

— Да ты и то как будто с праздника! Некстати, брат, затеял ты веселиться, куда некстати!

— Не ври, Замятня, пустая башка! У тебя сквозь голову слова летят, ума не спросившись.

— Димитрий! Что тебе вздумалось?

— Слушай, Замятня! Ты добрый человек, но точный колокол! Стоит раскачать язык твой, и ты зазвонишь на весь мир. Знаешь ли ты, до чего было доводил ты всех нас? До плахи, безумный болтун!

Замятня содрогнулся.

— Да, Некомат знал уже, что ты сбираешь верных слуг Симеона, знал, где скрытно хранится у вас оружие и где вы собираетесь. Третий день, как я в Нижнем, а вчера Некомат уже заметил меня — и все по твоей милости!

— Провались я сквозь землю, если сказал хоть слово...

— И полуслова довольно для такой хитрой головы, какова Некоматова. Ты кричал везде и всегда, пел даже песню нашу при Некомате, и он все разведал, все узнал...

— Ах! сгинь он, окаянный! Да я ему сегодня же шею сверну — вот и концы в воду.

— Молчи и слушай. Ты знаешь, что Некомат был одним из любимых слуг князя Димитрия Константиновича — Симеон вырос при нем, и в былое время, когда глазки его Ксении зажгли мое ретивое, дело у нас было слажено. Но князь Борис завладел Нижним, Симеон бежал, и я следовал за князем. У Некомата сердце заперто в золотом сундуке его, но я прощаю ему, что он не расстался с Нижним и с сундуком своим. Он наш...

— О! если бы слова твои были правда!

— Слушай далее. Князь Московский послушался благого совета своей матери. Он теперь в Орде, и когда, поехавши туда, подле Симонова монастыря взглянул он в последний раз на Москву и на расставанье, горько заплакал, княгиня Евдокия Димитриевна молвила ему золотое слово: «Сын милый! не обижай дядьев, не тронь Нижнего! Москвы довольно тебе и детям твоим — так и отец твой думал!» Князь умилился и дал ей слово передать Нижний Симеону, Суздаль — Василью, а Бориса пересадить в Городец по-старому, когда бог принесет его подобру-поздорову из Орды. Тогда приехал в Нижний московский боярин Поле...

— Но ведь он приехал к Борису?

— Что станешь делать, когда в нынешнем свете и правду делать можно только через неправду — таков обычай повелся! Боярин Поле бражничал с Борисом и разведывал о доброхотах Симеона. Наших товарищей никто не знал, но Некомат перемолвился с Полем, догадался, а теперь они поладили, и за веселой беседой втроем мы все кончили!

— Кончили? Чем?

— Быть Симеону князем Нижегородским, под рукой племянника своего князя Московского, по благословению сестры его княгини Евдокии. Князю Василью отдать Суздаль, а князь Борис добро пожаловать по-старому в Городец! Завтра либо послезавтра явятся сюда послы татарские и московские. Христианской крови лить не будем. Придем к князю Борису и ласково скажем ему: «Не на своем столе сел, князь Городецкий...»

— И тогда-то запируем, товарищ! Вместе горе, вместе радость! Да здравствует Симеон!

— Тише, тише! Вон народ уж зашевелился. Ползут на белый свет суеты и заботы — пойдем скорее...

Они замолчали и спешили идти. Но, поравнявшись с домом Некомата, Димитрий остановился, посмотрел несколько мгновений на терема его и узорчатые кровли и невольно промолвил:

— Свет мой, невеста нареченная! почивай с богом, да просыпайся на радость! Взойдет и для нас красное солнышко!..

Когда от избытка радости говорил Димитрий, ворон сел на кровлю Некоматова дома. В тишине утра зловещий голос его раздавался, как вестник горя и несчастия,

и собака жалобно завыла на ближнем дворе. Димитрий содрогнулся — сердце у него замерло...

Солнце только что осветило Нижний Новгород и яркими лучами заиграло в струях Волги, как в ворота Некоматова дома застучали железным кольцом. Глухой стук в медную бляху раздался по улице, и через минуту полусонный дворник Некомата откликнулся, не отворяя ворот:

— Кто там?

— Добрые люди! — отвечал человек, стучавший в ворота и пожимавшийся от утреннего холода.— Отворяй!

— Да кого тебе надобно? — спросил опять дворник, унимая двух огромных собак, громко лаявших на дворе.

— Самого хозяина твоего, старый хрыч! Отвори скорее — разве ты меня не знаешь?

Ворча про себя, дворник отпер огромный висячий замок, отворил немного ворота, высунул голову и увидел человека в беличьем тулупе, огромного и толстого. Он хотел повторить свои вопросы, но, видно, гость не был расположен отвечать ему. Он грубо оттолкнул старика и вошел во двор. Собаки бросились на него.

— Уйми их, старый! — вскричал незнакомец.

— Сам уйми, московский барин! — отвечал дворник сердито.

На лай и шум отдернулось волоковое окошко и показалась голова Некомата.

— Кто тут шумит? — вскричал Некомат, но, увидев незнакомца, он переменил голос и ласково прибавил: — А! добро пожаловать, ранний гостенек, добро пожаловать!

— Вели проводить меня, Некомат! Дворник твой с товарищами загрызли меня.

— Тотчас, тотчас! — Волоковое окошко задернулось, и через минуту Некомат в засаленном полукафтанье и с огромною связкою ключей у пояса явился на крыльце. Гость вошел к нему.— Милости просим, боярин Белевут! — говорил ему Некомат, растворяя дверь светлицы.

— Крепко ты живешь, гость Некомат. Видно, что деньги бережешь.

— И, боярин! Какие у нашего брата, бедного торгаша, деньги! Уж так у нас заведено. Ведь мы не вам

под стать и полоротыми ворот никогда не оставляем. Есть и недобрый народ — как не бояться...

— А особливо, когда вот этакое добро водится в доме! — сказал Белевут, усмехаясь и указывая на множество соболей и лисиц, разложенных по лавкам, и на большую, окованную железом шкатулку, стоявшую на столе.

Некомат с трудом поднял шкатулку со стола и поставил под лавку:

— Извини, боярин, что прибраться не успел. Так, вздумалось было поразобрать товар — вчера купил. И кто ж думал, что так рано пожалует ко мне такой дорогой гость? Не знал я, что ты встаешь с петухами. Наши бояре долее залеживаются на своих пуховиках.

— Нет! этого я не скажу: у вашего князя уж давно хлопают бичами и трубят в рога на Соколином дворе. Он тоже, видно, следует Мономахову наставлению: вставать рано и день начинать с солнцем.

— Что и говорить, боярин! На охоту у нас рано встают, а дела так просыпают!

— Да и Нижний-то едва ли не проспали!

— Кажись, так,— отвечал Некомат, сомнительно взглянув на Белевута.

— Сказано — сделано, гость Некомат! Ведь мы обо всем переговорили, и я тебя еще вчера поздравил с дорогим зятем. Боярин Димитрий молодец хоть куда,— прибавил он, перебирая рукою рыжую бороду свою и усмехаясь.

— Добрый молодец, боярин,— отвечал Некомат, в недоумении глядя на Белевута.

— Ну, и не бедный, прибавь к тому!

— Княжескою милостью, боярин, а с нею и богатство будет.

— Ведь он старого рода, так как не быть у него и старинке отцовской!

— Какая же старинка, боярин, когда ему теперь головы негде преклонить! Да и отец его был такая беспутица и бестолковица! Бывало, обеими руками сорит деньги, дает встречному и поперечному, а кроме того, пиры да гульба, бражничанье да беседы! Дом у него был, как полная чаша,— и теперь еще есть остатки, правда, да не в руках. Но если по милости вас, бояр, и князя вашего Василия Дмитриевича Симеон будет князем Нижегородским, так Димитрий с лихвой получит все, чем из добра его завладел Румянец с

братией, и дочери моей, конечно, не придется самой варить щи.

— Но за такого честного боярина можно отдать дочку, когда и денег лишних у него не было бы...

— Оно так, да чем жить-то им будет, боярин? И курица пьет, а человек кровь и плоть — ест и пьет!

— Что тут говорить, Некомат! Честь чего-нибудь стоит!

— Честь не в честь, когда нечего есть, боярин. Правда, нашему брату посадскому с боярином породниться почесть немалая, но всё деньги притом не лишнее.

— Полно притворяться, гость Некомат. На твою долю станет и зятю дать еще останется. Будто в Нижнем и не знают, что у кого есть... Земля говорит!..

— Хоть и праведно нажитым, а хвалиться не буду, но господь помог мне скопить кое-что, чем под старость дней моих могу пропитаться.

— Видишь, в нынешнее время, Некомат, на том все вертится: и чин да почесть не столь надежны ныне, как ларец кованый, где боярство и княжество твои лежат спокойно и звенят, когда велишь им звенеть. Было бы на что купить, а то — что ныне не продается!

Некомат слушал в изумлении; губы его дрожали; слова замирали на его устах. Он хотел, казалось, угадать, что такое скрывал Белевут под своими обиняками, но толстое лицо Белевута было неподвижно. Играя концами своего узорочного кушака, он продолжал:

— Чего ты испугался, Некомат? Я взаймы у тебя просить не стану. Мне хотелось только сказать тебе, что я смотрю на все не такими глазами, какими, кажется, ты смотришь. Все вы глядите на Нижний свой, а что бы вам не поглядеть через него далее — ну, хоть и в Москву...

— Как нам забывать Москву, боярин! От нее и смерть, и живот. От вашего князя ждем мы теперь милости.

— От вашего! Говори вернее — от *нашего*.

— Как, боярин?

— Так, гость Некомат. Ужели тебе такая мысль в голову не приходила? Когда рука Московского князя может посадить и ссадить князя Нижегородского, тут много ли думать надобно?

— Боярин! что ты хочешь сказать? Вчера ты говорил, что князь Московский готов помогать нашему, показывал грамоту его...

Белевут встал и начал ходить по светлице. Он, ка-

залось, искал слов, не зная, как приступить к тому, что хотел сказать.

— Видишь что,— промолвил он наконец,— милости нашего князя неистощимы. Он щедр для тех, кто ему послушен, и грозен тем, кто его ослушается. В Москве и безопаснее, и привольнее житье. Кто поручится, что будет вперед... Ну, да я почитал тебя догадливее, гость Некомат! — вскричал сердито Белевут и взялся за свою богатую шапку.

— Боярин, господин честной и почтенный! — сказал Некомат, кланяясь,— не гневайся! Ведь и мы, посадские, смекнуть умеем. Ты загонул загадку, а отгадка-то, видно, после сказана будет?

— Умный и теперь ее угадает, гость Некомат,— отвечал Белевут, смеясь.— Не ручаюсь за вашего Симеона — ведь еще будет ли он послушен нашему князю, а не будет... так знаешь — старший брат волен меньшему и покрепче приказать — ну а нашему брату что мешаться в княжие дела? Было бы нам тепло, а у какой печки греешься,— тебе что до того? Да вот к воротам подвели моего коня. Князь Борис звал меня с собою. Некомат! понял ли ты меня! Верь дружбе Белевута и на старости не одурачь себя. И в Москве есть женихи для дочерей богатых гостей нижегородских!

Он вынул лист бумаги, на котором написано было множество имен.

— Видишь! — сказал он Некомату, указывая на имена Димитрия, Замятни и других, подле коих поставлены были киноварью крестики.— А вот и Некоматово имя! — Он указал на замаранное черными чернилами имя его.

Некомат побледнел, когда Белевут спокойно прибавил:

— А, вот этого молодца-то я и забыл,— и ногтем провел черту подле имени брата Некоматова, Федора, горячего приверженца Симеонова.

«Господи, вразуми меня!» — шептал про себя Некомат. Тут Белевут обратился к нему, но лицо Некомата уже прояснело. Никакого недоумения не изъявлял он и ласково, почтительно пожимал толстую Белевутову руку, провожая гостя с крыльца. Белевут еще остановился на первой ступеньке, подумал, шагнул еще — и воротился.

— Некомат!— сказал он,— во всем власть божия да княжая, а дружба Белевута не изменит тебе и понадежнее дружбы боярина без боярства!

Он сошел поспешно, сел на своего коня и поехал ко дворцу княжескому.

Скорыми шагами возвратился Некомат в светлицу, остановился, подумал, еще подумал и, как будто недоумевая, громко сказал сам себе: «Что же? Они думают погубить меня? Аль сберечь? Что говорил он вчера? А что теперь говорит? Боже, господи! Милостив буди мне, грешному!» Жадно озирался он кругом на груды соболей и чернобурых лисиц. «Вот,—вскричал он,— к чему и стяжание! Пособит ли оно тебе в час гнева божия? Ты смотришь на свое злато и сребро, а между тем боярин какой-нибудь ставит красный крестик подле твоего имени, и дни твои изочтены суть!..» В раздумье ходил он по светлице. «Однако ж,— вскричал он, остановясь,— не сули журавля в поле, а дай синицу, да в руки,— мне-то что же? Да! Безумный я был в то время, когда медом моим запивал посулы московские! Ждать бы мне, ждать, да и только — нелегкая меня дернула...» И поспешно стал Некомат складывать в сундук дорогие товары свои. Потом схватил он шкатулку и, нагибаясь под ее тяжестью, вышел в задние двери.

Между тем Белевут подъезжал ко дворцу княжескому, и из ворот дворцовых высыпало навстречу его множество сокольников и охотников, вельмож, бояр, а за всеми выехал сам князь Борис. Дорогой сокол сидел на руке его. Конь шел гордо и величаво.

— Здравия боярину московскому!— сказал Борис весело.— Насилу приехал ты, старый сокол! Пора, пора! Видишь ли, какой у меня молодец?

Он щелкнул в нос своего сокола.

— Сокол хорош, и пора тебе пошевелиться с места, пора, князь нижегородский!— отвечал Белевут.— Я ждал ответа боярина Румянца.

— Все готово, боярин,— сказал Румянец смеясь.

— Так поедем скорее. «Кто погуляет утром часа два, тот запасется здоровьем на два года»,— говорил мне когда-то армянин-лекарь.

— Сам сухой, как спичка, так уж как не поверить ему!— подхватил Румянец. Все засмеялись, и поезд княжеский отправился. Дорогой Белевут приблизился к Румянцу.

— Что, московский колдун? Сколдовал ли? — спросил его Румянец тихо.

— Высылай на Коломенскую дорогу. Они близко! — отвечал Белевут.

— Так пускай же князь тешится охотой,— шепнул Румянец,— а мы потешим его поладнее!

Он отстал от поезда княжеского в переулке, куда повернул Борис с своею свитою. Тихо простоял он там, пока все проехали, и поскакал назад. Ему попался боярин Поле.

— Что?— вскричал Поле.— Убаюкано ли твое дитя?

— Они распотешились охотою,— отвечал Румянец.— Далеко ли ваши?

— Не замешкают! Скачи во дворец и прибери все к рукам, да не положи охулы на руку.

— Вот еще о чем тревога!

Между тем князь Борис и свита его выехали из города. День был осенний, но прекрасный. Перед ними открылся вдали густой лес, через который пробита была торная дорога к заповедным болотам княжеским. Сокольники поскакали вперед — и вот длинноногая цапля поднялась над лесом, вылетела на дорогу — и княжеский сокол спущен. Он взвился стрелою, прямо к цапле, но цапля уже стерегла его, быстро перевернулась через голову, сокол промахнул — крик, хохот и шум охотников раздались по лесу. Сокол опять взвился и камнем пустился вниз, стараясь перебить ветер у своей добычи. Увертливая цапля видела опасность, хотела спастись от своего страшного преследователя и полетела в сторону. Все поскакали туда.

Вдруг вдалеке поднялась пыль. Казалось, что множество всадников скачут во весь опор. Князь и свита не могли понять: кто смел выехать на дорогу, где запрещено было ездить, когда князь охотится?

— Чего смотрят ваши сторожевые?— закричал гневно Борис.— Смотри, что за сволочь там шевелится? Схватить их, в город, в тюрьму!

— Князь!— отвечал один из бояр.— Сюда скачут какие-то всадники, и прямо на нас! Эй! сокольники, сюда, к князю!

В смятении столпилась вокруг князя Бориса свита его. Всадники приближались. Их было около десяти человек, с головы до ног вооруженных. Между ними отличался один одеждою и величественным ростом своим. Он скакал впереди всех.

— Господи помилуй!— вскричал князь Борис, перекрестившись.— Что такое? Ошибаюсь ли я? Симеон? Измена! Вы меня хотите ему выдать!

— Нет, князь!— вскричали несколько голосов. Мечи были обнажены и бердыши выправлены.

— Остановитесь, остановитесь!— издали кричал воин, ехавший впереди других.— Князь Борис! Тебе кланяется твой племянник: или ты не узнаешь меня? Я — Симеон!

— Как не узнать тебя, нежданный гость!— вскричал Борис.— Откуда птица вылетела? Зачем залетела на святую Русь?

Симеон остановил всадников своих. Все они сделались неподвижны по слову Симеона. Он один приблизился к Борису и хотел говорить.

— Отойди прочь, изменник, отступник,— закричал гневно Борис.— Спрашиваю тебя еще раз: зачем явился ты сюда? Или, как второй Святополк, хочешь ты зарезать нового Бориса?

— Родимый дядя хорошо привечает племянника!— сказал Симеон, горестно улыбаясь.— Боже, творец небесный! Диво ли, что православная Русь погибает! Дядя крамольничает на племянника, племянник отнимает добро дядино — и вот как встречает родня родного через два года разлуки! Здравствуй, князь Борис Константинович! Хоть не бранись, пожалуй, когда я не начинаю брани. Прежде Симеон не дал бы тебе в том переду, но время переходчиво — что делать! Дай мне свою руку, и помиримся...

— Мне с тобой мириться, выродок князей Суздальских!— Преклони колени и жди суда дяди твоего и князя! Возьми его, дружина!

Вдруг бросились несколько человек на Симеона. Он осадил коня своего и схватился за меч рукою.

— Прочь вы, сволочь наемная, цаплины дети! — вскричал он громовым голосом.— Со мной нет золота — и кто подступит ко мне, тот переведается с железом!

Дружина Симеонова прискакала к нему, видя его опасность. Еще раз остановил ее Симеон.

— Князь Борис! дай мне вымолвить слово. Разве я сумасшедший, что приду гнать тебя из Нижнего с десятью человеками или приду отдаться тебе руками? Удержи твою челядь и слушай!

— Отдай оружие!— вскричал князь Борис.

— На, возьми его!— отвечал Симеон и гневно ки-

нул к ногам его свой меч и свое копье.— Безумный князь! гибель над твоей головой, а ты скачешь по болотам за цаплями! Симеон не ходил по-твоему челобитничать о чужом наследстве у хана, а отнимал у тебя честным боем свое наследие. Я пришел к тебе мириться — мириться в час общей погибели! Не требую твоего привета и ласки — не гордись и знай: ты и я — мы погибли оба!

— Что ты смеешь говорить мне, бродяга?

— Господи! Пошли мне духа кротости!— вскричал Симеон, сложа руки и обратив взоры к небу.— Князь Борис! хорошо — я отдаюсь тебе — вели удалиться твоей дружине, и я расскажу тебе все. Три дня без отдыха скакал я в Нижний, и уж сутки не было у меня во рту макова зерна. Не врагом пришел я к тебе и не ссориться с тобою. Ты знаешь Симеона и поверишь, что, если бы не последняя мера суда божия на обоих нас,— ты не увидел бы здесь меня безоружного!

— Вижу, что ты пришел с покорною головою, Симеон,— сказал Борис, успокоенный поступками Симеона.— Теперь, здравствуй!

— Здравствуй, *раб князя Московского!*— отвечал Симеон, презрительно усмехаясь.

— Как? Ты смеешь мне сказать?..

— Поезжай скорее в свой дворец и встречай послов московских. Они теперь уж, верно, в Нижнем и привезли тебе подарки от хана.

Борис побледнел и оглянулся на своих воинов.

— Где Румянец?— вскричал он.— Где Белевут?— и затрепетал, не видя их. Общее смущение видно было на всех лицах.— Симеон! Ради бога скажи: что ты говорил мне? Какие послы? Какие подарки?

— Ох! князь Борис! И ты хочешь княжить в такое время? Он и не знает, что у него делается! Вот теперь-то спознаешь ты, кто тебе был враг настоящий и чего тебе беречься! Поедем скорее в Нижний — я все расскажу дорогою.

Он повернул коня. Безмолвно следовали за ним Борис и все охотники; с ними смешалась дружина Симеонова.

— Объясни мне, князь Симеон,— сказал наконец Борис,— что такое ты говоришь?

— Легко рассказать, да каково-то будет тебе слушать: ты уже не князь Нижнего Новагорода! Ты захватил мое наследие и не умел удержать его. Мне обещал отдать

его хан Тохтамыш, отдал тебе, а теперь подарил князю Московскому.

— Князю Московскому!

— Подарил, и с придачею Мещеры, Тарусы, Городца и Мурома. Хочешь ли ты ему отдать Нижний?

— Я? Нет! Никогда!

— Давай же руку, князь Борис,— я с тобой! Подкрепи бог твою храбрость, а не то дай мне управиться и с Москвою и с ханом!

Борис молча подал руку. Забытое воспоминание родства как будто растрогало его сердце. Он пожал руку Симеона.

— Жива ли княгиня моя?— спросил Симеон изменившимся голосом.

— Жива и здорова.

— А дети мои?

— Здоровы.

— А брат Василий?

— Также.

— Где же они? В тюрьме?— спросил дрожащим голосом Симеон.

— Нет!— отвечал Борис, скрывая свое смущение.— Княгиня твоя и дети живут сохранно в Георгиевском тереме, а князь Василий в Городце... под стражею...

— Бог с тобой, дядя! Сколько зла сделал ты нам твоею окаянною жадностью!— Симеон утер слезу.— Но что было, то было, и кончено!— примолвил он задумчиво.

— Князь Симеон! Я отдам тебе Городец и Суздаль.

— Спасибо! Щедро даешь, да еще дадут ли тебе самому хоть посмотреть на твой Городец!

— Вместе души, вместе руки, и — бог станет за правых!

— Правых, князь Борис? Ты сам себя осуждаешь! Но слышишь ли ты, что там такое делается?

— Кажется, бьют в набат на Спасской колокольне! О господи! Защити нас!

Быстрее прежнего поскакали они в город.

— Не думал я, что так скоро отзовется здесь голос хана!— сказал Симеон.— Видно, и москвичи медлили не долее моего. Поспешим!

Они взъехали на пригорок, с которого открылся им весь Нижний Новгород. По всему заметно было, что в городе большое смятение. Уныло отдавался набат, хотя нигде не видно было пожара. Народ бегал по улицам.

Воины, полуодетые, бежали из домов своих. Борис и Симеон въехали в город и смешались с толпами народа. Напрасно спрашивали они, что такое сделалось,— никто не знал. Все были испуганы набатом и спешили на площадь.

Там толпы народа уже сбежались со всех сторон. Воины нижегородские стояли рядами. Перед ними на коне был Румянец и что-то горячо говорил им. Увидя Бориса, он остановился в смятении...

Ни один человек в Нижнем Новегороде не оставался спокоен. Народ любит бежать на всякий шум, а теперь еще более все взволновались, видя, что в городе сделалось что-то необыкновенное. Набат, воины, собранные рядами у дворца,— все было непонятно нижегородцам. Говорили, что татары подступают к городу; что Симеон пришел к Нижнему с войском — кричали, спрашивали, отвечали и не знали, что такое говорят. Жены, дети стояли подле ворот домов своих и нетерпеливо преследовали встречного и поперечного вопросами:

— Что там такое, родимый, сделалось?

У Некоматова дома была толпа его челядинцев, стариков, старух, детей. Разинув рты, смотрели они на волнение, когда подскакал к ним воин на борзом коне и в светлом шеломе.

— Дома ли гость Некомат?— вскричал он.

Изумленные зрители не знали, что сказать ему.

— Верно дома!— сказал воин, спрыгнул с коня своего и побежал в светлицу.

— Ведь это боярин Димитрий?— говорили между собою свидетели неожиданного явления.— Откуда он взялся? Зачем он здесь?

Димитрий толкнул в двери светлицы; они были заперты. С лестницы терема тащилась старая няня Ксении.

— Где гость Некомат, старушка?— спросил Димитрий.

— В саду, батюшка,— отвечала няня,— прикажешь позвать его?

Но Димитрий не дослушал слов старухи и бросился в сад. Там, в углу между деревьями, увидел он старика. На коленях, нагнувшись к земле, закрывал Некомат пожелтевшими листьями дерев место, где заметно взрыта была недавно земля. Голос Димитрия заставил его содрогнуться. Он оборотился, испуганный, и не знал, что сказать ему.

— Готов ли ты на дело, гость Некомат? — вскричал Димитрий.

— Готово, сердце мое, готово! — отвечал Некомат, отталкивая ногою заступ, брошенный на землю.

— Что значит твое смущение, твой встревоженный вид! Зачем ты здесь — в саду?

— Я... я хотел бы знать, боярин, что за нужда тебе спрашивать? Куда ты спешишь? Зачем я тебе надобен?

— Колокол говорит тебе, Некомат, что мы начали свое дело. Вижу, что ты делал здесь: золото твое не давало тебе покоя, пока ты не схоронил его!

— Дивлюсь, бояре, что вам все чудится у меня золото, и вы только и доспрашиваетесь его у меня!

— Некомат! Не схоронил ли ты с золотом твоим усердия к правому делу? Готов ли ты?

— Куда же, боярин? На что мне быть готовым? Бога ты не боишься — середи бела дня приезжаешь ко мне... Ну, если увидят...

— Что с тобой сделалось, Некомат? Чего ты боишься? Не кончено ли все было вчера? Теперь скрываться нечего — власть князя Бориса скоро разлетится, как дым! Все готово... Поспешим на Спасскую площадь! Мои молодцы все в сборе!

— Боярин! Зачем же я-то туда пойду? Человек я старый, не ратник, не воин... Дело, может, дойдет до мечей... Боярин Димитрий! И ты себя побереги — ради меня — ради моей Ксении — твоей Ксении...

Димитрий в изумлении смотрел на Некомата, бледного и трепещущего. Жалкая трусость видна была во всех движениях старика. Резкий звук трубы раздался вдалеке — другой звук отвечал ему с другой стороны.

— Слышишь, Некомат? Вот съехались и удальцы мои! Они подают вестовой голос. Идешь ли ты с нами?

— Ради Христа, боярин Димитрий! Голова моя кружится... Позволь мне молитвою участвовать в вашем деле... Благословляю тебя отцовским благословением... Береги себя, сын мой!

— Если мне судил бог положить душу за моего князя, — умру радостно... Но я точно ошибся, Некомат: ты не годишься на наше дело... Я полагал в тебе более смелости. Жди же меня, или мертвого, или... Прощай!

Громкие клики раздались перед садом. Блестящие оружия показались вдали.

— О! ради бога! Пойдем к ним! — вскричал Некомат. — Пойдем к ним! Тебя ищут — не приводи их сюда!

Он поспешно пошел из сада, оглядываясь во все стороны с ужасом и трепетом. На дворе Некоматовом было множество всадников. Ворота были настежь растворены, и перед ними еще более видно было пеших и конных воинов и народа с дрекольем. Только что показался Димитрий с Некоматом, как брат Некомата Федор со смехом закричал им навстречу:

— Вот они оба! Поздравляю тебя, боярин: ты умел вытащить и моего тяжелого братища! Что, Некомат, не отсиделся?

— Федор! Я всегда был душою за Симеона!

— Кто ж узнает вас, хитрецов! Боярин! Пора, пора — мои все здесь! Только Замятня бог весть где девался!

— Что вам до него — он свое дело знает!

— Коли так, то мешкать нечего — с богом! Белевут только что проехал здесь. Он звал нас к Спасу и сам велел бить набат. Московские воины и послы уже в городе и едут прямо туда. С ними и ханский посол.

— С богом!— Димитрий вскочил на коня.— Прощай, Некомат,— молись за нас усерднее!

— Как: молись? Разве он не с нами?

— У него голова болит и кружится. Оставьте его.

— Нет, нет!— вскричали множество голосов,— он хитрит! Не пускать его!

Только тогда заметил Димитрий, что многие из воинов и народа были пьяны. Он хотел защитить Некомата. Толпа зашумела — начался спор. Смело растолкал Димитрий толпу, но послушание было потеряно. Тут прискакал еще воин.

— Ребята! Товарищи!— вскричал он,— мы ошиблись: Борис не дремлет! Его дружина собралась подле княжеских теремов. Приверженцы Бориса поднялись! К делу скорее — там наших бьют!

Смятенный крик раздался в толпе:

— За Симеона! За Симеона!

Все бросились в беспорядке на улицу, но Некомата не оставили. Его ухватили за ворот.

— Спасите меня!— кричал он дрожащим голосом.

Димитрий был уже далеко и скакал по улице в тесноте народа.

— Кричи с нами! Иди с нами!— шумели вокруг Некомата.

— Дайте мне хоть шапку взять!

— Уйдет — не пускать! На́ мою!— вскричал один

из толпы и надвинул на него свою шапку. В отчаянии закричал Некомат громко:

— Да здравствует Симеон!— и его увлекли в толпе и смятении.

Тихо и спокойно светило солнце на суеты земные. Ни одного облачка не было на небе. Ветерок веял освежительным холодком. Неизменяема была природа — волновались только люди. Все страсти разыгрались на просторе буйного своеволия.

По условию с Белевутом, Димитрий собрал к Некоматову дому всех своих сообщников. К ним пристало множество недовольных князем Борисом и его боярами. Воины Симеона, жившие скрытно в Нижнем, все явились в условленное время. Безумцы! Они не знали, что коварство готовило только сети для их погубления!

Разнообразное скопище, предводимое Димитрием, шумно бежало к Спасской церкви, где глухим воем отзывался набат.

Димитрий был впереди всех. Но только что хотел он повернуть на площадь, как навстречу ему прибежал воин:

— Боярин! будь осторожен: дело наше худо!— вскричал он.

— Что ты говоришь?

— Послы московские уже там. С ними посол хана, но знаешь ли, кто посол ханский? Царевич Улан!

— Избави бог! Зачем послал Тохтамыш его, а не иного?— И Димитрий бросился опрометью — за ним последовали другие. Толпа, где находился Некомат, отстала от них. Вот с боковой улицы бежит другая толпа и кричит громко:

— За Бориса! За князя Бориса!

— За князя Симеона! — отвечали яростно приверженцы Димитрия.

— Прочь Симеона!

— Прочь Бориса!

Тут в бешенстве бросились обе толпы друг на друга. Но приверженцы Бориса были сильнее. В несколько минут рассеялись заступники Симеона. Молодой боярин Бориса ринулся в самую середину скопища с мечом в руках. Некомат успел вырваться и броситься к нему.

— Ты зачем здесь, гость Некомат?— вскричал боярин.

— Я за Бориса, кормилец, я за Бориса!— едва мог проговорить Некомат, задыхаясь.

— Добрый человек, но как же попался ты к ним?

— Неволею, боярин! Меня прибили, уволокли!

— Я твой защитник — пойдем с нами!

И Некомат, махая чужою шапкою, пошел с боярином и его дружиной при громких кликах: «За Бориса! За Бориса!»

Так стремились со всех сторон буйные толпы народа. В смятении почти никто не знал, что делает и куда бежит. Это предвидели, этого ждали Белевут и сообщники Москвы.

Близ церкви Спаса, в тесноте народной, видны были блестящие ряды многочисленной Московской дружины. Юный князь Димитрий Александрович Всеволож предводил ими. Несколько татарских воинов и посол ханский, царевич Улан, на вороном арабском коне горделиво стояли там, опершись на копья. Рядом с царевичем был другой знаменитый татарин, мрачный, угрюмый и седой как лунь.

Задыхаясь от жара и усталости, подъехал к ним Белевут, слез с коня, низко преклонился пред послом хана и дружески обратился к князю Димитрию.

— Насилу дождались мы вас, князь Димитрий!— сказал он.— Мы работали здесь обеими руками, и работы было нам довольно!

— Все ли ты сладил, боярин?

— Все, все. Вам остается только взять Нижний. Дураки думали, что и в самом деле мы хотим помогать их бродяге Симеону — они взворошились, а мы в мутной воде рыбы наловили.

— Мастер своего дела! Князь скажет тебе спасибо. Кроме Белевута, не всякий бы захотел здесь быть рыбаком.

— Ты еще молод, князь Димитрий, и не знаешь, что с твоей храбростью ничего не сделал бы ты против ретивых нижегородцев. Ловко умел я облелеять князя Бориса, нашел друзей, но этого еще было недовольно. Нижний начинен приверженцами Симеона. Бешеная храбрость его кружит головы всем, и удаль нижегородская рада была вступиться за него. Да что? Были такие молодцы, что тайно скрывались здесь и крамольничали. Все высмотрено мною — замечены все их удалые головушки! Довольно было попировать с ними десятка два раз и уверить их, что князь Московский идет защитить Симеона, так они и выложили сердца на ладони. От крепного меду их еще болит у меня голова — легко

ли: недели три изо дня в день я принужден был бражничать с ними, да ведь иной раз, что называется, до положенья риз! Зато они вереничкой придут сюда, и мы возьмем их руками.

— Что же делать с ними?

— А что бог даст! В Волгу — так в Волгу, а нет — так в Москву их или передать татарам, а лишнее у них обобрать!

Князь Димитрий с презрением отвернулся от него. Белевут горделиво взглянул на Димитрия и проворчал сквозь зубы:

— Молодой зверок, а как нос задирает, да мы с тобой переведаемся в Москве!

Тут приблизился к ним толмач и объявил, что царевич Улан требует к себе бояр московских. Они окружили Улана, сняли шапки и слушали, что он начал говорить им. Улан требовал налицо князя Бориса:

— Вы привели меня на площадь, но я не торговать приехал к вам, а объявить, чтобы князь Нижегородский передал Московскому свое княжество. Приведите его ко мне!

— Мы ждем его сюда, знаменитый царевич!— отвечал князь Димитрий.

— Да я не хочу ждать! Подите и скажите ему, что непослушание его будет наказано. Посол могущего хана, повелителя Русской земли, не повторяет своего приказа.

Он поправил шапку и гордо подперся рукой. Седой товарищ его хранил угрюмое молчание. «Проклятые гордецы!— проворчал князь Димитрий, крепко сжимая рукоять сабли своей и отвращая гневный взор свой от ненавистных татар,— когда-то рассчитаемся мы с вами!»

Сюда, в сети врагов, спешили безрассудные приверженцы Симеона. Хитрая уловка московских бояр одним ударом подсекла все опоры Нижнего Новагорода. Измена Румянца и бояр Борисовых отдавала их в руки беспечного князя Бориса без боя, без сопротивления. Он не знал даже о приближении послов ханских и московской дружины, быстро мчавшихся из Коломны, где остановился на время князь Московский Василий Димитриевич, возвращаясь из Орды.

Там, встреченный приветствиями вельмож своих и кликами народа, пришедшего навстречу ему из Москвы и окрестных городов, он обнял радостное семейство

свое и известил боярскую думу о решении хана. Изумлялись успеху предприятия, почти неожиданного. Сильное Суздальское княжество подпадало власти Москвы, с областями, даже и не принадлежавшими к Суздалю и Нижнему Новугороду. Думали, однако ж, что Нижний не поддастся Москве без сопротивления. Многие полагали даже поход на Нижний делом необходимым. Между тем и другие известия, привезенные князем из Орды, тревожили бояр. Князь расстался с Тохтамышем на берегах Волги, где Тохтамыш ждал противника страшного и могущего. Тимур, гроза азийских царей, победитель Персии, властитель Вавилона, Бухарии и Грузии, приближался с бесчисленным войском. На Волге должна была решиться вражда, горевшая между двумя страшилищами народов. Опасение Тохтамыша за успех видели из его ласкового приема князю Московскому, из решения, коим он отдавал Москве обширную область своего союзного князя, только что за год перед тем получившего ее в обладание от самого Тохтамыша.

Кто мог узнать, чем кончится битва Тохтамыша с Тимуром? И если богу угодно было решить участь борьбы в пользу Тимура, Русской земле, может быть, грозило нашествие страшнее Батыева. Москва могла пожалеть тогда даже о падении цепей, наложенных на нее Тохтамышем. Тимур тяготел над Русью, как тяготеет тяжелая неизвестность будущего над головою человека, испытанного прежним бедствием и окруженного угрожающими предвестиями, как гроза, чернеющая вдали на краю небосклона, страшит земледельца, у которого молния недавно попалила поле и сожгла хижину.

В таких обстоятельствах нельзя было отвести от Москвы войск, собиравшихся отвсюду. Надобно было встретить общую опасность, соединявшую всех под знамена Москвы. Опытные бояре, окружавшие юного князя Московского, не хотели соблазнять Руси междоусобием в то время, когда и небесные знамения предвещали ужасы и бедствия. Каждый вечер, каждое утро кровавая заря загоралась на небесах. Не хотели упускать случая присоединить к Москве области богатые, многолюдные, сильные, но не могли решиться на рать с Нижним Новгородом. Всего более страшил Москву Симеон, смелый, отважный сын бывшего князя Нижегородского.

Бояре помнили дела Симеона. Наследство княжества Суздальского было давним предметом споров между Димитрием Константиновичем и братом его Борисом.

Димитрий, добрый, но слабый, еще при жизни своей вверил правление сыновьям. Он был в милости у хана Агиса. Когда Андрей, князь Нижегородский, скончался, Димитрий, княживший в Суздале, объявил права свои на Нижний, но Борис, брат его князь Городецкий, захватил престол Нижегородский. Димитрий прибегнул к помощи Москвы. Увидели зрелище невиданное: из Москвы не воинство явилось, не рать сильная пришла — явился смиренный пустынножитель Сергий, муж святой еще при жизни. Он судил двух братьев и осудил Бориса. Неповиновение осужденного страшно наказано было святым человеком: Сергий затворил храмы божии в Нижнем Новегороде и грозил проклятием. Нижегородцы со слезами молили его простить их. Борис затрепетал, уступил, и благословение пустынножителя возвело Димитрия на престол. Смерть Димитрия через несколько лет возродила новые распри. Симеон от смертного одра отцовского послан был в Орду требовать Нижнего как своего наследия. Туда явился и Борис. Золото покорило ему сердца вельмож ханских, но Симеон не смирился, бежал из Орды в Москву, и Димитрий Иоаннович, тогда еще княживший, подвигся на защиту племянника. Борис укрылся в Городце, наследном княжестве своем, уступил Нижний Симеону, но снова явился в Орде, полгода кланялся хану, обещал дань и покорность — и выкланял Нижний. Напрасно Симеон спешил в Орду из Москвы, где посещал вдову, сестру свою княгиню Евдокию, оплакивавшую преждевременную смерть героя Донского,— его ожидали цепи. Борис тверже прежнего сел на престол Нижегородский. Но непродолжительно было торжество вероломного хищника. Двор ханов ордынских представлял тогда позорище смятений и неустройств. Все покупалось золотом. Веры и верности не знали. По призыву хана юный князь Московский, сын и преемник Димитрия Донского, явился в Орде. Тохтамыш, беспокоимый слухом о Тимуре, хотел уладить мир с Москвою, уже сильною среди других русских княжеств. Бояре юного князя Московского, несмотря на бедственные предвестия новых ужасов отчизны, не хотели оставить без пользы милостивого приема ханского: они просили Нижнего и Суздаля. Тохтамыш разодрал грамоту Борисову и отдал Нижний Москве. В число статей договора включен был вечный плен Симеона в Орде. Но у Симеона были друзья, и он сгиб и пропал из Орды. Мы видели, где очутился он.

Если бы московские бояре не были дальновидны и

не отправили заранее в Нижний Белевута, боярина московского, хитрого и опытного в делах, покорение Нижнего было бы невозможно. Мы видели, как успел Белевут усыпить князя Бориса, умел найти изменников в окружавших его вельможах и между тем узнал тайных сообщников Симеона. Сношения Белевута с Москвою были беспрерывны. И когда московские бояре думали и не знали, на что решиться, известия от Белевута показали им, что хитрость уже успела сделать, чего недоумевала их мудрость. Белевут просил только поспешнее присылать дружину и послов ханских, уверяя, что Нижний покорится. Дружина и послы отправились. Он уговорил между тем сообщников Симеона возмутиться в самый день приезда их. В смятении легко можно было управиться со всеми.

И тогда, если бы князь Борис был деятельнее, если бы Симеон успел приехать в Нижний днем ранее,— ничто не помогло бы Белевуту. Один день... Но теперь все было потеряно. Князь Борис, встревоженный волнением сообщников Симеона, не слушал никаких убеждений его. Разгневанный смятением, он укорял его в измене и велел наложить на него цепи, а Румянцу с дружиною разогнать сообщников Симеона, пока сам отправлялся принимать ханских послов на площади у Спасской церкви.

Несчастный князь! Едва явился он туда, посол ханский объявил его княжество областью Москвы и бросил перед ним грамоты Тохтамыша, коими Борис возведен был на княжество. Подле той темницы, куда, по его велению, повержен был Симеон, посадили и его, обремененного оковами. Бояр его развезли по разным областям Московским. Буйные сообщники Симеона встречены были пищальным огнем московской дружины. Невиданное дотоле действие губительного оружия ужаснуло их — все разбежались, и на другой день в Нижнем Новегороде все было тихо и спокойно. Три дня угощал Белевут царевича Улана и татар в княжеском дворце. Пируя, они забыли даже закон Мугаммеда, пили вино из золотых кубков княжеских и прятали их к себе за пазуху, на память угощения, как всегда велось у татарских послов. Белевут проводил их за город, низко поклонился им и поехал в Москву поздравить своего юного князя князем *Нижегородским* и *Суздальским.* С ним поехали избранные люди Нижегородские.

Кто были сии избранные? Где были тогда Димитрий,

пламенный юноша, всем жертвовавший своему князю, и Замятня, неосторожный, но верный дружбе и усердию? Где был Некомат, сребролюбивый, бездушный скряга? Что ожидало Белевута при дворе князя Московского?

Там, где вьется струистая Сетунь и где воды Раменки пробираются по каменистому дну в Москву-реку, рос в старое время густой лес. Простираясь на Воробьевы горы, в другую сторону он выходил далеко на Дорогомиловскую дорогу. По Сетуни и около нее в лесу рассеяны были хижины села Голенищева, принадлежавшего Московскому митрополиту. Среди них белелась церковь Трех Святителей. Подле нее был дом митрополита. Старец Киприан, испытанный скорбями и опытом жизни, часто удалялся сюда, в место «безмятежно, безмолвно и спокойно от всякого смущения». Здесь иногда долго вечером светилась лампадка в его келии, и он, умерший настоящему, жил в прошедшем. Окруженный *ветшаными* книгами, он вникал в сокровенный смысл писаний святых отцов, разбирал премудрость эллинов и по следам «вещателей веков прошедших» описывал деяния князей русских, жития святых и добропобедных мучеников или прелагал эллинские книги на язык русский, который сделался ему родным в продолжении долговременного пастырства его в Москве и Киеве.

Еще не подавали огня, и вечерняя заря тускло светила в окна митрополитской кельи. Киприан сидел за большим столом. Вокруг него лежало множество пергаментных списков и бумажных свертков. Против него сидел благообразный инок. Они только что кончили чтение рукописи. Жар, оживлявший инока, еще горел в очах его, устремленных на святителя,— подобно яркой лампадке, теплящейся над гробом, сияли взоры его, хотя бледное лицо показывало отречение и умертвие его всему земному. Долго и безмолвно внимал ему Киприан и потом сказал тихо:

— Благ подвиг твой, инок Димитрий, и усладительна беседа твоя! Изучая премудрость премудрых, ты не скрываешь светильника под спудом, ставишь его на свещнице, да светит всем, сущим в храмине! Ты передаешь нам вещания велемудрого Георгия Писидийского и, напутствуя души христиан к созерцанию дел божиих, будешь благословен благодарностию соотчичей, услажденных трудом твоим!

— Владыко! — смиренно отвечал инок, — если труд мой будет награжден хвалою мира, я отнесу хвалу сию на алтарь смирения моего пред волею божиею, внушившею мне мысль передать на родном языке книги премудрого Георгия. Рано отрекся я от мира и ничего не требую от сильных земли. Созерцая с святым Георгием творение бога, хваля его устами смиренными, я награжден с избытком и за бдения мои, и за труд малый, но усердный!

— Так, ты прав! Мир не для того, кто вкусил сладость беседы мудрых мужей, умерших плотию, но живых духом в творениях бессмертных — не для того он, кто познал суету и тщету мира и во прахе земли витает мыслью на небесах! Тяжка земная жизнь человеку праведному, тяжек мир человеку, бегущему суеты! Димитрий, ты блажен, что мир не преследует тебя в тихой келии твоей, и суеты его не врываются к тебе сквозь монастырские затворы! Сколько раз воспоминал я о келии Хиландартской, где протекла моя юность, где молитва и труд готовили жертву богу, еще не оскверненную суетами, и где в тишине дух мой возносился к Вездесущему, или беседовал с мудрыми и святыми мужами!

— Но, владыко, судьба вела тебя с берегов моря Эгейского быть пастырем стада великого!

— Не ропщу на волю его и благословляю перст божий, указавший мне путь к полунощи! Но сколько страданий претерпел я среди трудов о пастве, скольких бедствий был свидетелем, сколько раз падал я, искушаемый наваждением сует! И ныне, верь мне, только здесь нахожу я покой, только, сюда удаленный, внемлю я гласу души моей, как елень на источники водные, стремящейся в небесную отчизну свою! Там, в Москве, суета поедает дни мои — время бытия моего гибнет в смущении, и вечность задвигается миром малым и суетным! Блеск и почести — я бегу от них, они гонятся за мной и влекут меня с собою! Вчера, возвратясь сюда, в уединение мое, после беседы князей и бояр, где уныние и грусть о судьбе Руси терзали нас скорбью, послушай, что написал я...

Киприан выдвинул лист бумаги из других, лежавших на столе, и прочитал: «Все человеческое множество, общее естество человека оплачем, злосчастно богатеющее. Земля — смешение наше, земля покрывает нас, и земля — восстание наше. О дивство! Все шествуем мы от тмы во свет, от света во тму, от чрева матери с плачем в мир, и мира сего с плачем в гроб: начало и конец жизни — плач. Сон, тень, мечтание — красота житей-

ская! Многоплетенное житие как цвет увядает, как тень преходит».

Когда Киприан кончил чтение и безмолвно преклонил голову в смутной думе, кто-то постучался в дверь келии и проговорил тихо:

— Господи Исусе Христе, сыне божий, помилуй нас!

— Аминь,— отвечал Киприан.

Дверь отворилась. Князь Василий Димитриевич вошел первый, подошел к благословению митрополита и приветствовал его. Инок Димитрий робко встал, видя своего государя и повелителя. Василий, едва вступивший в юношеский возраст, был не величественного, но важного и сурового вида. Морщины уже видны были на челе его и показывали в нем ум твердый, нрав неуступчивый. Богатый бархатный *терлик* и шитый шелками *охабень* были на него надеты, и сабля его блистала дорогими каменьями. За ним шел старец, высокого роста, седой, но еще не согбенный летами; то был князь Владимир Андреевич *Храбрый*. Бояре следовали за ним. Между ними был и толстый Белевут. Инок Димитрий низко преклонился перед всеми и вышел.

Задумчиво остановился он в ближней комнате, где келейник митрополита в бездействии дремал, сидя на лавке и сложа руки. Потом вышел в обширные сени, где широкие стеклянные оконницы были растворены и крашеные скамейки показывали, что митрополит здесь сидит иногда, наслаждаясь прохладой вечера. Долго смотрел Димитрий в растворенное окно, как тени вечера ложились на окрестные леса и горы, как обширная Москва вдалеке засвечивалась огнями и как Москва-река извивалась вблизи полукружием около Воробьевых гор. Перебирая четки, повторял он: «Дивны дела, твоя, господи, яко вся премудростию сотворил еси!» Вдруг вошел келейник митрополита и сказал, что митрополит требует его к себе.

Не понимая, зачем могли призывать его в совет князей и бояр, инок шел робко. Подходя к келии митрополита, он услышал многие голоса — заметно было, что говорят с жаром. Димитрий вошел в келию. На столе горели две свечи. Князь Василий и князь Владимир сидели подле Киприана. Бояре стояли в отдалении. Разговор прекратился.

— Князь!— сказал Киприан,— инок сей мудр и благочестен. Ты можешь вверить ему все тайны. Он знает греческий язык и прочитает нам послание.

Князь молча вручил Димитрию свиток.

То было письмо грека, издавна жившего при дворе Ордынских ханов. Он был некогда послан из Греции еще к хану Муруту, и звание лекаря доставило ему милость и любовь всех после Мурута ханов Золотой Орды. Димитрий просмотрел письмо, и руки его задрожали. Нетерпеливое ожидание видно было во взорах князей и бояр. Трепещущим голосом начал он читать и переводить:

«Как единоверного государя и благодетеля моего, спешу уведомить тебя, благоверный князь, что судьба Золотой Орды решена. Тимур-хан победил. Тохтамыш разбит, бежал и скитается в твоих, государь, или князя Витовта областях. Но горе нам, горе твоей Руси, горе благоверной Византии! Огнь и меч Тимура сравняли ханские терема с землею — уже нет ханского Сарая; погибло великое, погибло и малое: и мое убогое стяжание расхищено. Не забудь, государь, меня, твоего доброхота и радушника! Пишу к тебе, государю, среди развалин, потоков крови и груд смердящих трупов. Тмы тем татар Тимурхановых, как саранча, хлынули на берега Волги, и ни возраст, ни пол, ни род, ни сан — ничто не избегло гибели, посрамления и неволи! Железа недостает на цепи, и мечи воинов проржавели от запекающейся на них крови. Уведомляю тебя, государь, что Тимур-хан есть один из бичей, посылаемых на человеков гневом божиим, пред коими исчезают и глад и хлад, равняются горы и высыхают реки, отверзая им пути. Страна есть некая, между царством Попа Ивана и Скифиею Великою, именуемая Арарь, и в ней родился, не от царя и не от старейшины, Тимур, свирепый, лютый, кровожадный. Говорят, что три звезды упали на небе, когда он родился, и гром трижды загремел зимою. Он был разбойник. Сперва грабил стада, но, пойманный пастырями, был ими зельно бит. Они изломали ему ногу. Он же перековал ногу железом, и от того наречен *Темир-Аксак*, иначе же *Тамерлан*, иже переводится *Темир-хромец*. И завоевав всю Арарь с немногими разбойниками, потек он на другие страны, и от Синия Орды исшел в Шамахию и Персиду, где преклонились пред ним цари и князи и военачальники, богу гордым и злобным на время попускающу. Тимур хочет перейти пучины Окияна и победить весь свет, и взять Индию и Амазоны и Макарийские блаженные острова; и уже приял он Ассирию и Вавилонское царство, и Севастию, и Армению и все тамош-

ние орды попленил, и се имена их: Хорусани, Голустане, Ширазы, Испаган, Орнач, Гинян, Сиз, Шибрен, Саваз, Арзанум, Тефлис, Бактаты, и ныне Сарай Великий и Чегадай, и Тавризы и Горсустани, Обезы и Гурзи. Был он и в Охтее, и приял Шамахию, и Китай, и Крым. Шел он на Орду безвестными степями, шесть месяцев не видал ничего, кроме неба над головою и песка под ногами; за полгода вперед сеяли просо для прокормления его войск. И сам Тимур яростен, злобен, пьет кровь и питается — страшно изречь — человеческою плотию! И слыша все сии вести, грозные и страшные, по вся дни обносящиеся, ужасом все исполнились и все страхом велиим и печалию одержимы пребывают. Грозится Тимур достигнуть и второго Рима, велелепные Византии, и обтечь всю землю. И слышу, что царь наш Мануил Великий, не забывший и прежние богопопустные скорби, печалуется единому богу и на него единого возлагает упование...»

Здесь слезы заструились из глаз Димитрия, и бумага выпала из рук его. Все безмолвствовали.

— Владыко! что нам предпринять? — спросил Василий, не изменяя своего угрюмого вида.— Мы ждали битвы Тохтамыша — она решила гибель его... Теперь настала чреда Руси. Темир-Аксак идет на нас.

— Князь! На бога возложи печаль твою и молись! Тот, кто источил воду из камня жезлом Моисея, кто рукою отрока Иессеева поразил Голиафа, не попустит тебе и православию погибнуть!

— Но должен ли я безмолвный ожидать грядущего бедствия? Хочу стать с оружием против врагов церкви и отчизны моей, хочу поставить щит свой против злого хищника!

— Послушай совета моего, юный князь, меня, младшего по чину, но старейшего летами,— сказал князь Владимир.— Так некогда мы думали с отцом твоим и шли бороться против безбожного Мамая. Какая великая година чести была Русской земле, когда мы в полях Куликовских пели победную песнь на костях врагов! Богу угодно было моей руке предоставить удар, от коего пал Мамай и рассыпалась гордыня его. Но едва прошло два года, и Тохтамыш испепелил Москву. Суетны надежды человеческие! Нейди сам на беду и жди, пока не придет она!

— Должно ли мне сказать дружинам, отвсюду ко мне идущим: идите вспять — я не смею вести вас на битву?

Должно ли самим себя оковать, прийти к Темир-Аксаку и раболепно преклонить пред ним колени?

— Нет! Будь на коне, но не ратуй. Стереги Москву и молись о спасении. Тщетно оружие там, где гнев божий ведет грозу и погибель!

— Так, князь, таково и мое мнение,— сказал Киприан.— Бог, без чьей власти не погибнет и влас с главы твоей,— защита вернее воинства.

— Владыко! Ты не слышишь здесь воплей народа, не видишь горестных жен, бродящих с безутешными детьми, старцев, отчаянных на краю гроба! Нет! Я пойду отсюда, пока плач жен и вопли детей не погубили моей силы душевной! Прошу тебя, князь Владимир, быть в Москве и защищать ее, и если мы падем в неравной битве, твои лета и твое мужество порукой за храбрость малой силы, какую оставлю тебе.

— Князь!— отвечал Владимир,— очисти же себя от греха, прекрати усобицу, губящую Русскую землю,— умири совесть твою и не отринь совета старца — отдай Нижний Симеону!

— Нет — тому не бывать! Вспомни, князь Владимир, что я запретил даже и говорить мне о Симеоне!

— Князь! Вспомни о бедствии, грозящем России, вспомни, что в день суда божия горе будет человеку, алчущему корысти! Коварство и измена предали в руки твои деда твоего и дядей твоих, но горе зиждущему дом свой неправдою! Отдай Симеону его наследие!

— Не говорите мне ни ты, владыко, ни ты, князь Владимир,— я не отдам Нижнего!

— Страшись и блюдись, да не постигнет тебя бедствие, которое ты готовишь другим!

— Нет! Не на того падет гнев божий, кто хочет собрать воедино рассыпанное и совокупить разделенное! Не ты ли первый, князь Владимир, уступил мне право первородства? Благо тебе, но Симеон и Борис противятся мне — они противники власти, данной мне от бога, а не законные наследники, и меч правосудия тяготеет над главами их! Так я думаю, так должны все думать.

— Молод, а умен,— сказал Белевут, входя в светлицу своего боярского дома и сбрасывая свой боярский ферезь,— молод, а умен князь наш! Никто не уговорит его выпустить из рук, что однажды ему попалось. Поздравляй меня, Некомат, наместником Владимира и

Суздаля!— прибавил он, обращаясь к Некомату, который дожидался его возвращения и низко кланялся ему, стоя подле дверей.

— Садись,— сказал Белевут, отодвигая дубовый стол от лавки,— садись и поговорим о деле.— Некомат сел и придвинулся к боярину.

— Слушай: князь наш одобрил все, что я сделал. Завтра объявят торжественно о присоединении Нижнего к Москве, и тебя и Замятню допустят к князю как избранных посланников нижегородских. Что за шубы подарят вам — загляденье!

— Печорских аль сибирских соболей, боярин?— спросил Некомат, усмехаясь. Белевут захохотал.

— Признайся, гость Некомат, что Белевут помнит дружбу. Как было оплошал ты, вступившись за Симеона! Теперь все у тебя цело, все сохранно...

— Слепота, батюшка боярин, слепота окаянная пришла на меня! Тут недобро было — демонское наваждение влекло меня, прости господи!— Некомат плюнул на обе стороны и перекрестился.

— То-то слепота, старая ты голова! Надобно слушать добрых людей, кто тебе впрямь добра желает! Теперь отпустят тебя и Замятню с честью и почестью.

— И Замятню, боярин?

— Да, ты знаешь, какую услугу оказал он нам в тогдашнем переполохе: он указал место, где лежало оружие, серебро и золото сообщников Симеона, выдал нам все, и сам не только не явился на площадь, да и других отводил...

— Боюсь что-то я за его верность, боярин! Если уж он передался вам без кривды, то сам бог передает в руки князю Василию Димитриевичу сердца врагов его.

— А я так очень хорошо понимаю Замятню, и знаешь ли, что вот этакой-то душе всего скорее вверяйся — глуп или, что называется, добр! Ты да я, мы летим туда, куда нам хочется, а его просто ветер уносит, куда дует, а к тому же Замятня богат, как Аред!

— Ну, бог знает, боярин,— животы смерть окажет! — сказал Некомат с усмешкою.

— Полно, Некомат! Он и не заикнулся, когда я попросил у него... на княжеские расходы... чистым золотцем отсчитал, а теперь гуляет себе по Москве, да и только! Видно, что за душой у него ничего не таится. Нет! Я верю Замятне. Да это дело сторона, а поговорим о нашем другом деле. Я тебе сказывал, что у тебя есть товар, а у

меня есть купец, которому он приглянулся. Согласен ты, что ль?

— Боярин! хоть сейчас по рукам. Сын твой куда молодчик, а моя Ксения — девка на возрасте.

— Отлагаю все до приезда князя Василия Димитриевича в Нижний. Видишь: завтра вас примут и дадут вам облобызать княжескую ручку, а там поезжайте и готовьте ему прием поласковее. Князь хочет испить вашей волжской водицы и полюбоваться на Нижний. Я приеду вперед. Такая ведь теперь у нас завороха, что и господи упаси — тут Витовт, там Тверской князь, а тут еще черный ворон налетает на Русь, и бог весть откуда! Татары дрались, дрались между собой, а теперь вон, слышишь, идут сюда... Бабы да старики воют, еще ничего не видя!

— А что же, боярин, ты думаешь?

— Что думать! Живи не как хочется, а как бог велит! Разумеется, у кого есть запас, тому и с татарами хорошо. Наш боярин Кошка, смотри, как ладит с ними! И то правду сказать — голова умная!

Так беседовали между собой Некомат и Белевут в московском тереме боярина.

Жребий Нижнего Новагорода был решен. Ни упреки матери, ни слова князя Владимира, ни советы митрополита Киприана — ничто не могло склонить князя Василия Димитриевича на милость к Симеону и роду его. Участь князей Нижегородских оставалось еще неизвестною. Князь Борис томился в темницах суздальских. Симеон и семейство его были заключены в темницах нижегородских. Бояре нижегородские иные предались князю Московскому, другие, непокорные, разосланы были в дальние города. О многих — ничего не было слышно...

Зима прошла в совершенной тишине. Войска русские собрались около Коломны, отаборились там и не двигались с места. Князь Василий Димитриевич был в Москве, кипевшей воинскою деятельностью. Спешили оканчивать вооружение войск, собирали деньги, ожидали вестей. Слухи из Орды замолкли, но то была зловещая тишина, подобная той, какую чувствует страдалец, удрученный недугом, перед последним страданием смерти — она не покоит его; холодный пот, костенеющие руки и ноги, темнеющий взор говорят об его разрушении — он жив, но на него уже веет могилою — он предчувствует

то близкое мгновение, которого содрогается все живущее!

Тимур остановился на Ахтубе. Полчища его не двигались на Россию. Но так и за полтора столетия, когда при Калке погибла надежда на спасение России, несколько лет прошло, пока Батый ринулся в пределы русские и потек огненною рекою. Церкви московские были наполнены народом. День и ночь слышались молитвы и воздыхания молящихся.

А страсти не умолкали и на краю бездны! Сердце человека! Содрогнется тот дерзкий, кто осмелится заглянуть в тебя — содрогнется и побежит от самых обольстительных надежд и мечтаний своих, как бежит, содрогаясь, суеверный юноша при взгляде на гроб своей подруги, на ее лицо, обезображенное смертью и тлением!

Летом Белевут приехал в Нижний Новгород. С ним была многочисленная свита. Князь Димитрий Александрович Всеволож с дружиною московскою выступил навстречу Московского князя. В Нижнем готовились встретить его торжественно. Жители были в больших хлопотах: вынимали и готовили праздничные платья, чистили улицы, даже мыли домы снаружи. Белевут беспрестанно окружен был воеводами, просителями, искателями милостей, приезжими из нижегородских городов. Бояре, гости, почетные люди нижегородские толпились у него в светлице. Обеды превращались в пиры, и часто старики забывали идти к заутрени после бессонной до белого света ночи, проведенной в гульбе у Белевута или какого-нибудь богатого гостя. Но никто не отличался таким разгульным весельем, как Замятня. Золото и серебро блистали на столах его. Две бочки малвазии выписал он нарочно из Москвы и часто, среди гульбы и песен, горстями кидал за окошко серебряные деньги и хохотал, смотря, как дрались за них мальчишки и нищие. Добрые люди говорили, что у Замятни пируют на поминках Суздальского княжества, да кто стал бы их слушать, каких-то добрых людей, которые всегда ворчат и на которых угодить трудно!

В веселом разгулье прошло две, три недели. Однажды Замятня зазвал к себе на обед всех бояр и всех богатых и почетных людей. Никогда не бывало у него так весело. Столы трещали под кушаньями. Мед, пиво, вино лились реками. Многие из гостей со скамеек очутились уже под скамейками. В ином углу пели псалмы, в другом

заливались в гулевых песнях. Настал вечер. Дом Замятни, ярко освещенный, казался светлым фонарем, когда туманная, темная ночь облегла город и окрестности и в домах погасли последние огоньки, все улеглось и уснуло, кроме любопытных, которыми наполнен был дом и двор Замятни. Одни из них пили, что подносили им, потому что велено было всех угощать, иные громоздились к окошкам и, держась за ставни и колоды, смотрели, как пируют гости и бояра, пока другие зрители, подмостившись, сталкивали первых, а третьи любовались конями бояр и гостей, богато убранными и привязанными рядом у забора к железным кольцам.

И теперь еще найдете в собраниях старинных чарок русских *чарки-свистуны.* У них не было поддона, так что нельзя было поставить такую чарку, а надобно было опрокинуть ее или положить боком, и потому такими чарками подносили гостям, когда хотели *положить* своих гостей — верх славы и гостеприимства хозяина! Вместо поддона на конце чарки приделывали свисток: гость обязан был сперва выпить, а потом свистнуть. Старики наши бывали замысловатее нас на угощение.

Такого-то *свистуна* огромной величины поднес Замятня Белевуту. Говорили, что Белевута нельзя было споить, но и у него бывало, однако ж, сердце на языке, когда успевали заставить его просвистать три-четыре и когда уже петухи возвещали час полуночи.

— Чокнемся, боярин! — вскричал Замятня, протягивая другого свистуна, — чокнемся и обнимемся еще раз!

— Будет, гость Замятня! У меня и так скоро станет двоиться в глазах, — отвечал Белевут, смеясь и протягивая руку к свече, чтобы увериться: не исполняются ли уже слова его и не по десяти ли пальцев у него на каждой руке?

— Э! была не была! Что за счет между русскими! Слушай: здоровье того, кто пьет да не оглядывается! Разом!

— Давай! Если за нами череда, чего мешкать!

Они разом выпили, свистнули и бросили чары на серебряный поднос, который держал перед ними один из кравчих.

— Подавай кругом! — вскричал Замятня.

Кравчий повиновался.

— Эх ты, боярин! Вот уж люблю тебя за то, что молодец — и дело делать, и с другом выпить! Так по-нашему! Все кричат, что Замятня — гуляка, пустая башка! Врут,

дураки: я в тебя,— боярин,— вот что ни смотрю, точно братья родные...

— Ты диво-малый! — вскричал Белевут, обнимая Замятню,— точный москвич, а не нижегородец!

— Что тебе попритчилось, что ты сначала-то меня невзлюбил? Ведь я был все тот же?

— Нет, не тот же, а теперь — чудо, не человек... прежде ты глядел не так — немножко кривил голову... Ха, ха, ха!

— А ты ее повернул мне куда следует?

— Сама повернулась!

— То-то же, *сама*. Видишь, не туда ветер дул! Что ты льнешь к таким, что исподлобья-то смотрят? Верь тому, кто прямо в глаза глядит. Вот, посмотри-ка: здесь кого-то недостает...

— Кого? — сказал Белевут, смеясь.— Ведь не тринадцать их осталось — чего бояться, если кто и уплелся!

— Надо знать *кто!* Вот, примером, сказать: Некомат где? Вот там сидел он и морщился!

— Там не лежит ли он где-нибудь...

— Нет! Думаю, он бодро ходит на ногах: не тот он человек, чтобы свалился. О, не люблю я этаких народов...

— Знаешь ли, Замятня, что и мне он не больно любится что-то? Я спас его от погибели: он не то что ты; у него все проказы Симеоновы были скрыты. Он и на Спасскую площадь шел с симеоновцами, а я все-таки умел его выгородить!

— А он спустил тебя на посулах?

— Не то, не такого олуха царя небесного нашел он, да что-то не ладится у меня с ним никак — словно козьи рога, в мех не идет.

— Скоро ли у вас свадьба?

— Скоро ли свадьба? Приехавши сюда, я и сына привез. В Москве Некомат подтакивал, а здесь отнекивается. Видишь, говорит, дочка не хочет, дочка плачет, а просто жаль с сундуками расстаться — ведь богат, как немногие бояре московские...

— Полно, оттого ли, боярин? Богат-то он богат, но, право, я что-то куда сомневаюсь... Вот я — был грех... стоял за Симеона,— тихонько прибавил Замятня,— а как пошло не туда, так я уж напрямик твой! Тогда кричал я, за кого стою, и теперь кричу: мне что за дело! Думай обо мне кому что угодно! А этот Кащей все молчит, и кто его знает, что у него на уме!

— Я знаю,— сказал Белевут, коварно улыбаясь.

— Ой ли? Хочешь о большом медведе моем, моей любимой стопе, что вон там стоит на полке?

— Полно шутить, Замятня,— теперь уже все старое кончено...

— Как не так! Ты думаешь, траву скосил, так и не вырастет — а коренья-то выкопал ли? Чего тут далеко ходить... Что ты думаешь: все уж молодцы у вас в руках?

— Все. Хочешь покажу тебе роспись, кто и где теперь?

— Убирайся с росписью! Я всех их прежде тебя знал, да что ни лучшего-то, того-то у вас и нет... Где боярин Симеонов Димитрий?

— Где? У беса в когтях! Только его одного и недостает.

— Этак он ошутил: *только его!* Да знаешь ли, что этот один стоит сотни?

— Ну, где ж его взять! Пропал, как в камский мох провалился!

— Его нигде не сыскали?

— Уж все мышьи норки перерыли!

— А Некомат тянет ваше сватовство?

— Ну, что же?

Князь Роман жену терял,
Жену терял, в куски рубил,
В куски рубил, в реку бросал,
Во ту ли реку, во Смородину...—

так запел Замятня. Хор гостей подтянул ему с криком и смехом.

— Что ж ты хотел сказать?— спросил нетерпеливо Белевут.

— Постой, боярин! Пусть они распоются погромче — я нарочно затянул, чтобы нас не слыхали. Слышал ли ты, что у Некомата в бане появился домовой, стучит, воет, кричит в полночь?

— Бабьи сказки!

— Мужские сплетни, скажи лучше. Я... хм!— я видел домового!..

— Ты?

— Да, я. Ну, как ты думаешь: каков собой этот домовой дедушка? Кто он? Черт, что ли?— Замятня плюнул.

— Говори, говори!— вскричал Белевут. Глаза его засверкали.

— Постой — дай одуматься — все порядком будет! Однажды ночью вздумалось мне подсмотреть: что там за чудеса такие творятся и правда ли это — и вот и пошел я подкараулить: вот и идет Некомат, идет дочь его —

и домовой идет... Месяц светил ярко... Провались я на месте, если это был не боярин Димитрий, переодетый бесом! А ведь оттуда недалеко и Егорьевский терем, где княгиня Симеонова, и тюрьма, где... Симеон!

— Если ты лжешь, Замятня...— вскричал Белевут и взялся за саблю.

— Вот: *лжешь!* Послушай: теперь полночь... Ну, хочешь ли, пойдем потихоньку — нас не заметят! Авось мы встретим домового!

Недоверчивость, суеверный страх, досада, смех сменялись на лице Белевута.

— У тебя сабля, а я с голыми руками!— сказал Замятня.— На домового крест, а ведь ты не веришь, что Некомат думает что-нибудь худое!

— Нет, не верю... не верю... Пойдем!

Голова Белевута была разгорячена. Тихо вывел его Замятня в заднюю дверь, засветил фонарь и повел в сад свой, говоря, что огородами пройти ближе. Ночь была темная. Осенняя мгла наполняла воздух. Все вокруг было тихо. Лишь из дома Замятни слышны были клики и песни. Белевут шел за Замятнею. Они перешли через заднюю улицу, в переулок, и ни одна душа человеческая не встретилась им. Только собаки лаяли сквозь подворотни. Скоро пришли они к задам Некоматова двора. Маленькая калитка была отворена. Они входят в обширный сад Некомата, идут тихо, осторожно. Ночной сторож крепко спит на скамейке. Вот вдалеке блеснул огонь. Они не ошибаются — идет человек с фонарем. Замятня задувает свой фонарь. Он и Белевут прячутся за деревья — человек с фонарем подходит — это Некомат.

Он идет озираясь, оглядываясь, видят спящего сторожа, дрожит, поднимает палку и останавливается. «Господи! помилуй! Не узнали ль? Если кто-нибудь подметил... Он, верно, в заговоре, проклятый пьяница... Если узнали! Горе мне, горе!» Некомат ворчал еще что-то про себя, пошел по дорожке к калитке и пропал вдали.

— Что, боярин?

— Ничего,— отвечал Белевут, улыбаясь принужденно.— Ведь это не домовой, и что ж тут за беда, если Некомат бродит ночью?

— Пойдем далее, а позволь, однако ж, тебя спросить: куда и зачем бы этак, например, Некомату бродить, с твоего позволения?

Белевут молчал. Опять прошли они мимо сторожа и пустились в самую отдаленную сторону сада, где построена была у Некомата черная баня в чаще вишневых дерев.

Низкое строение стояло уединенно и было покрыто дерном. Одно только окошечко было в нем вровень с землею. Огонек светил из окошечка.

— Да воскреснет бог и расточатся врази его! — заговорил Белевут, крестясь.

— Вот и струсил, боярин! Что, веришь ли мне? Пойдем ближе!

Едва подвигался Белевут. Страх отнимал у него силы. Они подходят к окошечку — ложатся на землю. Внутри горит свечка. При мерцании ее видно, что на лавке сидит Ксения, дочь Некомата. Она плачет. Подле нее человек в каком-то странном наряде — свет падает ему на лицо.— Замятня не ошибся: он, Димитрий, боярин Симеона!

Как бешеный, вскочил Белевут. Замятня удерживает его — напрасно! Белевут вырывается, бежит к дверям бани, спотыкается, падает, хочет встать, чувствует, что его держат крепко, и с изумлением видит, что его обхватил Замятня. Он борется с Белевутом и кричит неизвестные слова. Огонь в бане погас. Дверь растворяется. Димитрий поспешно выходит и несет на руках Ксению, бесчувственную...

— Она умерла! Она умерла! Господи боже мой! — говорит он отчаянным голосом.

— Сюда, помоги! — кричал Замятня, зажимая рот Белевуту и опутывая его своим кушаком. Димитрий оставляет Ксению на земле. Они с Замятнею вяжут Белевута, тащат его в баню, бросают туда, запирают двери и заставляют их запором.

— Пусть кричит себе там, сколько хочет! — сказал Замятня, оправляя платье.— Димитрий! Брат! Друг!

Они крепко обнялись.

— Доволен ли ты мною? — спросил Замятня.

— Скорее усомнился бы я в царстве небесном, а не в тебе...

— Что: дурак я аль нет? Не обманул я самых хитрых, самых сильных людей, Москву и Нижний, татар и русских? Жизни моей недостанет отмолить все лжи, все обманы, какие принял я в это время на свою душу — и как легко плутовать, только захоти! Гораздо легче, нежели сделать что-нибудь доброе, а еще хвастают, дураки!

— Замятня, друг и брат! Мир не знает души твоей, да он и не стоит того... Награда твоя не здесь!..

— Да и чем наградили бы меня здесь за все, что я сделал для правого дела? Деньгами? Я бросал их горстями за окошко! Почестями? Какие почести тому, кто о жизни своей думает столько же, сколько об изношенной шапке! Димитрий! Дай бог тебе час добрый! Ступай прямо к Симеону — там все уже готово, а я побегу к гостям моим — у меня все собраны, и я никого не выпущу до света...

— Замятня! Увидимся ли мы еще в здешнем свете?

— Бог знает, друг Димитрий... Ну! Все равно — прощай!

— Прощай!..

Еще раз крепко обнялись они, и Димитрий чувствовал, как горячие слезы Замятни измочили ему лицо. Димитрий был точно как окаменелый. Он отшатнулся от Замятни и как будто тогда только вспомнил о Ксении, без чувств лежавшей на земле. Он наклонился к ней; взял ее холодную руку.

— Умерла?— сказал он.— Прости! И я ведь не жилец на земле! Тебе не радостна была жизнь — я погубил тебя, а мне разве лучше твоего было?.. Но, нет, нет! Она жива!.. Замятня, друг мой! Ксения жива! Ради бога, пособи мне...

— Чем же, брат?— отвечал Замятня, сложа руки и горестно смотря на несчастную Ксению и Димитрия, который стоя на коленях, сжимал в руках своих ее руки.— Если бог даст Симеону возвратиться с честью и на счастье, будете еще жить и довольны, и веселы...

— Димитрий, супруг мой, милый друг!— вскричала Ксения, тихо поднявшись с земли и обхватив Димитрия обеими руками.— Ты идешь? Надолго? Когда возвратишься ты? Скоро ли?

— Скоро, милый друг мой, скоро и навсегда! Иди домой — успокойся...

— Домой! И мне должно скрываться, таиться перед отцом моим, глотать слезы мои и не видать тебя.

— Димитрий! Время дорого!— сказал Замятня.

— Иду! Еще на часок...

— Вспомни, что от тебя зависит участь Симеона...

— Да, да... Мог ли я забыть,— и он исчез. Тут крик Белевута глухо отдался в бане. Ксения опомнилась, закричала пронзительно и быстро побежала в свой терем.

Замятня остановился на минуту и слушал. Все умолкло. Холодный ветер шевелил листья дерев. Невольный какой-то трепет объял его, и он спешил идти.

Быстро пробежал Димитрий по саду, захлопнул за собою калитку и опять хотел отворить — ему хотелось еще раз взглянуть на дом Некомата, на сад, где с Ксенией провел он столько счастливых часов в несчастное время своей жизни! Тайный брак соединил их во время поездки Некомата в Москву. Золото обольстило няню Ксении. В зимнюю ночь, когда все спали в доме, Димитрий увез Ксению. Они были обвенчаны в отдаленной церкви. Счастье не было их уделом. Только Замятня, сторож сада и няня знали тайну свиданий их.

Темница, где заключен был Симеон, стояла подле Кремля. То был старый, огромный, опустевший дом. Высокий забор окружал тюрьму. Стража стояла подле ворот и вокруг дома. Двое московских бояр жили в самом доме. Рядом с сим домом был сад Некомата и небольшой старый домик его. Димитрий быстро прибежал к воротам темничного двора. Несколько человек показались из-за углов: то были его сообщники. У ворот не было ни души — стукнули в ворота; изнутри отодвинули засовы. Все вошли в маленькую калитку. Димитрий трепетал даже голоса товарищей. Три ратника, стоявшие у дверей дома, подошли к Димитрию и сказали, что сторожевые бояре еще не возвращались, а темничный пристав, не участвовавший в заговоре, спит в своей каморке. Прежде всего задвинули двери и ставень окна его каморки. Вот на другой стороне забора раздался громкий оклик часового. Один из ратников откликнулся; раздалось еще несколько окликов, и все умолкло. Не теряя времени, стали ломать замки на дверях. Они уступили усилиям. Дверные запоры упали. Двери растворились. Вдруг померещилось Димитрию, что по улице вдоль забора от ворот кто-то крадется... Холодный пот выступил на лице его... Боясь испугать других, он не сказал ни слова, велел идти всем далее и ломать другую внутреннюю дверь. Он один — весь обращен в слух — тихо — опять шорох... Так! Кто-то крадется к тому месту, где стоит Димитрий... Всемогущий! Если их открыли! Изнутри дома слышно было, как скрыпит замок от напряжения лома... Димитрий прячется — таит дыхание. Кто-то подходит ближе — вынимает из-под полы маленький

фонарь — светит. Мерцающий свет отражается на лице незнакомца — Димитрий узнает Некомата...

«Недаром чуяло у меня сердце!— шепчет старик,— здесь не добро! Мое все цело, а здесь... Посмотрим... калитка отворена — сторожей нет... Как? И дверь разломана!.. И здесь нет стражи! Измена! Ударим в набат!» Он спешит идти. Свет из фонаря его мелькает ярче... О ужас! Димитрий не заметил сначала новой предосторожности, взятой тюремщиком: в трех шагах от дверей его каморки протянута веревочка, проведенная на набатную Кремлевскую башню. Уже Некомат подле нее — одно движение рукой — и вся кремлевская стража пробудится...

Дыхание сперлось в груди Димитрия. В глазах у него потемнело. Кровь его застыла и опять, как огонь, полилась по жилам. Он не помнит себя, бросается, сбивает с ног Некомата — фонарь тухнет... началась борьба отчаяния...

Старик был довольно силен. Он выбивается и бросается снова к веревке. Димитрий опять нападает на него. Рука Некомата ловит — почти хватает веревку — все заключено в одном взмахе руки — старик хочет кричать — нож выпадает у него из-за пазухи, и, как безумный, он ищет его в темноте, схватывает его и поражает Димитрия. Димитрий чувствует, что теплая кровь течет по руке его — он не помнит о себе, борется, зажимает рот Некомату — крик — новое усилие — еще удушаемый крик, еще усилие — последнее, отчаянное — и за ним послышалось хрипение умирающего...

— Убийца!— вскричал Димитрий. Голос его глухо раздался во мраке:— Я убил его!

И ему чудится, что кто-то страшно захохотал вдали. Но вот идут из тюрьмы — слышны голоса. В забытьи оттаскивает Димитрий в сторону труп Некомата, бросается к выходящим — Симеон!..

«О! стонать тебе, Русская земля, помянувши прежнюю годину и прежних князей: Владимира Великого, Ярослава Мудрого, Мстислава Храброго! Ныне усобица князей на поганые погибла. Рекли князья: «то мое и то мое же», и сами на себя стали крамолу ковать, а поганые со всех сторон с победою приходят на землю Русскую. Тоска разлилась по земле Русской, и печаль тучная бродит по весям и градам. О! стонать тебе, Русская земля,

помянувши первую годину и первых князей!» Так пел ты, певец плена Игорева, и два века протекли, но вещие слова твои роковым пророчеством носятся по земле Русской!

Что там расстилается, как туман на синем море? То стелется дым от огня, попаляющего жилища православных! Что там белеет, как снега во чистом поле? То белеют шатры бесчисленной рати Тимуровой! Сбылись страшные знамения, сбылись предчувствия, ужасавшие Русь: Тимур перешел Волгу и двинулся на полночь по берегу Дона. Пустынями шло его воинство, не встречая ни града, ни веси, ни села. Если и *были там древле грады красны* и *нарочиты видением, места их единые только оставались, пусто же все* и *ненаселенно, нигде не видно человека, только дебри велия и зверей множество.* При впадении Сосны в Дон раскинут был наконец привальный табор Тимуров.

Зачем между ордами татар явилась русская дружина? Зачем она не в цепях, не в плену? Кто сей русский князь, которого руку дружески жмет старый татарин? Он, седой вождь татарский, был в Нижнем Новегороде и безмолвно смотрел, как сорвали венец княжеский с главы князя Бориса и как бросили в темницу Симеона.

— Наконец и ты здесь, русский князь. Поедем же в ставку великого Тимура!— говорил татарин.

— Поедем!— отвечал князь русский.

— Дружина твоя останется у моих шатров.

— Пусть останется.

— Ты должен оставить здесь все свое оружие.

Русский князь безмолвно снял саблю, отстегнул кинжал, положил копье. Подводят коней. Они едут.

Место, где расположен был стан Тимура, тянулось на несколько верст по берегу Сосны и Дона и неправильно простиралось в лес. Передовые отряды Тимуровы были за пепелищем Ельца. Ясное летнее солнце сияло на небе. Взъехав на пригорок, откуда видны были и берега Дона, и быстрые воды Сосны, и меловые горы, при впадении сей реки в Дор, русский князь невольно остановился, и тяжкая печаль изобразилась на лице его.

Перед глазами князя раскрылся стан Тимура — ни в которую сторону не видно было конца бесчисленному множеству шалашей, палаток, шатров, землянок. Лес на несколько верст был вырублен. Вдали дым поднимался клубами от догоравшего Ельца. Стадо коней, волов,

верблюдов, овец, орудия, каких до того времени не видано в России, воины, разнообразно одетые, богатые бухарцы, покрытые овчинами курды, закованные в железо персияне, черные эфиопы, наездники горские, воины европейские, женщины и дети пленные, телеги, нагруженные снарядами и добычами, оружие, наваленное кучами и расставленное рядами, огни, вокруг которых сидели воины, балаганы, где раскладены были богатства и товары из всех стран света и где шла деятельная торговля, как будто на каком торжище, рев животных, звук бубнов и труб, клики, песни, плач, игры, уныние отчаяния и неистовство счастия, бешеная радость и вопль ярости — все раскрывалось в зрелище невиданном и неслыханном.

На самом высоком месте, среди табора, стоял шатер Тимура. На нем блистала, как звезда, золотая, осыпанная алмазами маковица. Полы шатра, из драгоценных индийских тканей, были опущены. Вокруг шатра постлан был бархат, вышитый золотом и жемчугом. На полверсты к нему трудно было пробраться сквозь толпу вождей, воинов, князей, купцов, духовных людей и странников. Тройная цепь стражей, скрестивши копья, опрашивала всех подходящих. При ярлыке, который показал татарин, пропустили его и русского князя. Тут протянуты были серебряные цепи, и тянулись в обе стороны богатые шатры жен и вельмож Тимуровых. *Бессмертная дружина* Тимурова окружала его ставку. Совершенное безмолвие было в рядах сих воинов, прошедших от песков татарских до Китая и от Персии до берегов Дона. Облитые золотом, опершись на булатные секиры, они были неподвижны. Как будто не видали они, что татарин и сопутник его подняли полу шатра и вошли в первое его отделение. Здесь разостланы были парчи, и на бархатных подушках сидели писцы и муллы; одни писали на шелковых тканях, другие погружены были в чтение свитков. В стороне сидел какой-то человек с свертком в руке, молча, но, выпучив глаза, шевелил губами и размахивал руками. Другой человек с черною длинною бородою, не сводя глаз с книги, перед ним лежавшей, протянул руку к татарину, взял его за руку, посмотрел ему на ладонь, потом взглянул в книгу, взглянул на какой-то странного вида математический инструмент и дал знак, что они могут идти далее. Тихо подняли татарин и русский князь балдакиновую завесу, преклонили головы, вступили внутрь и стали на колени. Глубокое молчание. Украдкой под-

нявши глаза, князь русский ослеплен был блеском драгоценных камней, из коих узорами сделаны были украшения стен шатра. Вокруг набросаны были дорогие ткани, стояли деревянные кадки и горшки с жемчугом, золотом, серебром, в груде лежало множество золотых чаш, в стороне брошен был овчинный тулуп, шерстяной войлок лежал на куче бесценных соболей. Вокруг стен положены были подушки, бархатные и парчовые, и подле каждой из них, на коленях, обратясь лицами к Тимуру, стояли люди, преклонив головы. Только один старик, державший в руках развернутый свиток и читавший его вслух, и другой, державший атласный сверток и трость писальную, сидели несколько ниже хана. Посреди шатра стоял большой кувшин, глиняный, на огромном золотом подносе, и подле него лежали два черные невольника. Сам Тимур сидел, поджав ноги, на подушке из драгоценного балдакина, потупив глаза, окруженный оружием, с чашею в руках. Он прихлебывал что-то из чаши и слушал чтение свитка — то было утреннее чтение алкорана.

«Он дал свет солнцу и блеск звездам. Он уставил изменения месяца, да послужат человеку делить время и считать лета. Воистину он создал всю вселенную. Он повсюду явил очам мудрых знамения своего могущества. Последование ночи и дня, согласие всех творений на земле и на небе суть блистательные свидетельства боящимся господа. Не ожидающий будущей жизни, обольщенный прелестями земного бытия, уснет на них ненадежно, а презирающий мои вещания за деяния свои получит возмездием огнь адский!»

Здесь Тимур махнул рукой. Чтение прекратилось. Все поднялись и сели на подушках около стен шатра. Русский князь с невольным трепетом устремил взоры на страшилище, ужаснувшее собою полсвета. Он увидел человека, которому, по-видимому, было не более 50 лет — таким железным здоровьем одарен был Тимур. Смуглое, загоревшее лицо, черная с проседью борода, простая зеленая чалма, пестрый шелковый халат и кинжал за поясом — ничто не показывало ничего необыкновенного при первом взгляде. Но другой взгляд едва ли осмелился бы кто-нибудь возвести на Тимура. Глаза его сверкали, как глаза тигра. Лицо его не выражало ни одной страсти, но оно было смешением всех страстей. Ничего не высказывало отдельно лицо Тимура, но каждое движение резких черт его обнажало пучину страстей, подобную той пучине море-океана, где, как говорят, неугасающая смола горит,

и кипит, и застывает — плавит камни и леденит воду в одно время.

— Вот истинная премудрость, Джеладдин-Абу Гиафар! — сказал Тимур, указав на алкоран жилистою рукою, показывавшею его необыкновенную силу, — вот где язык человека должен замкнуться в храмину безмолвия! Нам ли, праху земному, мудрствовать и стучаться в двери небесной мудрости? Что мы? Муравьи, тлен! Век наш — тень былия на горе Ливана!

Писец, сидевший по одну сторону Тимура, принялся писать. Тимур обратился к нему.

— Разве я сказал что-нибудь достопамятное? — промолвил он. — Правду, простую правду сказал я!

— Правду небесную! — отвечал писец.

— На что же записывать ее? Она в сердце твоем и моем, и всех людей. Люди все одинаковы.

— Нет! — откликнулся кто-то у входа шатра. Это был тот человек, которого видел русский князь в преддверии и почел сумасшедшим за его кривлянья.

— Тебе могу поверить, — сказал тихо Тимур. — Бог рек: «Мы даровали премудрость Локману и вещали ему: даждь славу богу!» Ты поэт, вдохновенный небом, — говори!

И поэт проговорил быстро:

— Если все древа земные обратятся в писальные трости, если все семь океанов потекут чернилами, и тогда мы не испишем всех чудес бога, создавшего Тимура, *саиб керема* вселенной. В едином человеке воссоздал бог все человечество. Он изрек: *«кун»* (да будет!) — и явился человек. Он изрек: *«желаледдин»* (восстань!) — и восстал Тимур! Цари — рабы его, веяние крыл ангела смерти — гнев его, от взоров его колеблются столпы Византии и трепещут опоры Индии! Пилою могущества перепилил он землю: на одной половине престол его, на другой океан бедствий, где реют в волнах слез и разбиваются о скалы ужаса враги его! Древо блаженства смертных выросло в груди его и распростерло сени святых законов от полудня до полуночи! Как из растворенных врат рая веет радостью на смертных, так из уст Тимура веет премудрость, и, обтекая пучину времен, она прейдет века и воссияет над гробницею последнего смертного!

— Благословен алла, создавший Тимура! — воскликнули присутствовавшие.

— Абу-Халеб! Возьми себе вот этот горшок, — сказал Тимур, указывая на огромный кувшин, насыпанный вро-

вень с краями золотом,— и помни, что Тимур прервал сон наслаждений небесными розами поэзии, видя бедного пришельца у прага шатра своего. Говори мне, Эйтяк,— сказал он, обращаясь к татарину, пришедшему с русским князем,— говори: тот ли это человек, который просит помощи? Что ему надобно? Не отняли ль у него земли, по которой идем мы, с благословением пророка, восставить повсюду закон и правду?

— Нет, великий сагеб керем! Он князь в полунощной части земли Русь.

— В сколько седмиц пройти можно землю его? Простирается ли она хоть на месяц пути?

— Нет! Он владел немногими городами, далеко отсюда, на берегу большой реки, и у него отняли его землю.

— Так угодно было судьбам вышнего! Зачем же противится он воле бога? Зачем не отдаст он венца за мирную соху, при которой счастлив бывает человек? Что, ему хочется менять блаженство тишины на заботы царей?

— Землица была его наследие. Он почитает обязанностью хранить ее, ибо в ней схоронен прах его предков.

— Не Москва ли была наследие его? Я слыхал о каком-то городе Москве?

— Нет! Москва отняла у него наследие.

— Итак, даже Москва могла обидеть его, Москва, которая сама преклонялась у подножия седалища людей, ничтожных пред избранными пророком,— преклонялась пред Ордою Тохтамыша!

Он умолк и потом обратился к одному из присутствовавших.

— Где посол Баязета?— спросил он.

— С восхождения солнца вчерашнего ждет он ответа, не двигаясь с места, не совершая молитв и омовения и не вкушая трапезы, близ своего шатра.

— Кто он?

— Он царь Эрзерума, взятый в плен Баязетом, и ныне раб его.

— Напиши, Шефереддин, ясно напиши на бумаге Баязету, что Тимур предвидит погибель его на скале гордости и что корабль его плывет через пучины безумия. Напиши, что воины мои покрывают полмира и что скоро приду я в Анатолийские леса и там богу правосудия предам мою обиду! Напиши и пошли проводить посла его столько человек, чтобы глаз не видел конца рядов их. А ты, князь Руси, если Москва обидела тебя,— поди с моим именем, поди один и пешком, в Москву — поди

и скажи князю Московскому, что *я* отдал тебе Москву, и — возьми ее себе.

— Он не посмеет взять не своего,— отвечал угрюмо Эйтяк.

— Эта Русь мне нравится,— сказал Тимур, улыбаясь.— Здесь, мне кажется, были когда-нибудь царства сильные. Ты знаешь леса Индии и Персии? Здесь совсем другие леса — они гробницы жизни. Вчера я много думал, смотря на следы города, которые открылись в дикой, вырубленной моими воинами дебри. Тут был лес — он был уже некогда вырублен — жили люди, и их нет — и на городах их выросли вновь леса. Люди здесь, на Руси, сжались в маленьких городках — и так же называются ханами и отнимают друг у друга то городок, то землицу! Для чего желаешь ты, князь русский, владеть своею землею? Земли всего надобно тебе вот столько! (Тимур показал меру могилы.) Сегодня ты гордишься, а завтра никто и не вспомнит тебя! Стоит ли труда земля твоя и век твой? Я был на том месте, где стоял Вавилон Великий, и никто не мог мне сказать имен ханов, которых могилы являлись пред мною длинным рядом обломков. А знаешь ли, что один из сих ханов построил стены города, которых в семь дней нельзя было объехать? Что ты скажешь об этом, Мостассем-Гассан, мудрец Багдада?

— Раб твой,— отвечал один из присутствовавших,— осмеливается думать, что воля провидения неисповедима; оно создало кедр Ливанона, розу Иемена, и траву, растущую на могиле монгола, умершего в сибирской степи, где никто не ведает не только его самого, но и народа его, погребенного в ветре пустынном. Я видел водопады великого Нила: там волны реки падают с того самого часа, как бог изрек миру: «*будь*!», и он был. Волна сменяет волну, и все льется в море, где и глаз и ум человека теряются в необозримой пучине.

Глаза Тимура блеснули, как молния.

— Взгляни на звезды небесные,— сказал он,— и знай, что есть и в мире такие звезды! Пыль подъемлется ветром и падает опять на землю, а *глаза Алиевы* вечны, и бог избирает здесь на земле человека тленного и дает ему *нетленные глаза!* Собирается воинство и идет на край света. Для чего движутся сонмы их, для чего клики их будят духа безмолвных пустынь? Не для стяжания, не для корысти! Они ищут перлов славы, нетленных очей памяти. Полхлеба, купленного за одну копейку, насытит человека. И что я? Бедный грешник старый и

хромой,— но мне суждено было покорить Иран, Кипчак, Туран и предать *губительному ветру истребления* силы великие и царства многие! Дух божий ведет меня — и будто я знаю, куда он ведет меня? Он теперь отвращает меня от пути на полночь — он велит мне идти туда, в страны, орошаемые Гангесом, Нилом и Евфратом. Мы пройдем Эфиопию и перейдем чрез те горы, где сказал какой-то бессильный богатырь: *«не далее!»* Придем сюда еще раз, но уже с запада, и через Железные Врата Каспия пронесем завет пророка в Самарканду! А, Мустафа! Исполнил ли ты повеленное тебе?

— Голова Корийчака и головы его советников складены столпом подле шатра твоего.

— Поди же и объяви Темир-Кутлую, что Тимур избирает его владыкой Кипчака, вод Яика и вод Дона, до самого Крыма.

Один из присутствовавших повергся ниц на землю.

— Ты здесь, Темир-Кутлуй? Я и не заметил тебя! Воздай хвалу не мне, а богу. Будь милосерд, правосуден и — царствуй многие дни!

— Восемь верблюдов, навьюченных золотом, и восемь невольников повергает раб твой к стопам твоим!— отвечал Кутлуй.

— Восемь?— спросил, изумясь, Тимур.— Девять дверей рая, девять молитв пророка, и число девять благословляет человека на земле!

— Девятый раб твой — сам я, освещенный взором твоим, и девятый верблюд — царство мое! Пророк не отринул несколько капель воды, принесенных ему усердием...

— *«Восток и Запад — область божия! Куда ни обрати взоры, везде узришь образ бога! Он наполнил вселенную своею бесконечностию»*. Не так ли рек пророк его?

— Но мы не видим его, и только дух премудрости его явлен человеку в образах видимых, и где более явлен он, если не в том, кто переживет тысячелетия и будет на земле *нетленными очами* человечества!

— Поди же, Темир-Кутлуй,— я даю тебе средство начать добром — отдай этому князю русскому то, что у него отняли Тохтамыш и враги его! А ты, князь русский, помяни в молитве твоей меня, бедного хромца, и воздай за добро благоденствием твоих подвластных!

По данному знаку Темир-Кутлуя Эйтяк и русский князь преклонились и вышли из шатра. Все остальные

зрители оставались неподвижны и сидевшие в преддверии шатра были, как прежде, на своих местах. Все как будто оставалось недвижимо, но первый предмет, поразивший князя русского, когда он вышел из шатра Тимурова, была пирамида из окровавленных человеческих голов, которую склали в краткое время бытности его в шатре Тимура. На вершине пирамиды лежала голова Корийчака, избранного за несколько дней прежде в ханы Золотой Орды. Кровь из нее капала и падала на песок по обезображенным головам друзей Корийчаковых.

Прошли годы, прошли века. Память о нашествии Тимура осталась только в молве народной. Летописи русские повествуют, как благодать божия спасла Москву от гибели, как чудотворный образ богоматери принесен был из Владимира в Москву, как зверовидный Тимур устрашен был чудным видением — в трепете, ночью, вскочил с одра своего, завопил страшным голосом, обратил вспять от берегов Сосны полки свои и бежал *«никем же не гоним»!*

Когда вы вступите в древний московский храм Успения богоматери, ваши взоры благоговейно встретят на левой стороне от царских врат унизанный жемчугом и драгоценными каменьями образ, пред коим денно и нощно горит елей, приносимый православными. Сей святый образ перенесен был из Владимира, когда Тимур грозою двигался по берегам Дона к Москве. Пред ним молились предки наши, пред ним падали тогда во прах князи и бояре, пред ним лились горячие слезы русских, когда князь Василий Димитриевич и воинство его обрекали себя верной погибели на берегах Оки и хотели лечь костьми за Москву и православную Русь.

Красным летом, когда зацветают окрестности московские и толпы пешеходов идут поклониться мощам св. Сергия, благоговейно останавливаются сии странники у древнего Сретенского монастыря, совершают три земные поклона, и в душе их пробуждается память о том времени, когда на сем самом месте сердца предков их усладила *первая надежда спасения,* когда сонмы народа преклонились пред чудотворным образом богоматери — и Тимура поразили страх и трепет.

Поколения прошли по лицу земли. Пыль гробов отяготела на них веками. Если вы будете в Нижнем Нове-

городе, войдите в древний Преображенский собор, взгляните на ветхие гробы князей Нижегородских, разберите старинные письмена на их гробницах: вы найдете там гробницу Симеона, подле него гробница князя Бориса. Гроб примирил их.

Вы хотите знать судьбу Симеона после того, когда вы видели его в шатре Тимура и слышали, как могущим словом Тимур отдавал ему Москву, не только наследие его. Разогните древние летописи и читайте:

«Лета 1402-го, князь великий Василий Димитриевич посылал воевод своих, Ивана Андреевича Уду да Федора Глебовича, а с ними рать свою искать князя Семена Димитриевича Суздальского, и самого его обрести или княгиню его, или дети его, или бояр, крыяшесь бо в татарских местех. И идоша на Мордву, и наехаша князя Семена княгиню Александру в Мордовской земле, на месте, нарицаемом Цыбирца, у святого у Николы, идеже поставил церковь бесерменин Хази-баба. И изымаша тамо княгиню Семенову Александру, и ограбиша ее, и приведоша в Москву, и с детьми юными, и затвориша их на дворе Белевута. Слышав же князь Семен, что княгиня его и с малыми детьми изымана, и посла к великому князю с челобитьем, милости моля, и вниде в покорение, и во многое умиление и смирение, прося *опаса*. Был же тогда князь Семен в Ордынских местех, бегаша от великого князя, от Василия Димитриевича. Князь же великий Василий Димитриевич даде ему *опас*. Он же прииде из Орды на Москву и взяша мир с великим князем, и иде с Москвы на Вятку, с княгинею и с детьми, болен бо бяше уже, и пребысть на Вятке пять месяцев, и в больший недуг впаде, и преставися, месяца декемврия в 21 день. И сей князь Семен Димитриевич Суздальский в веке своем многи напасти подъят, и многи истомы претерпе, во Орде и на Руси, тружався, добиваясь своей отчины, и восемь лет сряду не почивая, по ряду в Орде служаху четыремя царям: первому Тохтамышу, и второму Темир-Аксаку, и третьему Темир-Кутлую, и четвертому Шадибегу, а все поднимая рать на великого князя, на Василия Димитриевича; как бы ему найти свою отчину, княжество Новагорода Нижняго, и Суздаль и Городец. И того ради мног труд подъя, и много напастей и бед потерпе, пристанища не имея, и не обретая покоя ногама своима, и не успе ничтоже, но яко всуе труждаясь.

Суетно есть человеческое спасение и упование, понеже от бога вся суть возможна, а от человек ничтоже...»

Такова была судьба князя Симеона Суздальского. Но его боярин Димитрий, но Ксения, но Замятня?..

Если что успеем найти, перескажем когда-нибудь о Димитрии, Ксении и Замятне. Теперь простите, православные, и благодать божия да будет с вами. Повесть о Симеоне кончена. Чему научила она нас? Повторим слова современника: «Суетно есть человеческое спасение и упование!» — Истина не новая, но помним ли мы ее?



ПОВЕСТЬ О БУСЛАЕ НОВГОРОДЦЕ

Вы слыхали о Великом Новгороде? То-то был *городок,* Москвы *уголок* — огромный, могучий и привольный! Ганзейцы и мурмане заглядывались на его широкие улицы, на золоченые главы его церквей и называли его *Великим.* Один пугливый латинский летописец даже и нам передал старую поговорку: *Кто против бога и Великого Новагорода?* Говорят, таковы были похвальбы и присловье новогородцев. Князья Московские и Литовские часто доказывали новогородцам копьем и огнем, что пословица их не говорит правды, да где сладить с новогородцем! Отхлынет беда — опять новогородец надвинет шапку на ухо, пойдет козырем и готов спорить с князем Московским о *самосуде,* а Литовскому послу указать путь-дорогу из Новгорода.

Удалые дружины новогородские не боялись грозы московской: то и дело пускались вниз по Волге; куда пришли, тут и гости, в Кострому ли, в Ярославль ли, в богатую ли Астрахань, вольница новогородская не трусит! Давай серебра и золота, выкатывай бочки годовалого меда, а как дойдет до расплаты, рассчитаются железом да калеными стрелами, и хозяева рады-радехоньки, что уши уцелели.

В Москве княжил князь Димитрий Иванович, и Новгород с ним не ладил; войны не было, да и мир не походил на мир. Такая же дула погода, как на Ильмене в октябре месяце,— то дождь, то снег, то светло, то ясно. Сколько ни говорил князь Московский новогородцам, вольный город не унимался, шумел, как молодая брага.

— Не впервые Новугороду слышать немилостивое слово! — кричали новогородцы.

— От Московского князя не дождешься ни хлеба, ни соли — отсыпайся золотом в мире да готовься на железную баню.

— Далека Москва от Новгорода, а сердце Московского князя еще дальше.

— Нам и со своими князьями житье было горе, а с чужим князем и поготово!

Вот что кричали в Новгороде и на Софийской и на Торговой стороне. Народ собирался к Святой Софии; день и ночь держали вече; казалось, забыли новогородцы, что в праздник дела не делают. Вечера были святочные, а посадник к посаднику, тысяцкий к тысяцкому приезжали не Христа славить, не вина пить, а толковать да шуметь о черной дани, о разметной грамоте Московского князя, о заволочской сваре. Всякий говорил и толковал и часто не знал сам, что говорит. Ведь и в нынешнее время такая притча из народа не вышла.

Но чему дивились и литовцы и ганзейцы, привыкшие пить и бражничать о святках у посадника Федора Тимофеевича, что у этого посадника не было ни пира, ни беседы.

— Задурел Новгород,— поговаривали собеседники, поглядывая на дом посадника,— быть беде, коли и посадник Федор не гуляет на святках! Смотрите, плотники, не состроить бы вам себе лихо!

Дом посадника Федора стоял в Славянском конце, на улице Рогатице. Один немецкий письменный человек, словоохотливый, как кот-баюн в русских сказках, называл дом Федора мудреным немецким именем, и говаривал, что Новгород можно купить на то, что лежит в этом доме, в кованых сундуках посадника. Доброму молодцу не перестрелить бы стрелою с одной стороны дома на другую. Зато и крепко жил посадник. Железные ставни запирались у посадника железными крючьями, и пять цепных собак бегали по векшам во всю ночь. Днем иное дело: широкие ворота были у него настежь растворены — милости просим с делом и бездельем! Дорогой гость, садись на лавку под святые, и бедному дверь не заперта. Не чарка вина, так ласковое слово — придет с горем, а уйдет с весельем.

Недаром говорили теперь беседники посадничьи, что Федору не до гулянья. Во всех окнах его дома был свет; на посадничьем дворе было саней, что и не перечтешь, да видно, что были не гости. То и дело приезжали к нему

и уезжали от него дельцы, писцы, житные люди. Ни один из них, сходя с крыльца, не обтирал бороды; видно, круговая чара ленилась сойти на посадничий стол с горки, где покоились дедовские чары и погары. Дельцы останавливались у фигурных ворот посадничьего дома, и рожи их были длинны, как шпиль на застрельной башне.

Но не все же в Новгороде думали о деле — оставалось еще довольно гуляк. По улице Рогатице шли девичьи хороводы; пели песни; много народа тихонько пробиралось подле самой стенки, видно, боясь изменить пословице: новогородец хоть пьян, а все-таки на ногах держится.

Вдруг среди шума и волнения покатился по улице поезд — саней десять, с колокольчиками и побрякушками, на выписных лошадях, ехали по Рогатице. Веселые, залетные песни раздавались так громко, что у прохожих в ушах звенело, да, видно, и у разгульных поезжан в голове было не пусто. Вот подле самого посадничьего дома остановились первые сани. С них соскочил лихой удалец Буслай, сын посадника Григория Якуновича.

— Поезжайте, бояре, я догоню вас!— закричал он своим поезжанам.

С шумом покатился мимо веселый народ, а Буслай, сложа руки, стал у ворот подле лавки, на которой сидел задумавшись Владимир, сын посадника Федора Тимофеевича.

— Что с тобой сделалось, товарищ?— спросил его Буслай.— Спишь, не спишь, аль думу думаешь? Так раздумаем вдвоем.

— Отстань от меня,— отвечал Владимир,— у тебя на уме веселье, а у меня на сердце не радостно.

— Зазноба, что ли, какая? Так не тебе, такому молодцу, сгинуть от девичьих глаз! Казны, что ли, нет? Да у твоего отца из одного ларца до Хутыня можно дорогу промостить!

— Через золото слезы текут. У тебя только такая буйная голова, что хоть все пропадай, а меня и чужая беда печалит!

— Полно, брат, успеешь и на свой пай нахныкаться — ведь нам с тобой еще век жить. Бог знает за что я люблю тебя, за что мы поменялись с тобой крестами! У тебя не мой нрав: я всегда весел, а у тебя веселье, как дождик весной — чуть перепадет, уж и высох. Каждая красная девица кружит мне голову, а на тебя сколько не глядят их беглые глазенки, все тебе нужды нет.

— Слушай, Буслай,— сказал Владимир, вставая со скамьи,— если ты пришел балагурить со мной, так мне, право, не до того! Прощай!

— Нет, Владимир,— отвечал Буслай,— не тебе бы говорить и не мне бы слушать. Ты не веришь моей голове, так поверь ретивому — оно бьется у меня не хуже твоего. Я люблю веселье, да за что же ты полюбил меня? Разве за то, что Буслай ходит один на целую стену в кулачном бою, или за то, что он умеет спеть залетную песню лучше другого?

Владимир остановился.

— Ох ты, горячая голова!— сказал он.— Неужели ты думаешь, что я тебя не знаю? Вот тебе мое слово, что когда дойдет до дела, то я к первому тебе приду и скажу: Буслай! пойдем, брат, со мной!— И ты пойдешь со мной в огонь и в воду, но я не скажу тебе, о чем теперь думаю: твоя голова на то не годится.

— Так ты мою голову считаешь добрым кистенем, которым пробивают стену, а потом бросают его под лавку? Спасибо, дружище!

Буслай снял шапку и поклонился Владимиру.

— Не сердись, Буслай!

— За что сердиться! Ты умница-разумница; сего года твой отец посадником, а на тот год и ты туда же метишь. Куда мне за тобой тянуться! Только смотри, Владимир: в большом чине быть — что по крутой кровле ходить: ударишься оземь, и поддержать будет некому.

— Брат Буслай! дай мне свою руку и не сердись!

— Ты так же говорил, когда, помнишь, я выхватил тебя из толпы чуди и, обнимая тебя, плакал, как баба! Похоже на это ты сказал и тогда, как на Неве-озере я вплавь пустился и выхватил тебя из омута, где чуть сам не захлебнулся.

— Зачем же теперь хочешь, чтобы я бросил тебя в омут, из которого и сам не знаю, выплыву ли? Буслай! если крестовый брат твой любит тебя меньше твоего, так пусть не увижу я сей час божьего света!

— Садись, Владимир, и послушай. Я не умею так красно говорить, как ты, и, право, не знаю, как тебе высказать, что вот тут у меня вертится,— он указал на голову.— Я слыхал, что когда-то жил-был на святой Руси мудрый человек, Данило Заточник: и книжен, и умен, и словесен. Что же ты думаешь? При княжеском дворе он не сдержался. Злые люди надули на него князю,

и Данило, не спрося, услали на холодное море, нет, не Белоозеро — бог знает куда! Вот тебе и ум и разум: сидит Данило в келье да плачет; посылает грамотку — перехватят; попросил бы доброго человека поговорить за себя, да ведь доброго человека со свечой поискать и у князя при дворе, а не только в другом месте. Что делать! Пришел к нему рыбак, простой рыбак, принес в келью рыбу да выдумал лучше его. «Напиши,— сказал он Даниле,— грамотку, а я уж знаю, как ее сбыть». Тому ума не занимать стать — написал грамотку, как жемчугом вынизал; рыбак взял ее, закатал в воск и бросил в Белоозеро; рыба проглотила ее, а рыбу поймали для князя, вынули грамоту Данилову, прочитали, поговорили, отдали князю, а тот прочел, задумался, да вместо рыбы велел бросить в озеро клеветников. Что, брат Владимир, кто умнее был: рыбак или Данило Заточник? Ты пригож молодец, да и брат твой Буслай думу сдумать умеет.

— Умеет, да я люблю его столько, что не хочу тащить с собою, в ту пучину, в которой, может, и сам погибну!

— Любишь! Знаешь ли ты, куда я ехал? К суженой моей невесте на вечер, к дочери тысяцкого Богдана Аввакумовича, Маше, моей милой, дорогой Маше. Ты не любил еще — где тебе знать, как хочется молодецкому сердцу обнять поскорее свою невесту, по сердцу выбранную! Еду, лечу, вижу брата Владимира грустного — полно думать о невесте! Слушай: если бы кто весом с меня дал мне слиток золота, я не отдал бы сегодняшнего вечера за это золото, а для тебя... Скажи, куда мне идти? Не простясь с моей Машей, сяду на коня и поеду за тобою...

Владимир, вместо ответа, крепко обнял Буслая и тихо сказал ему:

— Спрашивай — я все скажу тебе. Бог знает, добро ли, худо ли я делаю, что не утаиваю от друга тайны тяжелой, но ты хочешь и суди меня сам! Злая мысль, как язва, пристанет и к тебе...

Буслай молча поправил горлатную шапку свою, а Владимир продолжал:

— Я рос не так, как ты, Буслай! Рано узнал я то, что узнают в старости. Мои первые годы провел я не в Новегороде. Помнишь, что отец мой долго управлял Вотскою Пятиною. Ребенком лелеяли меня волны Варяжского моря; под шум их я засыпал в ладье подле отца моего, и часто клич на битву с чудью или ямью про-

буждал меня. Так укреплялось мое тело на битвы и ум на советы. Отец и степенные люди юного призывали меня в свои совещания. Возвратясь в Новгород, я узнал все тайны правления новогородского; с юности изучил нравы и обычаи каждого из новогородских знаменитых людей. Ты счастлив, Буслай, что неведение скрывает от тебя смрадное болото, которое называют Новогородским вечем. Ты слышишь звон вечевого колокола, как голос вольности Новагорода, богатого и сильного, а я слышу его, как набат, возвещающий близкую кончину народа доброго, но буйного, достойного счастья и влекомого к погибели страстями, низкими, недостойными на крови, ни бедствий, которых не жалеют за них новогородцы.

— Владимир! Я бьюсь за мою сторону, когда мне велят биться; не жалею ни руки, ни головы в сече за мою родину и не могу слушать твоих речей — не хочу слушать их!

— Не хочешь? Зачем же ты спрашивал меня? Хорошо посмотри вокруг себя: ты видишь этого коварного литовца, этого князя Патрикия Наримантовича в Новегороде, с уделом, с почестями; видишь раздор наш с Московским князем, наши волнения, беготню наших дельцов и — ничего не страшишься?

— Не почти хвастовством, когда я скажу тебе, что и бояться нечего. Мы уж привыкли к таким суматохам; они веселят сердце вольного Новагорода. И как часто вижу я, что самые бедные новогородцы, собравшись подле Святой Софии, поговаривают между собою: «Что-то давно не звонят в вечевой колокол — мы залежались на печах!» Безумные люди! чего вы требуете!

— Да, коли правду сказать, так у твоего отца да у моего надобно об этом спрашивать. Не они ли затеяли все в Новегороде? Жить бы да жить, как жилось прежде. Свет-то наши бывшие посадники Устин Молчальник да Филипп Постник. Они строили церкви и ни с кем не ссорились. Мой отец ввел этого Патрикия Наримантовича в Новгород, твой уговорил новогородцев отложиться от суда князя Московского, а теперь вы думаете и сами не придумаете. Старинное присловье: русак задним умом крепок!

— Буслай, Буслай! Для чего не могу я сказать тебе всего... Но нет! Обвиняй лучше меня и других, но не прощайся со своим счастьем! Твоя грудь не вынесет всей тайны: она, как палящий огонь, сожжет ее. Я не хочу

никого оправдывать: что сделано, того не воротить, но, если ты хочешь знать печаль твоего брата и друга, я раскрыл тебе причину, и ты видишь, что беды Новагорода терзают мою душу; я думаю, ищу и не нахожу нигде средств.

— Они сами найдутся, мне кажется. Бывали времена хуже нашего, и верь мне, Владимир, будет, может быть, и то время, когда живые позавидуют мертвым.

— Да! Седьмая тысяча, седьмая седмица грозит приближением! Господи, умилосердись над нами! Но и наше время, Буслай, не золотое. Новогородцы не те, что были прежде, и соседи их не те стали. Литовский князь, как ворон: сидит на трупах дяди и братьев и остриг ногти на Новгород; Московский, как сокол, подымается, и стережет нас, как цаплю болотную, а мы, с усобицами, с упадком храбрости, с привычкой богатеть не добром, сами на себя накликаем беду!

— Но Московскому соколу, кажись, подшибено крылушко: еще и пяти лет не прошло, как татары головней покатили его Москву, и соколенок засел у них в когтях — ему не до нас; пускай строит себе свой детинец: а на Новгород он только что грозится!

— Нет! И всего бы лучше нам ждать мира от князя Московского — он в самом деле *Великий князь*. Я видел его в славную годину, когда полки новгородские, нежданные, пришли на Куликово поле. Там все было забыто, и вражды, и усобицы: темное царство татар, как туча, затмила солнце, и все гады спрятались в норы от близкой грозы, но не задохлись там и снова выползли, когда солнышко пригрело их! Я помню, я видел, как Димитрий, после благословения пастырского, отпускал нас с победой и говорил нам: «Живите правдой, новогородцы, а я не забуду вас!» Но где Новугороду успокоиться! Мне душно стало теперь в собрании посадников наших. Слышишь, как шумят они: там нет простора ни уму, ни правде! Содрогаюсь при виде бедствий наших, и черные думы бродят в душе моей. Это недаром: чувствую, что враг человеков поймал меня в свои сети...

— Владимир! перекрестись! Что ты думаешь? что ты хочешь сделать?

— Не знаю сам! И что мне в здешнем свете, где с малых лет ничего не веселит меня! Слушай, Буслай! Я видел каменистую страну за Варяжским морем, был в дремучих лесах ее и узнал, чего не хотел бы знать! Там видел я тех злых кудесников, которые обморочи-

вают человека своими обаяниями; и вчера, когда я не знал сам, что мне делать, когда страшилища, казалось мне, ходили вокруг меня, тот кудесник, которого я видел в лесах карельских, явился передо мною...

Буслай невольно затрепетал, вскочил, хотел что-то сказать и остановился.

— Что ты хочешь делать, Владимир?

— Ничего,— отвечал Владимир с горькою улыбкою,— я хочу гадать о будущей судьбе моей.

— Ради бога, удержись...

— Не могу — я дал ему обещание, я должен идти, куда он велел, и...

Как два угля сверкнули во мраке два глаза дряхлого старика, который подошел в то время к друзьям. Буслай хотел перекреститься; рука его не поднималась — он стоял, как окаменелый.

— Аль душа робеет,— сказал им старик.— Чего же трусить удалым новогородцам? Владимир! Пора — путь не близок и не легок. Коли ты молодец, так услышишь добрую весточку!

Буслай опомнился, оглянулся; старика уже не было. Ретивые кони Буслая прозябли от холода и били копытами, но Буслай не думал об них, ухватил за руку Владимира.

— Куда ты идешь?— вскричал он.— Я с тобой и не расстанусь никогда! Вместе жить и умирать!

— Я тебе скажу, Буслай,— отвечал Владимир,— но знай, что ты можешь идти со мною только тогда, когда захочешь: без того моя дорога не доведет тебя ко мне. Ты знаешь Бесово Городище на берегу Волхова, там, где стоит избушка, опустелая с давних пор, откуда в полночь бежит всякая живая душа, где утонул Волховец? Там скрывается теперь Карельский кудесник — к нему иду я. Прощай...

Не успел Буслай ответить на слова Владимира, когда Владимир был уже далеко.

— Постой, постой, я за тобою!— вскричал Буслай, бросился в сани и помчался за своим другом.

— Видно, Буслай Григорьевич не будет сегодня,— говорила няня, снимая со свечек и обращаясь потом к дочери тысяцкого Богдана Аввакумовича, невесте Буслая.

— Видно, что не будет, няня!— отвечала печально невеста.— А без него мне не радостно...

— Полно, подруга, печалиться! Зачем ты ушла от нас? — сказала ей молодая девушка. — Пойдем допевать подблюдные песни. Тебе вынули на добрую песню: *«Щучка шла из Новагорода»* — вот твое кольцо.

— Посмотри — оно распаялось! Буслая еще нет! — вскричала Мария, и слезы градом потекли по бледному лицу ее.

— Полно, моя родимая! — отвечала няня. — Это так...

— Ах, няня, и несчастье разве не «так» приходит? Милая подруга! я приду к вам; поди туда, дай мне вздохнуть на свободе!

— Что-то не радостно эта свадьба идет, — шептала девушка, возвращаясь от невесты к подружкам.

— Няня! дай мне свежей воды умыть глаза; не хочу, чтобы гости заметили, что у меня глаза покраснели от слез.

— Да вот, матушка, и подблюдные песни у них, видно, кончились. Слышишь — золото хоронят...

— Хоронят! — вскричала Мария. — Кого хоронят, няня? Что ты говоришь?

— Что тебе мерещится, мое дитятко! Золото хоронят, а ты, прости, господи, и невесть что думаешь! Да вон уж девушки и другую песню запели. Экие лепетуньи!

— Золото! Пропадай все золото на свете! — говорила Мария, — был бы мой милый здоров да счастлив. Ах, няня! слышишь, какую песню запели подружки!

В это время раздалась новогородская песня:

В славном было Новегороде,
На большой Славковой улице,
В высоком тереме посадничьем,
Сидит, пригорюнясь, красна девица,
Глядит она в окошечко косящетое,
Грусть, тоска, горе горькое
Змеей сосет сердце девицы!
По щекам ее горючи слезы
Жемчугом перекатным покатилися.
Не мила ей сторонка родимая:
Из Москвы к Новугороду
Весть перепала не добрая!
Прокатилась звезда по поднебесью,
В тучу пал светел месяц...

— Ну, уж песню выбрали, право, кстати! — сказал отец Марии, тысяцкий Богдан, входя в комнату, где сидели поезжане Буслая и хор девушек пел песню. — Аль и красные девушки о том же думают, о чем прожужжали нам уши у посадника?

— Нет, Богдан Аввакумович! — вскричал один из

поезжан, веселый старик — грешный человек.— Я упросил их спеть ее; она моя любимая.

— Э, сосед, на свадьбе можно забывать о Москве! Милости просим, сватушка,— сказал он, обращаясь к дверям, в которые входил в то время посадник Григорий Якунович, отец Буслая.— А вот невеста налицо,— прибавил он, указывая на дочь свою Марию, в то же время вошедшую с няней.

Посадник помолился иконам, поклонился на все стороны и радостно поглядел на прелестную невесту своего сына.

— Поцеловал бы я тебя, моя милая, если бы не побоялся захолодить твое белое лицо замерзлою моею бородою!

— А вот мы ее разогреем братиною меда!— отвечал Богдан.— Девушки, песенку заздравную, а ты, няня, доброго медку с холодку! Садись-ка, сватушка!

Лейся мед в чашу золотую,

Обходи кругом, братина круговая!

Гости зашумели. Чье сердце не готово выпрыгнуть на ладонь, когда в голове шумно? Но радость посадника и тысяцкого переменилась в изумление, когда они увидели, что жениха не было между боярами.

— А где же Буслай? — вскричал Григорий Якунович.

— Не знаем,— отвечали поезжане,— мы чаяли, что он с тобой приедет. Когда поравнялись мы с двором посадника Федора, он остановился у ворот, велел нам ехать и хотел догнать нас — мы ждали его здесь...

Сердце посадника вспыхнуло.

— Ох вы, бражники, гуляки! Да что ж вы без него? Стрелы без лука! Где Буслай?— вскричал он громко. Девушки замолчали, и невеста побледнела как полотно.

— Я не видал его у Федора, да и что ему там делать!

— Да, он не спешит к невесте,— сказал с насмешкою тысяцкий Богдан.— Смотри, сват, не за старое ли взялся Буслай!

— Сват! не коли мне глаза ложкой, которой кормишь. Буслай — удалая голова, да ретивое у него доброе, а иной и смирен, да черна душа его.— Быстрый взор посадника обратился на Родислава, брата невесты.

— Да где ж загулялся твой Буслай?

— Загулялся! Может быть... Ох! вещее, вещее! сильно ты бьешься!— сказал посадник, сел на лавку и закрыл лицо руками. Все молчали.

— Сват, не сердись!— сказал добродушно посадник, протягивая руку к Богдану.— Старого не поминать — было не было! Человек в руце божией. Эта охота до лихих коней... Может быть... я боюсь... Буслай недаром не пришел...

Как ни осторожно сказал эти слова посадник, но Мария слышала их; ноги ее подкосились; она без чувств упала на руки няне; девушки бросились помогать ей.

— Прощай, сват,— сказал посадник Григорий и, схватя шапку свою, поспешил вон. За ним в беспорядке поскакали поезжане, а отец невесты задумчиво сел на лавку и не говорил ни слова. Густые брови его закрыли глаза, и мрачные думы стеснились в душе.

Но где же Буслай? Зачем он забыл, оставил невесту? Зачем допустил слезам катиться из ее прекрасных глаз?

Быстро помчался Буслай за другом своим Владимиром. Ему казалось, что он видит его перед собою, что Владимир идет от него невдалеке, но напрасно борзые кони, понуждаемые сильною рукою, скакали во весь опор; Владимир все казался впереди. Вот повеял ветерок, поднял перелетный снег по дороге, становился сильнее, сильнее и начал взвивать метелицу вокруг Буслая. Кони его пышут, скачут. Буслай хочет остановить их. Нет, они бегут, но не по дороге, из сугроба в сугроб; домы мелькают мимо; божьи церкви застилает вихрь, взвеваемый сильным ветром, Буслай не робеет. Вот он видит себя на берегу Волхова; кони несут его в реку; с крутого берега покатились сани прямо на лед и полетели вдоль реки. Буслай не узнает места. С одной стороны лес; на луговой стороне расстилается снеговое поле — ни жилья, ни домика. То, как холмы, воздымаются пред Буслаем снеговые сугробы; то он падает с конями в ухабы; холод проник в молодецкую грудь: Буслай спрыгнул с саней, идет подле, хлопает рукавицами, желая согреться, и каждый удар глухо отзывается в лесу. Но вот он смотрит: стоит на берегу избушка; в ней светится огонек — туда, туда, обогреться у добрых людей! Буслай берет под узду своих коней, которые в пене, выбившись из сил, едва идут, едва переступают по глубокому снегу.

Избушка совсем опустелая. Кругом забор обвалился, двор разгорожен, крыша упала; огонек в окошке то мелькнет, то пропадет. Буслай хочет постучаться в двери,

останавливается; в избушке тихо, в лесу тихо. Вдруг из-за леса, как отдаленный вздох времени, раздался где-то вдали звон колокола, точно по-похоронному. Один удар... и все замолкло!

— Думал ли я,— сказал Буслай,— быть этот вечер в такой глуши! Да чего же бояться? Двух смертей не будет, одной не миновать!— и сильно ударил он в дверь...

— Кто там?— раздался грубый голос.

— Отвори!— закричал Буслай, и не с другого толчка дверь заскрипела, точно как немазаное колесо.

Чуть мелькает ночник на столе, а на лавке за столом сидит старик и точит ножик на бруске.

Ни доброго слова, ни ласкового привета, молчит да точит. Устремив глаза на старика, остановился Буслай.

— Кто ты, человек аль бес?— сказал он старику. Тот молчит и сидит.— Говори, старый хрыч, на что ты точишь ножик, а не то...— Буслай поправил рукавицу на правой руке.

Старик сверкнул на него глазами и уродливо захохотал.

— Тебе подарить?— сказал он хриплым голосом.

— А ты кто, старое чудище?

— Возьми мой подарок, так я скажу тебе! Видишь, каков булатный ножик? Каково лезвие?— Старик дернул по бруску — так и брызнули искры.

— Душегубец! кто дарит доброго человека ножом? Я тебя узнаю поближе...

И перекрестившись, Буслай размахнулся с богатырского плеча.

Вдруг пронзительный страшный хохот раздался в лесу; половина избушки повалилась; огонь исчез, старик пропал; сквозь полое окно задул свежий ветерок, и лучи месяца осветили опустошенную избушку на Бесовом Городище!

Еще раз перекрестился Буслай. Он ищет дверей, но какие двери: косяки вывалились, ставня нет! скорее на свободу, на божий свет! Буслай идет, и перед ним стоит человек, бледный, дрожит, как осиновый лист — Владимир.

— Брат Владимир!— вскричал Буслай.— Ты ли это или еще бесовское обаяние со мною?

— Я,— отвечал Владимир слабым голосом.— Ради Христа, выведи меня. Я чуть не погубил свою душу...

— Брат! что ты говоришь? С нами крестная сила! Пойдем отсюда. Мы недалеко от Новгорода.

Свежий ветер обвеял Владимира, когда они вышли

из избушки, и Владимир вздохнул свободно. Буслай сжал его в своих объятиях.

— Владимир,— сказал он робко,— боюсь не за себя, а за тебя. Мудрость человеческая близка к безумию. Что ты сделал с собою? Не предал ли ты себя врагу людей и бога?

— Нет! нет! Но страшно мне виделось... Я не помню всего... Черный кот бежал передо мною да самой избушки и вскочил прямо в нее. Я взял три камня с каменки; передо мною забегали чудищи... Венец... саван... гроб! Я очнулся от твоего богатырского голоса... Ты спас меня!

Они свели сани Буслая на Волхов и поехали в Новгород. Буслай не спрашивал своего друга и только погонял коней.

Уже был третий час дня. Народ толпами валил с Софийского веча и дорогою шумно разговаривал о том, что было решено на вече. Тихо, сложив руки, шел на дубовое крыльцо своего дома посадник Федор Тимофеевич. Сумрачное неудовольствие изображалось на лице его. Первый, кто встретился ему, только он отворил дверь, был посадник Григорий, отец Буслая.

Горестно покачал головою Федор.

— Бог тебе судья!— сказал он.— До чего ты довел меня на старости! Позор земле Новогородской! Старейший посадник неволею принужден к делу, противному его совести. Новогородцы! Новогородцы! Горе вам, по божею слову, когда старый друг мой забыл меня...

— Нет,— сказал Григорий,— рука божия тяготеет над Новгородом, но не упрекай меня, Федор Тимофеевич! Когда бы ты знал, что доспелось со мною в последнее время, ты не упрекал бы меня! Я сниму тебе со стены икону, что я не виноват в переменчивости, в буйстве новогородцев. Выслушай меня... Выслушай, узнай сперва, что послы князя Московского нежданно и гордо явились сегодня на вече, что они высказали все жалобы князя на Новгород и, не дожидаясь ответа, бросили народу крестоцеловальные наши грамоты. Они грозили нам огнем и мечом — и те люди, которые вчера пуще других храбрились на совете, замолкли, побледнели... Рука Москвы явно высится над нами. Новгород падает. Напрасно вышел я говорить с ними; против меня восстали все; напрасно твердил я им о силе нашей, о честных условиях с князем Московским; говорил, что само-

суд наш должен быть уважен князем. «Покорность без условий или погибель!» — был ответ Московских послов, и народ принял все! Князь Патрикий и не явился на вече! Тебя не было... Где ты был? А сват твой, тысяцкий Богдан, первый склонился на сторону москвичей, и мне, посаднику Новгорода, миром определено ехать в Заволочье,— сбирать дань, самому отвезти ее в Москву и молить князя помиловать нас!..— Посадник поднял руку к образу, и слезы потекли из глаз его.

— Тяжело твое страдание, но не вини меня! Я потерял вчера моего сына, моего удалого Буслая. Он ехал к невесте своей и бог знает куда пропал! Мы размолвили со сватом, и всю ночь, как полоумный, бегал я по Новогороду — Буслая нигде не было! Когда заблаговестили к заутрени, и я сам не знал, что делать, у ворот стукнули в кольцо: то был Буслай, на любимых конях своих, весь в снегу, как полусонный; кони его были в пене, измучены и пали посреди двора, а он не поклонился и отцу своему, не сказал словечка — спит и теперь без пробуду, и бог знает что с ним будет! Он еще не знает своего горя: рано поутру сват Богдан прислал ко мне сказать, что не хочет уже отдать своей Маши за моего Буслая, за буяна, за пьяницу, который прогуливает ночи невесть где! Буслай спал, да выспал горе! Маша не переживет этого, да что отцу ее до горя дочери!.. Вини меня после того, что я не был на вече.

Федор успокоился и начал утешать своего друга:

— Все минется,— говорил он,— подумаем о судьбе Новагорода. Не новогородец тот, кто помнит о своей беде, когда беда висит над вечем Новогородским! Еще не все погибло...

Они ушли в тайную каморку.

Между тем Новгород был в волнении. И было отчего: дела новогородские никогда еще не достигали до такого стесненного положения. Еще сто лет после сего времени Новгород называл себя вольным городом. Но, мощною решительностью Димитрия, Москва в первый раз колебала так сильно основания силы новогородской.

Победа на берегах Дона возвысила Димитрия перед всеми князьями России. Тверь и Нижний Новгород, склоненные пред его могуществом; граница Московского княжества, далеко заброшенная на север; унижение Рязани, нерешительная борьба Олгерда Литовского с Ди-

митрием — все давало мужественному князю первенство после его славного подвига. Новогородцы, всегда готовые на дело славное и великое, сами пришли к Димитрию на Куликово поле; кровь граждан новогородских и посадника их залила бешеную ярость монголов, но не взрастила счастия для Новагорода! Через два года Москва сделалась пепелищем от руки Тохтамыша. Тяжкая дань обременила все княжества русские. Гордый Новгород, готовый дать руку на брань, не хотел нести дани татарам. Новогородцы думали, что с падением Москвы ударил час их свободы.

Посадник Федор явно потребовал на вече отречения от зависимости князю Московскому, а посадник Григорий призвания в Новгород Литовского князя Патрикия, воина смелого и человека хитрого. Новогородцы согласились на оба предложения, объявив свой самосуд от Москвы и призвав князя Патрикия. Олгерд обещал им защиту, но Патрикий приехал в Новгород не защищать его. Новгород увидел в стенах своих начало гибельной усобицы; приверженцы Москвы с тысяцким Богданом, свободные новгородцы, сообщники Патрикия крамольничали и вадили друг на друга.

Не знаю, о том ли говорили между собою посадники Федор и Григорий; на другой день Федор отправился с дружиною в Заволочье, а сын его Владимир поспешно собрался и, отслужив молебен в соборной церкви, бросился в сани и поскакал поспешно из Новагорода.

Чуть брежжился восток ранним рассветом, и Владимир задумчиво смотрел на домы и церкви новогородские, в темноте мелькавшие мимо него. На улицах не было ни одной живой души. Он поравнялся с жилищем ганзейских купцов, когда из-под темного подъезда этого обширного здания выбежал человек и крепкою рукою остановил коней Владимира.

— Стой, беглец! — закричал неизвестный. — Не простясь, добрые люди не ездят в дорогу!

— Буслай! ты ли это? — вскричал Владимир и бросился в объятия своего друга.

— Завороти коней во двор! — сказал Буслай. — Там весело!

Владимир поглядел на своего друга. На нем не было шапки; нараспашку кафтан, кушак, который волочил он на земле, удивили Владимира.

— Буслай! что ты делаешь? — сказал он.

— Гуляю! Мне надоели ваши постные рожи. Смотри, какое веселье у наших немцев! Пойдем, пойдем!

Грустно пошел за ним Владимир. Они вошли в обширную комнату, где все досказывало, что разгульные товарищи пируют с самого вечера. Несколько немцев и молодых новогородцев пили и плясали, переодетые, в харях; разбитые рюмки и стаканы, разбросанные одежды, чаши, смесь немецких и русских песен, смех, хохот, звуки гуслей показали Владимиру дикое веселье, какому предавались Буслай и его товарищи.

Остановясь у порога и с ужасом смотря на буйство друга, Владимир не понимал: во сне или наяву он это видит?

— Трус! — вскричал Буслай. — Чего ты испугался? Это вече новогородское, все будущие посадники, и также славно управятся с Великим Новгородом, как управляются теперь с чашами!

— Буслай! Так ли делают добрые люди...

— Убирайся с добрыми людьми! Пей прощальную чашу! Не прошу тебя пировать с нами — поезжай, вольный новогородец, бить челом боярам московским!

— И какие товарищи с тобою!

— Те же, каких мы видели с тобой на Бесовом Городище! Там они сердились, здесь веселятся, а до христианской души они и здесь также охочи — того и смотрят, как бы подцепить...

— Буслай! — вскричал Владимир, схватя его за руку. — Ты губишь себя!

— Нет! Эту работу приняли на себя другие! Твой да мой отец хитрили, ладили и привели Новгород на стыд и посрамленье, а тысяцкий Богдан да добрые люди то же сделали с Буслаем! Да нет! Буслай покрепче Новагорода... Товарищи! Качнем гулевую!

— Ради бога! — вскричал Владимир. — Если ты еще меня любишь, дай мне поговорить с тобой!

Буслай замолчал. Владимир потащил его из комнаты. Они вышли за ворота.

— Ты гибнешь, Буслай, — сказал Владимир, — и знаешь сам, что гибнешь! Я хочу спасти тебя...

Презрительно улыбнулся Буслай.

— Ты? Меня? Спасибо за доброе намерение, да трудно, брат, сделать, что ты сказал. Кто отдаст старую честь Новугороду? Кто смоет посрамление с самого меня? Кто отдаст мне мою Машу? Машу!.. — Слезы насильно

брызнули из глаз Буслая; он упал в объятия Владимира и зарыдал громко.

— Друг и брат — бог помощник! Не губи только себя!

— Нет! Прошли мои радости и погибли навсегда! Друг! Машу отдают за какого-то московского воеводу — ей не пережить этого, да и мне не к чему оставаться на белом свете! Когда не боялся бы погубить себя и в том свете, тогда, суди бы меня бог, наложил руки на себя!..

— Но подумай о своем отце! Такое ли утешенье ему на старости!

— Эх, Владимир, чужую беду я и сам руками разведу... Да брось меня — что тебе! Куда ты? В Москву?

— В Москву,— отвечал Владимир, потупляя взоры,— там есть у Димитрия такая заноза...

— Сын тысяцкого Вельяминова? И ты, новогородец, едешь такаться с возмутителем? Это ли советы отца твоего? Так ли делать надобно?

— Я не хочу с ним такаться. Мы просим только его совета; он человек бывалый, знающий, он может пособить Новугороду. Ты слышал, что отец мой поехал за данью...

— Так прощай же, вольный новогородец, пока ты еще не платил дани!— вскричал Буслай. Он оттолкнул от себя Владимира и захлопнул ворота за собою. Слышно было, как запел он веселую песню, всходя на крыльцо.

Москва, и не сожженная татарами, тогда не была еще белокаменною, а Владимир застал едва остывший пепел ее. Кроме каменных стен Кремля, черневших среди обширного пожарища, кроме рядов, кое-как построенных, только один посад был застроен. В Загородье были землянки и бедные домы, где укрывались от холода жители. Заречье было кое-где забросано дворами. Везде торчали обгорелые печи, вереи, столбы; заметны были груды, завеенные снегом, и посреди всего немногие сиротеющие, обгорелые и ограбленные церкви. Вспомнив о великолепном Новегороде, невольно подумал Владимир: «И этот бедный город поборет наш Великий Новгород?..»

Иван Вельяминов, которого все привыкли называть тысяцким, был только сын последнего тысяцкого московского, Василия Васильевича Вельяминова. Привыкнув уважать отца, народ московский уважал и сына тысяцкого, еще более заставлявшего любить себя за веселый нрав,

ум хитрый и богатство, которого он не жалел для веселья других. Бояре часто засыпали у Вельяминова, любившего угостить вдоволь. Бедные люди дрались за пригоршни денег, которые он кидал в их толпу, когда, собравшись под окнами его дома, они напевали ему за унывную песню о бедном Лазаре. Честолюбие снедало Вельяминова. Он делал добро не для добра, но люди не смотрят для чего что делается, и Вельяминов был важный человек в Москве, так что, когда во время войны с Тверью он пошел к врагам Димитрия, ездил в Орду от Тверского князя и после мира с Тверью возвратился в Москву, Димитрий не хотел, может быть, не смел наказать его дерзости, и бояре и гостиные люди издалека снимали шапки перед Вельяминовым. Таков был человек, к которому явился Владимир. Вельяминовы издавна торговали с новогородцами, и Федор, старый друг отца, тысяцкого Василья, знал все тайные помыслы молодого Вельяминова.

На Лубянке, где после возвышался дом храброго князя Пожарского, выстроен был тогда новый дом Вельяминова. Владимир стукнул медным кольцом у ворот. Старый дворник отворил ему и, видя простой наряд Владимира, едва позволил ему войти во двор. Хозяина не было дома. Каждый день он ходил к заутрене и обедне и тогда еще не возвратился из церкви. Владимир просил позволить ему подождать. Дворник указал ему на крыльцо и велел тут дожидаться. Владимир остановился у резного столба, задумался и не приметил, что вокруг него делалось. Вдруг по снегу заскрипели сани и остановились перед крыльцом; вверху двери растворились; явилась старушка в лисьей шапке, в длинной шубе и, перекрестившись, начала переступать со ступеньки на ступеньку, кряхтя при каждом шаге. Вдруг Владимир невольно вскрикнул и побледнел. Что он увидел? Чего испугался?

Прелестная девушка вышла из сеней и побежала по ступенькам. Крик Владимира останавливает ее; она глядит на него... Вдруг лицо ее вспыхнуло, потом побледнело; она задрожала, как осиновый лист, забыла поклониться незнакомцу и бросилась к старушке, почти без чувств.

— Что ты, моя кормилица? Что ты, моя голубушка?— говорила старушка. Владимир не слыхал, что шептала ей в ответ девица, и внимание его привлек высокий, статный мужчина, который в то время шел от ворот на крыльцо.

— Зачем ты здесь, сестра?— спросил он недоверчиво.

— Мы едем к тетушке,— прошептала робко девушка. Незнакомец оборотился к Владимиру.

— А ты зачем, добрый молодец?— спросил он. Это был сам Вельяминов.

Ответ Владимира прояснил лицо его.

— Добро пожаловать!— молвил он ласково и хотел с Владимиром идти в сени. Вдруг, откуда ни возьмись, черный кот, фыркнул и прямо с одной стороны крыльца перескочил между ними и пропал. Как варом обдало Владимира! Вельяминов смешался, но протянул руку и повел гостя вверх. Они вошли в сени и потом в особую комнату с старинными образами в золотых ризах с каменьями. Сели. Вельяминов спрашивает вестей у Владимира.

Но Владимир не знал, что говорить; он мешался, краснел, заикался, и Вельяминов с изумлением смотрел на новогородца, которому слыхал он столько похвал за ум и разум его.

Чего испугался Владимир? Кошки? Не знаю, но только Вельяминов ничего не понял из речей его, ходил с досадою по комнате, простился очень холодно с своим гостем и просил его пожаловать завтра.

Долго бродил по Москве Владимир, сам не знал где, и очутился на Тверской. Здесь толпы народа кипели деятельностью; дома строили, несмотря на зиму; везде было веселье, песни и работа; только в душе Владимира не было веселья, и он без мыслей ходил из улицы в улицу. Вдруг, смотрит он, скачут сани, другие, третьи — знакомые лица! Так, он не ошибается: новгородцы, сын тысяцкого Богдана — вот делец судной избы его — вот еще несколько отъявленных врагов посадника Федора! Владимир скрылся от них; сани пролетели мимо и исчезли в толпе народа.

Назавтра поспешил Владимир к Вельяминову. Его нет дома. Он уехал из Москвы, говорят Владимиру, и возвратится через три дня.

Печально, запершись в небольшой комнате, сидел Владимир и при свете лампадки, вечером читал псалтырь. Вдруг на улице подле его окошка забренчало оружие; слышен говор людей, слышно, как громко стучат в ворота, ломятся в дверь. Владимир чует беду свою и ждет ее. Он

отворил дверь своей горенки. Толпа вооруженных схватывает его, кует в железы и ведет вон.

— Новогородец! Изменник! — слышны восклицания некоторых, и Владимира влекут, окруженного воинами, по московским улицам.

— Что за шум на улице? — сказала Настасья, сестра Вельяминова.— Смотри, няня, какая куча народа!

— Ах! мать моя, это ведут разбойника, злодея, новгородца!

— Новгородца? — вскричала Настасья,— какого новгородца?

— А помнишь, мы видели его, когда ездили к тетушке твоей Афимье Димитриевне, и которого ты еще так испугалась!

В то время выезды девушек были редки. Они составляли важные эпохи в их тихой, уединенной жизни. Полгода разговаривала потом девушка со своей няней о том, что видели они в свой проезд по Москве, кто встречался им, что они слышали.

— Няня, что ты говоришь! Он разбойник? Он злодей? — вскричала Настасья.— Нет, нет! Он добрый человек! Я знаю его.

— Что ты бредишь, моя радость! Как тебе знать его?

— Я видела его...

— Ты? Один раз и то испугалась.

— Нет, не один раз, но много раз — во сне лицо его; он чудился мне наяву; я его видела в зеркале, когда гадала о своем суженом, вот на последних святках!

Настасья заплакала, бросилась к своей няне и, обнимая ее, говорила:

— Нянюшка, милая! Он не злодей! Не его провели теперь! Скажи, что не его — я подарю тебе парчовый повойник...

Изумленная, няня крестилась, творила молитвы и не знала, что отвечать, чем утешить Настасью, которая плакала и говорила, как помешанная.

Скоро сказка сказывается, да нескоро дело делается. Кто на свободе ходит, тот не знает, как тихо проходят часы, дни и недели для того, кто не дышит свободным божьим светом, кто заперт в тюрьму, куда и солнышко,

кажется, входит украдкой, а люди и заглянуть не смеют.

Уже прошла зима; трава зазеленела в поле, реки потекли без оков, а Владимир все в тюрьме да в оковах. Прошло лето, пошел осенний дождь; темные ночи, темнее воронова крыла, наступили, а Владимир все в тюрьме. Или бог судил ему положить голову за Новгород? Видно, что так! Вот на Кучковом поле, в Загородье, собралась толпа народа; вот очистили место; народ зашумел вокруг Владимировой темницы, загремели темничные запоры, отворились тяжелые двери — доброго молодца вывели из тюрьмы. Народ смотрел на Владимира. Он слышит, как жалеют его молодость, и, склонив голову на грудь, идет между рядами стражи.

Но что это? Зазвонили в набат, на одной, на другой, на третьей колокольне! Смотрят — черный дым поднялся на улице, вспыхнул дом, горит; вот другой, вот третий! Ударили в трещотки; народ всходился; начались шум, крик; стражу мнут, толкают; дым расстилается облаками — все бегут на пожар; воины скачут, кричат...

— Господи, благослови! — крикнул кто-то подле Владимира, и один из стражей полетел от сильного удара; другой бежит, третьего бьют... Толпа и смятение увеличиваются!

— Бунт! Пожар! — кричат повсюду, и вот сильная рука выхватила Владимира из толпы — это Буслай!

— Беги скорее! — вскричал Буслай Владимиру, выдвинув его вперед.

Не опомнясь от изумления, Владимир бежит, сам не зная куда; с ним Буслай и его товарищи; они бросаются в самое пожарище, бегут через дворы, через огороды, но уже слышен отовсюду крик — народ, воины скачут, бегут, да где москвичу сладить с новгородцем! Пожар усилился; народ бросился тушить, а новгородцы поворотили назад, обманули преследователей, засели между плетнями и потом тихонько начали пробираться. Но в темноте, в смятении, они ошиблись дорогой, опять попали в толпу и — что увидели!

Прямо перед ними дом Вельяминова — ворота растворены, двор полон народа, и сын последнего тысяцкого московского, богатый, гордый Вельяминов, связанный, бледный, идет между стражею — его ведут на Кучково поле. Народ ломает окна, двери; кладовые, погреба разбиты — там делят деньги; здесь пьют мед и вина из полуразбитых бочек; тут рвут парчи, богатые ткани,

сукна, штофы, ковры. Владимир затрепетал и упал без чувств в руки Буслая.

Он опомнился и сам не знал, где он. Все прошедшее казалось ему мечтою, сном. Он хочет подумать, сообразить, что с ним было; видит вокруг себя незнакомых людей. Мысли его смешаны; бешенство кипит в его груди — он опять без памяти.

Оставим Владимира и посмотрим, что делалось в то время, пока он был в тюрьме, и что было после того.

Тысяцкий Богдан узнал через несколько дней после отъезда Владимира о посылке его в Москву. Он спешил отправить в Москву своего сына с друзьями, желая подслужиться князю Московскому. Тогда же Буслай и несколько молодых удальцов пропали в Новегороде; никто не знал, куда они девались. Посланные Богдана донесли московским боярам, что в Москве живет тайно сын посадника Федора. Владимир был схвачен. Между тем, как Федор собирал дань в Заволочье, Новгород прислал от себя послов просить у князя Московского мира и милости. Унижение новогородцев казалось решительным. Московские бояре отказали во всех условиях и требовали покорности без всяких отговорок. Послы поехали обратно. Вдруг получена в Москве весть, что снова ватаги новогородцев появились на Волге и опустошают селения и города. Ярославцы, костромитяне с трепетом повторяли имя Буслая. В Москве известились еще о помощи Новугороду, которую обещал Ягайло, сын Ольгерда, князя Литовского. Разгневанный великий князь велел схватить Вельяминова; у него нашли грамоты Ягайлы, новогородцев, Тверского князя, и Димитрий определил, что до того времени не слыхивали в Москве, казнить смертною казнью Вельяминова и новогородского посланника. Вельяминов запечатлел кровью ненависть свою к великому князю, но Владимир спасен был отвагой Буслая и товарищей его.

Тогда объявлена была война Новугороду. Уже никакие предложения новогородцев не могли защитить их. Димитрий объявил, что *будет говорить о мире на Новогородском вече.* Со времен Куликовской битвы не видели такого грозного ополчения. Области, подвластные Москве, от Стародубу до Костромы, от Можайска до Мещеры, союзники, даже подданные Новагорода, торжковцы и вологжане

все соединились под хоругвию Димитрия. Великие духом умеют одушевить, слить в одно желание сердца всех. Димитрий, победитель Мамая, мог и умел показывать силу великих талантов, какими одарил его бог на счастие Руси, во всех случаях, когда он предавался сильной, порывистой воле своей и не боялся обстоятельств, не слушал советов других. Так он разбил Бегича на Воже, так усмирил Тверь, так рассеял Мамаевы полчища; и тот же Димитрий бегал от Тохтамыша, унижался перед Ольгердом Но не мое дело разгадывать тайны исторические: я сказываю вам, что было. Теперь Димитрий не слушался робких бояр своих. В самый Рождественский сочельник он поклонился Московским чудотворцам, простился с княгинею Евдокиею и через Фроловские ворота повел войско, многочисленное и храброе. Князь Владимир Андреевич, мудрый Димитрий Волынец и сам Димитрий предводили им. Оно, как огненная река, пошло по областям новогородским. Удальцы новогородские резались с ним под Торжком, но были разбиты и принесли весть о быстром походе Димитрия на Новгород. В день Богоявления Димитрий заслышал благовест новогородских церквей и велел остановиться.

Новгород подобился тогда черной туче, богатой громами и молниями и повисшей вдали на краю неба. Русский боится грозы, пока она не наступила, и бесстрашно терпит бурю и громы, когда они разразились над его головою. Все пять концов Новогородских сошлись на главное вече в Ярославлем Дворе. Робкие умолкали при голосе храбрых. Все ждали с часу на час, что прискачет к ним гонец от Ягайлы Литовского. Посадник Федор, посадник Григорий говорили народу, и все тихо слушали почетных сановников. Вдруг видят князя Патрикия Наримантовича, скачущего на коне. Он всходит на вече и говорит народу, что грамота от Ягайлы получена.

— Ягайло идет к нам на подмогу! — вскричали тысячи голосов.

— Нет! — отвечал Патрикий, и мертвое молчание ужаснуло всех.— Ягайло пишет Новугороду, что он станет уговаривать князя Московского помиловать новогородцев, советует вам покориться, говорит, что ему недосуг помогать вам. Он теперь в Вильне. Он женился на Ядвиге, королеве Польской, принял латинскую веру, крестит своих литовцев и желает Новугороду здравия и душевного спасе-

ния! — Патрикий отдал грамоту посадникам и печально сел в стороне. Все молчали. Никто не смел высказать другому своего горя и ужаса.

Вдруг раздвинулся народ. С Старо-Русской дороги скачет отряд воинов. Они сходят с коней, идут на вече, и посадник Григорий с горестным изумлением узнает Буслая и удалую дружину его, храбрых новогородцев. Буслай кланяется в ноги отцу, кланяется в пояс всему народу и подходит под благословение архиепископа Алексия, который тут же заседал с посадниками и тысяцкими.

— Государь, батюшка! — говорит Буслай,— прости твоего сына за его непослушание к тебе! Народ новогородский! Прости своего соотчича, что он наперекор вечевой думе бился с москвичами! Владыко! благослови меня на слово к народу!

Как легкомыслен бывает народ, как быстро переходит от уныния к ярости, как сильно действует на него пример решительности и храбрости! Те же новогородцы, за одно мгновение молчавшие, как будто могила, оживились и громко воскликнули:

— Говори, Буслай Григорьевич! Новгород слушает тебя.

— Говорить много нечего, вольные новогородцы! Заварили мы кашу, так не надобно жалеть масла! Наш литовский храбрец сидит пнем на вече (он указал на Патрикия); князь Московский в двадцати верстах; посадники думали, когда беда была за горами, а не знают, что делать, как она стала за плечами. Скажите, новогородцы: правы ли мы были тогда, как объявили самосуд от князя Московского?

— Правы! правы! — кричали все.

— Глас народа — глас божий. Но мы не правы были, когда мы сносились с литовцами, когда приняли к себе князя Литовского и дали ему удел; мы не правы были, когда жгли города и посады Димитрия, когда не хотели платить ему законной дани. Слушайте, новогородцы: час суда божия наступает! Станем за правое, откажемся от неправого. Нам некогда и нечего думать. Пошлем еще к князю Московскому — благо, он теперь недалеко, но пошлем не серебром подкупать его бояр, а сказать самому князю: мы согласны заплатить тебе за все, только не трогай наших прав, нашей вольности! Мы вышлем литовцев в одну сторону, да и ты ступай в другую. Мы будем подвластны тебе, да и ты будь нам не врагом, а другом.

Согласится он — чего же хотеть более! Не согласится — умрем за Святую Софию! Пойдем резаться в стан его — ждать нечего и некогда! Сами запалим Великий Новгород! Все равно и без того Димитрий оставит на месте его одни головни, как оставил на месте Торжка!

— Умрем за Святую Софию! — закричали все новогородцы.— Право слово Буслая!

— Но кто же пойдет к князю Московскому?

Молчание снова. Буслай кланяется архиепископу.

— Владыко новогородский! Кому говорить с князем, кроме тебя? Иди, а нас благослови умереть за великий наш Новгород!

Дряхлый старец встал, благословил Буслая, поднял очи и руки к небу и произнес только:

— Иду! Буди воля господня!

— Да будет тако, да будет тако! — восклицал народ.— Умрем за Святую Софию.

Посадник Григорий обнял своего сына и заплакал.

Рано поутру на всех церквах Новагорода зазвонили во вся. Молодые спешили с оружием на площади и за город, а старцы, жены и дети в божии храмы, со слезами молиться за отчизну. Огни загорелись вокруг города, и воины новогородские ждали торжественного шествия.

Московский стан стоял в нескольких верстах. Уже удальцы с обеих сторон выскакивали на поле, бились, зачинали драку. Звон колоколов, толпы народа около города — все показывало нечто необыкновенное. И вот видят: по Московской дороге валит народ, остановился; от него отделяется толпа иноков, священников; сам архиепископ впереди их, с хоругвиями и иконами, при торжественном пении *«Спаси, господи, люди твоя!»* идет тихо, медленно, величественно. Все московские воины высыпали из табора, смотрят, дивятся. Духовенство, избранные новогородцы в сопровождении нескольких воинов вступают в табор; их ведут в ставку самого Димитрия.

— Новгород! Новгород! что с тобою будет! — думал Буслай, опершись на секиру и неподвижно смотря на московский табор.— Или пробил час твой? Или ты запустеешь под мечом Москвы, и только груды развалин будут означать место, где ты красовался своими церква-

ми, славился своими девами, гордился юношами и гремел богатством и честью?

— По дороге Московской скачут! — закричал сторожевой.

— Стан московский зашевелился! — кричит другой.

— Всадники новогородские мчатся назад! — проговорил конник. Он скакал во весь опор в город.

— Что? Что? — спрашивают его со всех сторон.

— Погибель Новугороду! — отвечает он.— Все напрасно! Разгневанный князь не берет дани, нейдет на договоры!

— Чего же он хочет? — спрашивает нетерпеливый Буслай.

— Твоей головы, всех зачинщиков бунта в свою волю, уничтожения самосуда, или — погибели Новугороду!

— Так погибни же, Новгород! — вскричал один новогородец и, схватя головню из разведенных огней, кинул на соломенную крышу своего дома!

— Погибни!— закричали другие — и все предместие вспыхнуло; красный огонь зашумел столбом, и багровое зарево осветило табор московский. В городе начался шум. Все в отчаянии бросились к оружию:

— В табор московский! — кричал народ.— Умрем за Святую Софию!

— Где Буслай? — спрашивали воины и воеводы передового отряда. Ему поручено было начальство, но Буслай уже был далеко.

Он и удалая дружина его, не отстававшая от него, прискакали уже в стан московский, бросили оружие и требовали свидания с князем Московским. Их повели в ставку Димитрия между рядами воинов, готовых на брань.

Что увидел там Буслай? Великий князь Московский, в бархатном кожухе, с золотыми петлями, в венце, стоял посредине. Высокий, дородный, с быстрыми, светлыми очами своими, окруженный безмолвным сонмом князей и бояр, он казался грозным судьею. Пред ним с потупленными взорами стояли владыка, посадники и житные люди Новагорода, и на коленях Владимир, сын посадника Федора. Он прискакал из Москвы, не явился в Новгород: узнал все происшествия и спешил предать себя в руки князя как преступник, уже осужденный им на смерть.

— Кто вы, буйная толпа? — спросил гневно Димитрий, видя входящую дружину Буслая.

— Надежа-государь! — отвечал Буслай, низко

преклоняясь.— Ты видишь Буслая, который жег и грабил Ярославль, когда вече уже определило покориться тебе; ты видишь виновника московского смятения, видишь новогородца, которого головы ты требовал, и я приношу тебе мою голову! Юноша, сын посадника Федора не виноват. Он был послан от Новагорода умилостивить тебя, и я спас его от плахи! Вот и все мои товарищи!

Изумленный Димитрий быстро посмотрел на Буслая.

— Много ли у тебя в запасе голов, что ты так милостиво даришь ими! Изменник! что побудило тебя на разорение и погибель?

— За новогородцев, государь, я жег твои города и за них умру теперь! Бери сколько хочешь казны и оставь Новгород на его суд! Мы отказываемся от Литвы; мы будем тебе покорны! Не то смотри, что делают новогородцы!—Он откинул полу шатра княжеского — вдали видны были полки новогородские, готовые в бой, и пламень пожара окровавлял пасмурное небо.

Димитрий задумался. Тогда седовласый владыка Новагорода, старец Алексий упал на трепещущие колена свои и воскликнул:

— Сердце царево в руце твоей! Господи! вложи ему мысль благую и милостивую!

И добрый князь Димитрий умилился. Он заплакал сам и обратился к образу.

— Боже великий! — сказал он.— Ты слышишь человека в день печали его, да не до конца погибнет! Новогородцы! — воскликнул он, остановился на мгновение и прибавил тихо: — Да простит вас бог, как я вас прощаю! О, если бы вся Русь была так сильна духом, как вы, не тяготело бы иго темного царства над православными!

Все пали к ногам его, кроме Владимира, Буслая и друзей его — они стояли как осужденные.

— Велик и милостив князь всея Руси! — воскликнули новогородцы и бояре московские, но они умолкли, когда Димитрий задумался и обратился к Буслаю.

— Буслай,— сказал он,— скажи мне правду, как перед страшным престолом божиим: неужели ты не каешься, что запятнал руки кровию христианской?

— Нет! — сказал Буслай,— прости меня, государь князь великий, вперед не буду, коли ты обещаешь быть добр и милостив к Новугороду! А что было, в том укора нет — я был не убийца, не тать! Честным боем сражался я, и если ты находишь вину на мне — вели казнить!

Милуешь, так милуй, не вспоминая прошедшего. Кто богу не грешен — и князю не виноват!

— Правда твоя! — сказал Димитрий, улыбаясь.— Исполать тебе — драться ты удал, да и в ответе не робеешь! Да только смотри — вперед не попадайся и особливо не приходи ко мне в Москву с своим *самосудом*, а старое забудем — прощаю всех вас! Тушите пожар и ждите меня в Новгороде как званого гостя!

Радость разлилась по табору.

— Пощада, милость великого князя Новугороду! — сии слова понеслись вихрем в город.

И старцы, жены, дети со слезами встретили владыку Алексия, посадника и Буслая с дружиною. Все целовались, обнимались, как братья; богатые прощали долги бедным; дети лепетали: «Князь Московский не сердится!» — и московские воины помогали тушить пожар.

С горя пьет русский, как не выпить на радости! Поблагодаря бога в соборном храме Святой Софии, толпа повалила к посаднику Григорию, который жил близко. Выкатили бочки меду и сентябрьского пива, раздали ковши и — пошла гульба!

Посадники обнимались и радовались, когда вошел смиренно и стал подле дверей тысяцкий Богдан.

— Добрые люди! — сказал он, кланяясь им низко.— Простите меня грешного! Покривил душою — не помяните старого! Федор Тимофеевич! Григорий Якунович!

Кто помнит обиду, когда сердце хочет выскочить от радости! Все обнялись, а Буслай вспрыгнул с лавки и бросился в ноги к отцу, когда тот потребовал у Богдана руки его дочери своему сыну. Скоро в доме Богдана застучали тазы и сковороды.

— Брат Владимир, обними меня,— сказал Буслай,— да не кручинься! Ведь и твоя зазноба в Новегороде,— сказал он ему шепотом.— Настасья Вельяминова уехала из Москвы с матерью, когда узнала, что близко погибель тысяцкого московского. У нее осталось еще животов столько, что есть чем позвенеть в уши отца твоего. Но поедем поскорее к Маше — у меня ретивое изныло с горя!

На другой день князь Димитрий приехал в Новгород. Его приняли с почестью и почетом, вынули из Софийской казны 3000 рублей и поднесли ему на серебряных блюдах,

а 5000 собрали после и прислали в Москву вместо прощального гостинца. Новгород остался по-старому. На отъезде доброго, милостивого князя новгородцы гуляли, как гуляют русские. А там что? Богатым не пиво варить, не вино курить. Буслай, как сокол, поехал с Машей к венцу, а потом, возвратясь домой, засели за столы дубовые, за скатерти браные, за ествы медовые. И старухи пошли плясать, когда дружка доложил, что на столе поставили куря с калачом и солонкой. Гости усмехнулись и шумно выпили за здоровье жениха с невестой по доброй братине заморского вина.

СТАРИННАЯ СКАЗКА О СУДЬЕ ШЕМЯКЕ С НОВЫМИ ПРИСКАЗКАМИ

В одном большом селении, далеко от Москвы белокаменной, не знаю только вправо, влево, на юг, запад, север, восток, вкось, или прямо, под вечерок, летом, когда солнце западало за дальние горы, сидели несколько мужичков на улице, подле дома. Сидели они на завалине, которою был обвален дом, для того, чтобы зимою не пропускать под пол избы лихого сивого русского мороза, а летом можно было где посидеть и побеседовать о том о сем, а *чаще ни об чем.* Если бы мне было теперь досужно, рассказал бы я вам подробно и о том месте, где происходило вечернее заседание мужичков, и о том, кто составлял их беседу. Вот изобразил бы я вам деревню или село, лучше сказать, расположенное на косогоре, к реке, где стучит мельница, сколоченная бог весть как, с плотиною, сбитою бог знает из чего. На это наши русаки-то дельны: из ничего слепят вам что угодно; не умея и не учась, построят вам дом, мельницу, машину, и в такой лачужке, куда француз или немец и свиньи не загнали бы, сработают вам предивные узорочья, парчу, бархат, сукно самоцветное. Промоет ли у них плотину — завалят ее всякою дрянью; испортились ли вешняки — забьют их колышками; покривилась ли мельница от водополья — подопрут ее подпорками и опять мелют себе да мелют. Снесет ли мельницу — соберутся, потолкуют, поохают и опять сберут всякой всячины и сладят ее. Впрочем, о мельнице речи нет: известно, что в них вмешивается кое-кто... не здесь он будь помянут! Мельник должен сладить с ним хорошенько, и мало что сладить — должен держать его в ежовых рукавицах, на крепких вожжах. Таков-то бывал старой памяти дедушка Фаддей, знахарь такой и ворожея великий: умел отыскивать коней, лечить девичью зазнобу, молодецкое горе, бабьи причуды, колдо-

вать решетом и зеркалом. Перед таким знахарем бедный черт на рогах пляшет, и когда призовут его, то стоит на задних лапах, будто ученая собачонка перед барышней, которая сахаром кормит ее. Итак, в мельницах дива нет. Но как в других-то случаях русак управляется — диво дивное, похожее на решето, у которого дыр много, а вылезть некуда! Есть поверье, будто тут много помогает русская борода: в ней, говорят, сидит что-то помудренее водяного дедушки. О, борода русская — дело великое! Когда кто сбреет ее, так походит на лысого беса и начинает дуреть — так написано в старой сказке, а право, не я выдумал. Когда же есть бородка у кого, на того положиться можете, что он двойной работник и хитрец, потому что их двое: он сам да борода! Выросла ты, борода русская, на снегах белых северных; среди лесов дремучих муромских; вспояна ты водою из Днепра-реки да из Волги-матушки; не золотой гребень чесал тебя, а чесала тебя невзгода великая; лелеяли тебя красные девушки русские, поили тебя сытою сахарною, пивом крепким, воронком черным, фряжскими винами и зеленым вином! И выросла теперь ты, бородушка, на утеху свету белому, на удивление краю заморскому! Не далась ты, бородушка, ни сабле татарской, ни бритве немецкой; задала ты перцу шаху персидскому, нафабрила усы султану турецкому; обзаводишься теперь умом, разумом, богачеством! Дельно, бородушка! Не уступай-таки, не уступай никому! Гордись, красуйся, развевайся на ветре родимой стороны и не давайся в обиду ни пану, ни хану, ни татарину... Беса гони православным крестом, а лихого человека русским кулаком...

Ну, вот куда заехали мы, начавши говорить о мельнице! Ведь если так мы пойдем по всей деревне, то и к белу свету от вечерни не обойдем ее. А мне, право, некогда, да и когда же начнем мы наши *старинные сказки с новыми присказками?*

Не во гневе вашей милости будь молвлено — как же и без того? Ведь птицу хвост красит, а сказку присказка, жена мужем хороша, дети честным отцовским именем, а дом тесовыми воротами. Далеко иногда оно заводит, а особливо на святой Руси: иногда присказкой-то все и кончится, а сказки-то и нет! Так в старые годы синица море зажигала, да только сборами и кончилось, а нашумела она с три короба добрые. Лещи боялись уже, что Переяславское озеро их будет кастрюлей и из них сварят уху; подавали они о том прошение ярославскому воеводе. Уж

с них подьячие и на водку взяли, и бумага была написана, и судье с заднего крыльца поклонились, да так дело и обошлось — ничем. Велено только с синицы взять штраф, зачем она море зажигать хотела, а с лещей взяли пеню за то, что они беспокоили суд недельными бумагами, ибо-де оная синица, имев намерение море зажечь, реченного моря не зажгла. Снетки белозерские так тогда испугались, что не смели уже и пожаловаться на щуку, которая глотала их целыми десятками.

— Ведь хотя по закону-то мы и правы, да не закон судит, а судья! — это рассуждение снетков, а не мое, потому что я так по-снетковски не рассуждаю и напротив думаю, что надобно бояться закона, а не судей — чему вы смеетесь? Право, я так думаю.— А сверх того, дескать,— рассуждали снетки,— как и судье вступиться, ибо щука на месте преступления не поймана! Оно, правда, и трудно поймать ее и уличить, потому что кого она проглотит, тот молчит, а кого не проглотила еще, так судья ему скажет: Чего ты кричишь? Ведь тебя не съели? — Свидетелями можно бы подтвердить на щуку, да поверят ли свидетельству какого-нибудь, снетка? Снетки народ мелкий, а щука зубаста и в родстве с знатью: ей и стерлядь сродни, и сам осетр ее знает, а белуга нередко у нее завтракает. Карась малый и добрый бы, и свидетельствовать не отказался бы, но он ведь сам боится *озадков:* щука умрет, а зубы у нее живы, так ему самому до себя! А ерш эгоист: если он сам цел, так ему хоть трава не расти!

Однако ж, что ни говори, а коли запрягли лошадку, так ехать надобно, и начавши рассказ, подвигать его вперед необходимо. Перейдем мы на грязную мельничную плотину и взглянем на село. Вот, например, на домы, хаты, хижины, которые стоят двумя кривыми рядами, одни подле других, как будто рекруты новобранные, бок с боком. Так уж исстари завелось, что дом подле дома строится в деревенском быту, кроется соломой, огораживается плетнем, во дворе бывает навоза по колено, перед домом колодец с ведром на веревке либо с журавцом, который едва дотягивает ведро до воды. Всякий, как пойдет черпать воду, так не оставит памяти того, кто колодец строил, без доброго слова. А нет чтобы поправить! Поправить? Ошутили вы тем! Иной не умеет, другому лень, третьему дела нет: ведь не его колодец! Иное дело — свое дело, иное — чужое либо общее. Кажется, общему делу надобно бы всегда лучше идти, потому что о своем каждый думает один с подушкой, а для общего сколько народу соберется, и

всякий добра хочет, всякий с советом лезет, и думает, и гадает, и головой качает, и палкой в землю стучит. А дело все не ладится! Был однажды случай в одной деревне, что на улице прохода не стало — такая грязь и столько добра на ней накопилось. Вот собрался мир, и стали думать. Так видите, в первый раз недоставало тут старосты Пахома — и разошлись; в другой раз выборный Вавила хватил чересчур — и опять разошлись; в третий раз собрание было полное, хотели говорить, но было уже поздно; в четвертый начали и долго, очень долго говорили, судили, рядили, и кончилось тем, что все согласились: на улице грязи и добра много; недавно поросенок хотел понежиться и утонул в луже, а у старосты Пахома теленок в грязи завяз; дьячок же Фока шел вечером из питейного дома, принужден был сапоги оставить в грязи и пришел домой босоног, как католицкий монах, а на другой день днем искал потерю на месте потери и ничего не нашел. Говорили, будто собака старосты вытащила сапоги и принесла их целовальнику. Фока жаловался о том сотскому, но тот ничего не отвечал, подумал, подумал, ударил Фоку по плечу и сказал: «Что с воза упало, то пропало»,— хоть Фокины сапоги совсем не с воза упали.

Рассказывать вам, как и что было потом на совещании, займет много времени. Когда-нибудь, в досужное время, пожалуй, я готов рассказать вам все подробности. Ведь правду говорят, что один дурак бросит камень в воду, а семеро умных его не вытащат. Так и тут случилось: самый глупый человек из целой деревни бросил в совете глупое слово, и от того слова что произошло — и бог знает! Староста с выборным поссорились; попадья с пономарихою побранились, да семь просьб было подано в земский суд. От тех семи просьб вышло четырнадцать тяжбенных дел, и двадцать восемь раз подьячие приезжали в деревню делать следствие, а от того пятьдесят шесть дворов пошли по миру, и остальные обедняли так, что и в Христов день случилось им яичко, а о масленице блин за диковину, хоть и есть пословица, что тогда и у кота блин бывает.

Вот если вы пройдете село из края в край и придете на сторону, противоположную мельнице, на тот пригорок, где с одной стороны виден светленький домик отца священника, а с другой возвышается небольшой сельский храм, то вы станете на таком месте, где все умы, все души бывают в согласии и где без всякого мира и совета все люди сельские являются в мире и совете. Нередко останавливался я при церкви божьей в селах и, смотря на нее, и на село,

и на окрестности, думал, что вижу верное изображение жизни и человека, и жизни русской особенно. Вот вокруг меня свободная необозримая природа: поля, волнуемые хлебом, пестрые, разноцветные, лазурные, желтые, зеленые, полосатые; там увал, и в нем змеится серебряный ручеек; здесь мрачный лес; направо ряд горных возвышений; в отдаленности цветные крыши господских домов и соломенные кровли крестьянских жилищ, и блестящие шпицы, и главы церквей и колоколен. Вблизи грязное, неровное, кривое село; ветхая ежеминутно грозящая падением, но стойкая, как упрямый мужичок, мельница, и недалеко от нее, в стороне, храм русского веселья, под елкою — печальным знаком того, что следует за весельем мирским. Село пестрится, разнообразится жителями, которые вечно заняты, и кажется, вечно ничего не делают; трудятся, как добрые волы, а по виду беспечны, как барашки классической идиллии. Тут и грязные создания — тучные сельские красавицы, и женщины сельские — сатира на идиллию русскую; тут и *мальчишек радостный народ* — однообразных в городе и деревне, в отцовской одежде, под присмотром провидения, которое хранит их, как хранит птиц небесных. И вся эта безвестная суета мелкого мира, однообразно оглашаемая голосом времени и истины — колоколом — вся она, равно прибегающая в горе и в радости, в младости и в старости, при рождении и при смерти, в храм всеобъемлющего, которого не постигает так же, как не постигает его высокая мудрость мира... И здесь, так же как всему в мире, конец и пристанище — кладбище, могила... Вся разница, что каменный мавзолей простоит сто лет, а деревянный крест пять лет. Не равно ли быть забытым под мраморной плитой и под глыбой дерна? Не равно ли тем же кончить, пробродивши несколько десятков лет по грязной деревне или проездивши их по улицам великолепного города в раззолоченной карете? Червяк никому не спустит...

Вот, господа, не прав ли был мудрый Эзоп (если он только когда-нибудь был), не прав ли он был, когда встретился с ним важный судья и спросил: куда ты идешь, любезный горбунчик? А Эзоп отвечал: не знаю! Судья рассердился и велел его отвести в тюрьму, а Эзоп вывернулся из судейских когтей тем, что закричал: «Вот, милостивый судия! не прав ли я был, говоря вам: не знаю? Знал ли я, что мне придется идти в тюрьму?» — Не все рассказчики походят на Эзопа умом, не все и некрасивы так, как был, по преданию, некрасив фригий-

ский мудрец, но все они походят на Эзопа тем, что сами не знают, куда идут и куда придут. И на лошади ретивой не всегда проедешь прямо, а на ретивом коньке воображения — дай только волю ему, так и помчит он тебя по полям и по горам, занесет в леса, поднимет и под небеса! Спасибо, что название моего рассказа дает мне полную волю шпорить конька моего. «Сказка складка»,— говорят. Если начали слушать ее, так не дивитесь, что она, как шаловливое дитя, станет прыгать на одной ножке, кувыркаться через головку, ходить колесом на руках и ногах; и вдруг то засмеется, то заскачет, то пойдет тихой поступью, как старушка, которая пробирается к лежанке и собирается отдохнуть, хоть ничего и не делала, а только ворчала на молоденькую внучку. Пожалуйста, не будьте похожи на бабушку, которая забыла, как сама бывала молода, и как дедушка делал ей глазки, а теперь дивится, что дети прыгают, и тому чудится, что солнышко стало холоднее, люди постарели, а веселье бог весть куда укрылось с белого света...

Ну, да что тут считаться, господа! Прямо ли, криво ли, близкой ли, дальней ли дорогой придете вы туда, куда идете — не все ли равно? Мне недосуг больше вашего, но когда уж мы пустились гулять по-русски, во всю мочь, не по тротуару, не по бульвару, а по чистому, разгульному полю, где душе раздолье, и скорее ноги устанут, нежели выходите вы место нашей прогулки, вы знаете русскую присказку: шел он путем-дорогою, близко ли, далеко ли, низко ли, высоко ли, шел, шел, много прошел, три просвиры железные изгрыз, три костыля железные истер, три раза борода у него вырастала, а он все думу крепкую думал и не вспомнился. Вот он оглянулся, глядь поглядь, ан как тут попал: стоит избушка на курьих ножках, повертывается, охорашивается, поклонилась ему, подобродействовала его. Смотрит добрый молодец,— ан еще он и шагу не шагнул — все еще на том же месте стоит, с которого пошел!..

Вот как мы сначала начали: в одном большом селении, далеко от Москвы белокаменной, сидели на завалине несколько мужиков деревенских или сельских, то есть жителей деревни, или, справедливее сказать, села, или селения, или того собрания жилищ, которое селом называют. Изъясняю подробности, дабы или чтобы, мм. гг., никакого недоразумения не оставалось — как говаривал один из старых моих учителей, который не любил недоговаривать, и оттого говорил с такими подробностями, что, преподавая

нам историю, далее ассирийской царицы Семирамиды никогда не доходил, хотя читал свои лекции постоянно и просиживал у нас в классе положенные часы непременно и точно, а начинал свои лекции еще в коридоре. Он в сенях снимал свою шляпу и произносил свое обыкновенное начало лекции: «В прошедшую лекцию, или прошедший час учения, или беседу нашу, т. е. в тот учебный час, который прошел, а не тот, который еще не пришел или не наступил, ибо будущего, кроме бога, никто не ведает, следовательно, и я не знаю, и говорить о нем не могу, да и не смею, да и грешно бы было, то есть неприлично, или зазорно, или не пристало, или нельзя вовсе, или то есть...» — Тут вступал он в класс наш, и хотя бы никого еще не было в классе, кланялся на обе стороны и, не глядя никуда, шел прямо к кафедре своей, взлезал на кафедру, кланялся снова, сам беспрерывно продолжая говорить: «говорили, или беседовали, или рассуждали мы, т. е. суждение имели, или соображения различные имея, результаты выводили, или, говоря попросту и за раз — концы сводили, или словодействовали, т. е. данную нам от бога способность: посредством известных условленных звуков идеи выражать голосом своим, чем человек отличен от скота, употребляли, дабы научась истории, или *гистории*, по латинскому произношению, из чего англичане сделали свое слово: history, а французы «истуар», или нежнее: l'histoire, и что значит (как уже имел я честь вам излагать или объяснять), происходя от греческого слова, означающего *«дей»* или *«деяние»*, как о сем знатно пишет покойный ныне, бывший тайный советник и астраханский губернатор Василий Никитич Татищев, коего сочинение, разумею, главнейшее, издал в Москве, в университетской типографии, в 1768 году в четырех томах, в четвертку, или среднюю кварту, с латинского: in-quarto, Герард Фридрих (а по-русски Григорий Иванович Миллер), под титулом или названием: «История Российская, с самых древнейших времен, неусыпными трудами, через тридцать лет собранная и писанная» таким-то имреком... Ну! так, история есть *дей* или *деяние*, заметьте, господа, а кстати, заметьте, что делит оную господин Татищев на историю сакру, политику, экклезиастику, т. е. священную, политическую, церковную и натуралис, или естественную — о чем всем мы уже рассуждали, приводя и другие деления истории, о чем уже мы говорили, но повторять не худо, но по присловью: repetitio est mater studiorum, т. е. повторение есть мать учения. Почему кстати заметить здесь и то, что

мы уже прежде заметили, что и самое название истории у многих народов есть иное, как то: у аравитян, или восточных арабов, коих отличать надобно от *арапов*, т. е. черняков, или негров (от niger, латинского), говорится: *тарих*, а у немцев, или как французы называют, *аллеманов*, или *алемандов*, или нежнее Allemands (о сем, отчего происходит, после скажу, ибо знаю, да теперь еще не время), или как Англичане зовут: Германцев (шепелявее произноси: Germans; *джермен)*, от слова римского или латинского: Germania, как и Тацит, написавший книгу: De moribus germanorum, т. е. о нравах Германцев (весьма хорошая и чтения достойная книга и латынью писана прекрасно). А итальянцы называют их *тедески*, от слова *туискон* или правильнее *теут*, о коем баснословили, якобы оный был прародитель немцев, от чего и сами немцы зовут себя не немцами, а *теучами*, или испорченно *деучами*, или еще испорченнее *деичами*, более же испорченно: *деичь*, и даже *даичь*, так что говоря немцу по-ихнему языку мы должны сказать: *шпрехен зи деичь*, вместо: *говорите ли вы по-немецки?* — Да, так, точно так — обо всем, сем и о многом еще мы говорили, но повторять не худо, дабы сильнее сие запамятовать, припомнить или, так сказать, в память себе вдолбить, ибо repetitio est mater studiorum...'

И в подобной беседе проходил у моего учителя целый час, иногда два, и мы не продвигались вперед ни с словами, ни с понятиями. Говорят, что детские привычки остаются у человека навсегда. Не от учителя ли моего прильнула ко мне привычка не двигаться вперед? Он был добрый человек, честный, ученый, знал несколько языков, и его погубила пословица латинская: repetitio est mater studiorum. Мир тебе, добрый мой учитель! Ты был забавен, но никто не скажет, что ты кого-нибудь обидел хотя словом. Одно стоит другого.

Вот куда занесла меня моя неосторожная привычка *заговариваться* — право, какая неосторожная привычка! Если бы начал я сказочку напрямик, с самого начала, так уж давным-давно сказка моя была бы рассказана. Кто же знал, что пройдет много времени, пока успею я разговориться с вами, господа! Кто же знал! Живи, не как хочется, а как... Кто бишь велит?.. Да, сударь, нечего сказать — как велят, так и живи. Так уж заведено теперь, что своим умом не жить, а жить чужим умом, а если можно, и чужим

добром. И очень хорошо, и прекрасно, и весело! Во-первых, меньше заботы думать и размышлять; во-вторых, надежнее, ибо свой ум можете спрятать подалее, на случай важной надобности, и когда покажется вам, что чужой ум ведет вас по околице, а не прямо, можете вынять свой собственный и прикинуть на проверку: так ли дело? Вы скажете, что лежа всегда без употребления ум может заржаветь? Эх, мил. гос., по-моему, так бог с ним! Пускай его не только ржавеет, но совсем заплесневеет. Ум самая неудобная вещь в мире. От него весь сыр-бор горит. Люди гораздо были бы счастливее, если бы могли целый день играть в *дурачки*. Знал я двоих почтенных супругов, которые жили в счастливом супружестве *сорок лет* и ничего более не делали, как только играли в дурачки. Иногда, для рассеяния, супруг бил еще мух, а супруга раскладывала в такое междудельное время *гранпасьянс*. И как они были счастливы, как плакали об них все наследники их, как всякий кто знал их, приводили их в пример другим! Вы, молодые и старые супруги, *вы, нынешние, ну-тка* похвалитесь счастьем без дурачков?

Я вам скажу: был у меня один знакомый — человек умный и степенный, весьма хороший хозяин, выигравший на своем веку четыре тяжбы, воспитавший четырех сыновей, и выдавший замуж четырех дочерей. Одна из них выдана была за соседа помещика, и тем прекратилось весьма спорное дело за чересполосную землю; другую выдали за купца в ближнем городе, и долг тому купцу поверстан был в приданое; третью выдал отец за исправника и тем прекратил неприятное следствие, которое производилось в его поместье; четвертая вышла за француза-гувернера, которого тесть простил, с тем, чтобы он даром учил у него внучат по-французски и всему, что знает и что в контракте было написано. Сыновья были пристроены также очень хорошо. Один был большой забияка — отец отдал его в военную службу. Сын служил славно, и вместо того, что из него в деревне вышел бы вздорный малый, его изувечили и на инвалидном содержании определили городничим в дальний маленький городок. Другой сын глуповат — отец его женил и сделал смотрителем скотного двора и винного завода. Третий был большой плут: еще маленький крал в саду вишни, и притом был мастер писать. Куда его? Разумеется, в приказные. И какой делец из него вышел — удивляться бы надобно! Четвертый сын был очень недурен собою. И этот сынок послужил основанием счастия отца и всего семейства: отец

умел одну богатую старушку заставить в него влюбиться и потом жениться на нем. Старушка думала, что рай нашла; свекор оставил ее в таком мнении, и только прибрал к рукам ее именье. Когда она вскоре скончалась, открылось, что после нее наследником сделан был молодой муж ее. Тут очень любопытно... Но я хотел сказать вам о моем знакомом.

Вот, видите, этот знакомый мой был большой мастер говорить и охотник разговаривать. Но кто с ним проговорил бы три часа битых сряду, тот не мог бы сказать, о чем речь шла и что такое говорили. Он всегда начинал погодою. Потом речь его начинала вертеться туда и сюда, вверх и вниз, и никогда не оканчивалась.

— Прекраснейшая погода,— начинал он, например,— только последний дождь вряд ли не помешает сенокосу, а у меня сена мало: коровы умножаются, а сена количество все то же; так-то пишет ко мне сын, что у него сена прошлый год недостало на полицейскую команду — беда, да и только! Хорошо, что богатый купец ссудил его, но он ведь городничий, а нашему брату, помещику, трудны эти займы — и денег нынче не добьешься; не только сено — умом хоть пруд пруди — все стали умны, да денег нет — старики наши были проще нас, да у них деньга водилась. Вчера вот я вышел на скотный двор и пустился в философию. Думал я, смотря, как моя бурая корова лежит да жвачку жует: счастливая ты корова! Как ты сегодня жвачку жевала, так и завтра будешь жевать, и послезавтра! А наш брат, человек то есть, не человек — слуга, а то есть благородный, потому что и мы все человеки, только не слуги, а ведь от Адама также произошли... Так вот изволите видеть, я, то есть, говорю к тому, что без сена жить нельзя, а без ума можно... У меня бабушка была, с жениной стороны — она говаривала: «ври, что хочешь, а деньги береги...»

Вам таких людей не случалось видать и слыхать? А я видал, видал и не такие диковинки... Скучно вспоминать обо всем, что мне видать удавалось... Станемте, господа, лучше *сказки сказывать.*

Смотрите начало рассказа. Сидели мужики на завалине, и один из них толковал о том, как иногда бывает тяжело на белом свете жить. Один толковал, а все слушали и приговаривали:

— Да, дядя Ефим! Ох, дядя Ефим! — а наконец кто-то

протянул подлиннее голос свой и громко проговорил: — Ох-хо-хо-хо, дядя Ефим!

Ободренный таким общим согласием, дядя Ефим продолжал:

— Видите вы сами, православные, что как ни суди, ни ряди, а все-таки тем кончишь, что время тяжелое, да и плохое! Головы не приберешь, что и делать! У кого нет денег, а у иных их много. Так вот, бедняжка, не знает, куда голову приклонить, а этот, горемыка, не ведает, куда с деньгами деваться. Тяжелое время, православные!

— А, дядя Ефим,— сказал один из собеседников,— если, то есть — не моей голове об этом судить, да так уж, то есть к слову пришлось,— если бы они переменялись; то есть чтобы богатый пособил бедному, а бедный взял бы у богатого? А, как ты думаешь?

Дядя Ефим поднял голову, посмотрел на собеседника прямо, а потом опустил голову, начал постукивать палкою в землю, покачал головою и сказал:

— Сметь было всякому говорить, да уметь ли всякому говорить дело! Где сколько голов, столько умов, там дело не делается порядком. Ну, богатый даст бедному, да взять, так надобно и отдать? Не правда ли? А где бедный возьмет и чем отдаст? Дырявое решето, сколько воды не лей, не наполнишь.

Собеседник его замолчал, но другой осмелился противоречить и сказал так:

— Но, дядя Ефим, если он не отдаст, так на то есть суд. На него пожалуются, и он должен будет отдать.

— Но смекнул ли ты делом, товарищ, когда говорить задумал? То-то и есть-то, если бы мы поменьше говорили, да побольше думали, да слушали, что другие говорят, так бы и дело шло.

Дядя Ефим хотел выразить, что его только надобно было слушать, когда он говорит.

— Ты разве не знаешь, что не бойся суда, а бойся судьи? Все стали вы умны и забываете, что старики ваши говаривали. Суд, суд! Из своих барышей да в суд поди! А около дегтя ходить замараться, в суд идти делом расквитаться. Еще станет тебя земский староста спрашивать: откуда ты деньги взял? Не украл ли? Ты, скажет, видно, всю деревню обобрал и оттого она и податей не платит! Тут не рад будешь ты пенью, а рад отпуску.

— Что же наконец из того будет, дядя Ефим?

— Что будет? Что было, то видели, что будет, то

увидим. Что будет, то будет, что будет — то будет, а будет то, что бог даст. Чему быть, тому не миновать!

Оглушенные и сбитые с толку этими *было, будет, будет, было,* все собеседники повесили головы. Один из них, опираясь локтями на колена, бросил в сторону щепочку, которую вертел в руках, и проговорил: *Ох, судьи, судьи!*

А дядя Ефим, пользуясь наставшим после сего молчанием, продолжал:

— Плохое время, тяжелое время! Хлебу не родиться, вконец разориться. А все народ стал умен да хитер! Всякий думает, что я не меньше другого знаю — какому тут ладу быть? Как еще люди на белый свет глядят! Как им жениться-то охота? Одной головой, так и быть, как-нибудь промаячишь, а как с женой, да как пойдут еще дети — так и *унеси ты мое горе!*

— Ох! жена, жены! — проговорил один из собеседников, видя, что подобные возражения дядя Ефим позволяет.

Тут подошел к ним Еремей Карпов, малый удалой, в извозах бывал, ни богат, ни беден; веселый, когда есть деньги, еще более веселый, когда за душою ни копейки нет. Он был большой балагур, большой говорун, мастер сказки сказывать, песни петь, смолоду и поплясать любил, а зеленого вина пивал по кварте не пьянея. Был он еще ни молод, ни стар, но плясать уже перестал, с тех пор, как начал позволять себе в кругу стариков говорить дело и безделье.

Еремей остановился против дяди Ефима, подпер бока руками, и, провозгласив раза два: хе! хе! продолжал вот так:

— Старина, старина! А кто старое помянет, тому глаз вон! Ты, видно, это присловье забыл? Что ты рюмишь да горюешь? Разве ты не знаешь, что всегда так бывало?

— Что? Всегда так бывало? Нет, Еремей, не сбивай людей с толку: лучше было прежде, а теперь так горе, не постояльцем у добрых людей, а хозяином живет да их самих из избы выживает.

— Хорошо, дядя Ефим! Ты человек старый, скажи-ка, сделай милость: бирали ль прежде судьи взятки?

— Нет, у нас, говорят, воевода был, а взяток не брал.

— Ну, одним поленом печи не вытопишь. А если он не брал взяток, так чем же он живал?

— У него было определенное, что должны были ему

взносить ежегодно и к каждому празднику. На каждую душу было положено, что взять с нее, так уж всякий знал. Положено было, что должно ему было заплатить, когда мертвое тело найдено в чьей усадьбе; что дать, когда пристанодержательство открылось; что взносить с красным яйцом, с куличом, в Спасов день, в Юрьев день.

— Ну, а за суд?

— За суд ничего. Кто приходил судиться, тот взносил положенное, и если его противник того же не платил, так его и обвиняли, а если платил, так их мирили. Что это было, говорят, за житье! Мир какой! Тишина какая! Все довольны — хлеба бывало много; толковать-то много не смели! Теперь так все умны стали. Уж и не в Еремееву версту туда же тянутся, да толковать хотят!

— Я, дядя Ефим, толковать не хочу, а сказку тебе, пожалуй, скажу. Ты на нее не прогневайся, потому что сказка складка, а не быль. Неужли и на сказку ты осердишься?

— Сердиться не устать, не хлеб молотить.

— Так послушай же моей сказки.

— А как имя?

— Да имя просто: *что встарь, то и ныне.* Не о том, как ведьма на помеле летала, а про *судью* про Шемяку.

— Слыхал.

— Послушай еще, с новыми присказками. Видишь что: в некотором царстве, в некотором государстве, не в долгих после Семибоярщины, в дальних улусах, на ровном месте, как на скатерти браной, стояла деревня. В той деревне жили-были два мужика: Голый Ерема да Фома Большая Крома. Вот, как и теперь у нас грешных бывает, пришла к ним зима сиволапая, затрещали избушки, повалил снег. У кого тепло, у кого добро, а Ерема лежит на нетопленной печи, дует в кулаки, да думает: Ух! холодно! Право слово, ныне и морозы стали сердитее: нигде места не находишь! Дай-ка,— говорит сам себе,— поеду в лес, дров нарублю да печку вытоплю! — Пошел к соседу, попросил топора; у другого выпросил сани. Пришел к Фоме, просит лошади. На Фому в тот раз добрый стих нашел.

— Изволь,— говорит,— возьми лошадь.— Ерема поклонился, взял лошадь, повел к себе, да идучи-то и думает: экой я дуралей! Выпросил лошадь, а хомута не взял. Как же я запрягу ее? Идти опять к Фоме — еще рассердится и лошаденки не даст. Идти к соседям — скажут, что за дурак, хомут забыл, когда лошадь брал! Да

и придется ли чужой хомут по лошадке? Голь мудрена. Думал, думал, да и вздумал: привяжу я лошадь к саням хвостом! Точно! Привязал, перекрестился, поехал. Ну, ехал он близко ли, далеко, низко ли, высоко, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Ерема нарубил воз дров и поехал назад. Ладно дело! Приехал домой, отворил ворота, да и забыл подворотню вынуть; нукнул на лошадь; та уперлась, двинулась: сама-то на двор взошла, а воз-то на улице остался, и с хвостом! Экое горе! Как теперь к Фоме показаться? Что он скажет? Взял лошадь с хвостом, а отдаешь без хвоста! Но так как делать было нечего, побрел Ерема к Фоме, повел с собою и лошадку бесхвостую.

В самом деле, господа, отставив рассказ Еремы в сторону, как не сказать, что если придет к горькому горе, так и ума не приложишь, а если приложишь, так еще хуже глупость сделается. К горю горе так и льнет. Слыхали ль вы песенку удалого Сибирского казака Кирилы Даниловича? Придумайте на нее музыку, а я вам скажу слова:

Горе, горе, гореваньицо!
Лыком горе подпоясано;
Мочалами ноги изопутаны!
Я от горя во темны леса —
А горе прежде меня зашел!
Я от горя во почетный пир —
А горе зашел, впереди сидит!
Я от горя на царев кабак —
А горе встречает, насмехается!

Как закричит на Ерему Фома Большая Крома, закричит, как только богатые на бедных кричать умеют, у Еремы и ноги подкосились! Повалился он в ноги Фоме, просит, плачет, умоляет. Нет пощады!

— Как ты смел! Как ты дерзнул! Как ты мог у моей лошади хвост выдернуть!

Ерема уверял, что она сама его выдернула, отдавал себя в заработку, просил простить, просил прибить, да только простить.

— Ни прощать, ни бить тебя не стану,— отвечал Фома,— а пойдем-ка, приятель дорогой, к судье Шемяке! Пусть он рассудит, и что он велит, то и будет!

Что станешь делать! Фома ухватил Ерему за ворот и повел его к судье Шемяке.

— Что же такое,— думал теперь Ерема,— будь что будет! Ведь уж хуже не будет? Пойдем к судье Шемяке — с голого что с нагого — снять нечего! — Пошел он за Фомою и, идучи дорогою, еще песни запел.— Хорошо —

думал Фома — пой! Придешь ты к судье Шемяке, так и курицею запоешь!

Шли они, шли, и застала их ночь. Идут они через большую деревню. Фома устал — видит, что ночь на дворе, а еще до судьи Шемяки далеко, остановился и решился в той деревне ночевать.

Богатому везде ночлег готовый. Постучался Фома у знакомого мужика Карпа. Выбежал Карп, обрадовался.

— Ахти! гость дорогой! Фома Карпыч! Откуда тебя, какие буйные ветры занесли? Добро пожаловать!

— Ах! Карп Фомич, укрой от темной ночи, пусти отдохнуть, похвастай хлебом-солью!

Обнялись приятели, вошли, молятся. Фома залезает в передний угол. Хозяйка ему кланяется. Хозяин не знает, чем угостить дорогого гостя. Полный стол наставили питья и еды; выпьют да поедят, поедят да выпьют. Разговорам конца нет, а с Еремой новая беда!

Его было Карп и в избу не хотел пустить, и чуть ему носа дверью не прищемил. Но Фома объяснил, что ведет Ерему с собою, жаловаться на него судье Шемяке. Карп пустил его в избу. Ерема залез на полати и думал с горя заснуть. Но к голодному и сон не приходит. Ворочался, ворочался Ерема с боку на бок — не спится; гость и хозяин пьют, гуляют, спать не дают. Начал Ерема глазеть с полатей от нечего делать — видит питья и ествы; смотрел, смотрел, засмотрелся, да с полатей и полетел вниз через голову! Ногами ударился он об стол; стол полетел вверх ногами, прямо ударил в лоб Фому, по носу задел Карпа и заставил их обоих затылками в стену стукнуться. Питье, еда — все поминай как звали! Да, то бы все еще не велика беда, хоть пролитое полно и не бывает, но где пьют, тут и льют. Худо было то, что Ерема, падая, придавил коту хвост, так что кот неблагим матом замяукал и припрыгнул! Да и то еще беда не главная, а вот уж что в самом-то деле было худо: кроме котенка, Ерема ушиб еще ребенка, который тут, под полатями, лежал в колыбели, и так ушиб, что тот и не пикнул!

Ну, уж ведь это дело не коневий хвост, не птичьи рога, не петушье молоко! Жена Карпа ухватилась было за ухват и хотела рассчитаться с Еремою. Но Карп остановил ее и сказал:

— Стой, жена! Не ухватом такое дело решается. А просто пойдем-ка, приятель, к судье Шемяке!

Опять Ерема повалился и этому в ноги, плачет, просит.

— Смилуйтесь, православные!

— Нет, нет! — Фома ухватил Ерему за ворот с одной стороны, Карп с другой, и повели его к судье Шемяке, приговаривая:

— Добро, ладно — рассчитаемся порядком! Слыханное ли это дело: у лошадей хвосты вырывать! Слыханное ли это дело: на ребят с полатей сваливаться! Ведь этак житья нам не будет — лошадей не наготовишься, ребят не напасешься! Разве лошадь-то крыса какая-нибудь? Разве ребята-то тебе щенята достались?

И идут они себе путем-дорогою. Недалеко уж им осталось и до судьи Шемяки идти...

Тут Еремей Карпов опять подпер руками бока свои, ноги пораздвинул, как будто хотел покрепче стать на своем месте, и потом, закусив бороду в зубы, пристально посмотрел на все собрание. Все молчали. Дядя Ефим тоже молчал. Тогда Еремей вынул свою тавлинку, похлопал по ней пальцами, открыл ее, взял табачку, нюхнул молодецки и крякнул. Дядя Ефим, который сидел опустив голову вниз и вертел между тем пальцами, вздрогнул и сказал с досадой:

— Тьфу пропасть! Что тебе доспелось такое!

— Ничего, дядя Ефим, а вот не прикажешь ли табачку? — Он поднес дяде Ефиму свою тавлинку.

— Провались ты, окаянный, с твоим табачищем! — воскликнул дядя Ефим и, переставши вертеть пальцами, угрюмо погрозил Еремею.

— Эй, Еремей Карпов,— продолжал он важным, учительским голосом,— эй, Еремей Карпов! несдобровать тебе!

— А за что бы так несдобровать мне? бью твоей милости поклоном и спросом.

— Да мало ли за что! Живешь ты не как другие добрые люди!

— Ну, то есть что я иногда говорю правду вам, богатым людям, да старосте не спускаю, а сотскому и подавну?

— Да, и делаешь ты не как добрые люди!

— Ну, то есть что когда вы, умные головы, решите: быть делу так, то я иногда вам поперечу и говорю: нет, не так, а вот как, что с бедной шеи повороти на богатую шею, сзади хомута не надевай, так ты бедного береги, да и совесть-то свою держи чистою, как чист бывает горшок

у доброй хозяйки, чтобы тебе ни перед богом на том свете, ни перед батюшкой-царем на этом свете отвечать не дать!

— Да кто тебя поставил нашим судьей? Кто тебя просит вмешиваться не в свое дело? Не правда ли, православные: он что за выскочка?

— Да, да! Что за выскочка! — провозгласили все мужики, кроме двух, из которых один беспечно глядел в то время, как теленок у мимо шедшей бабы крынку молока с головы сбил, а другой чертил палкой по земле фигурки, опустив голову.

— Ах вы лягушки приболотные! — воскликнул Еремей.— Только вас и стало, что квакать да подквакивать: да, да, ква, ква! А тебе, Панкратий, видно, хоть травушка не вырастай на могиле отцовской — тебе все равно: хоть теленок разбей крынку у Федосьи, хоть староста разбей голову православного дубиной! А ты, Пахом, прежде говаривал по-моему, да теперь уж больше не говоришь...

— Говаривал, да не говорю больше! — возгласил Пахом и вздохнул.

— А от чего?

— Да примололось говорить одно да то же. И притом, брат Еремей, стар будешь, умнешься. Станешь только о том думать, чтобы тебя не трогали; свернешься ежом, а там хоть целый мир колесом катись.

— Так, видно, совесть-то человеческая похожа на лапти — изнашивается! Сначала думаешь, как бы тебе тушить пожар у доброго соседа, а потом спокойно садишься против него да только греешься, помня, что не твоя хата горит! Так-то и Панкратий делает. Только смотри, брат: когда у тебя загорится, так другие придут только погреться у твоего огонька!

Пахом засмеялся.

— Посмотрю я на тебя, Еремей,— сказал он,— умный ты малый, а разума в тебе нет! Неужели ты думаешь, что если бы ты все пожары у соседей перетушил и когда у тебя загорится, так к тебе сбежится весь мир православный? Ха, ха, ха! И чего же биться по-пустому?

— Пусть так,— сказал Ерема,— но когда мне бог дал ноги, которыми должен я ходить, руки, которыми работать, так на что-нибудь дал он мне и язык, и голову, и ретивое: чуять смолоду зазнобу сердечную, думать о добре головой, а языком сказывать православным, что на сердце бог положит и что мне хорошего да доброго в голову придет.

— Да что тебе доброго может прийти в голову? — с

досадой сказал дядя Ефим.— В чужие ты дела мешаешься, а своих дел справить не умеешь!

— Нет! Не только умею свои дела справить, да еще тремя лошадками так правлю, что на-поди, разлюли! Разве ты не видывал, как я на тройке лихо катывал? Да кто против меня из вашей братьи выезживал столько, сколько я? Кто из вас бывал в Адесте, в Липску у немцев, в Бердичеве у жидов? А Москву-то я знаю, как свою деревню!

— Пускай пузыри на воде, так лопнут и следа нет, а уж хоть бы словами-то придержался, не болтал людям на посмешище! Ведь слово не воробей: вылетит, так не поймаешь.

— Я своего воробья поймаю в твоем роту, дядя Ефим, который у тебя всегда открыт, когда я говорю.

— Да он, православные, браниться изволит! Что же это такое будет? И не в Еремину версту, да слушают меня, а он слова выговорить не даст! Если бы ты свои дела править умел, так и не был бы ты гол, как сокол. Если бог кого благословляет, так он того благословит деньгами и всяким добром, а ты что за птица важная! У тебя и изба тремя дубинками подперта, а в кармане у тебя хоть выспись! Да что, что ты говорить-то мастер? Краснобай, да и только!

Еремей снял шляпу, низко поклонился и сказал:

— Великую правду я услышал от тебя, дядя Ефим, что ум познается по деньгам, а благословение божие меряется по богатству! Этакой правды и от нашего отца Никифора во веки веков не услышишь. Не помню только я, кто бишь сидел в аду, в пламени неугасаемом, когда бедный Лазарь находился в раю, подле праотца Авраама? Желал бы я еще спросить у подушки каждого богача: что-то с ней поговаривает ночью совесть их. Изба тремя дубинками подперта! Так что же? Первой я гоню от себя всякую тоску и заботу; другой боится у меня всякое дурное помышление, а третьей дубинкой готов поподчивать ребры того, кто меня обидеть вздумает! Беден бес, который хлеба не ест, дядя Ефим, а я его ем и, слава богу, до сих пор еще по подоконью его не прашивал; а если и придется просить, так к твоему окошку просить его не приду, чтобы тебя на грех не навести, когда ты мне откажешь. Ведь всякий отказ бедному у бога в книге животной записан бывает, и листы этой книги надобно потом слезами смывать, когда придется рассчитываться перед тем судом, где взятками грешного дела не очистишь и где перед судьей встанут рядом и бедный Еремей и богатый Ефим, да не только мы с тобой, но и поболее и получше нас люди все в равном достоинстве — царь и во-

ин, вкупе богатый и убогий, и каждый от дел своих или прославится, или постыдится.

Тут Еремей оборотился ко всем и сказал:

— Кажется, православные, я не вздор несу, а как будто дело на дело похоже?

— Да, да! — заговорили все.

— Видишь ли, дядя Ефим,— сказал тогда Еремей,— православные не потакают по тебе, как я правду говорю: ведь на правду слов немного! Ты говорил, что я птица не великая, так за то я в великие птицы и не лезу: велика ворона, да дура, а соловей мал, да дорог. Знаешь ли ты, что однажды соловей провел человека мудрого? Если хочешь, я тебе эту притчу расскажу, а ты послушай.

Некий человек шел путем-дорогою и поймал птицу от премалых птиц, еже есть нарицается *славий,* и хотя заклати оную малую птицу, и вынув нож от недр своих. И дан был славию глас человеческий и глагола славий человеку:

— Аще ты меня заколешь, утробы своея не насытишь; аще ты меня пустишь, я тебе поведаю три премудрыя слова, и ты ими вовек премудро проживешь.

— Поведай,— рек ему человек,— и я тебя отпущу.

— Три премудрыя слова сии суть,— сказал славий,— первое: не всякому слову веру ими; второе: чего не имеешь, на то не покушайся; третье слово: не кайся о мимошедшей вещи.

Слышав все то, человек отпустил славия; славий же начаша по воздуху летати и человеческим голосом взывати:

— Человече, человече! аще бы ты меня заклал, и ты бы из меня вынял камень самоцветный и многоценный, величиною с воробья старого, и понес бы его к царю и великая чести сподобился бы ты от царя!

Слыша то, человек начаша плакатися и сетовать. Славий же, по воздуху летая, воссмеялся и рек ему:

— О люте, человече, безумию твоему! Несть ли прежде сего рекох ти; не всякому слову веру емли, чего не имеешь, на то не покушайся и о мимошедшей вещи не кайся? Возмысли сам: от премалых птиц есть премалая, как же могу вместить камень самоцветен и многоценен с воробья старого? Аще бы и имел его в утробе моей, как хотел ты взять, что тебе не принадлежало, и как пустивши меня, стал ты о том каяться? — И отлете славий, а человек отыде посрамлен.

— Ну, ну! пусть ты соловей,— сказал дядя Ефим,— только не слишком-то вашу братию, соловьев, ныне слушают, и им приходится петухом петь.

— Будто это с нашего времени! — возразил Еремей.—

Давно, брат, дядя Ефим, так на белом свете ведется, с тех пор, как правды не стало, а кривда на ее место села, а было то еще до царя Соломона. Вот послушай.

Прислал к царю Соломону царь из земли эфиопской, написал загадку: «Стоит щит, а на щите сидит заяц; прилетел сокол, взял зайца; прилетела сова, села вместо зайца на щит. Аще царь Соломон мою загадку разгадаешь, дам тебе три клади, одну с золотом и две с серебром». Царь Соломон думал, думал, гадал, гадал, не придумал и не разгадал. Призывает он к себе мудрецов великих; те думали и не раздумали. Пришел к нему стар старичок, одноглазый, а попросту рещи кривой, и отгадал загадку так: щит — земля; на щите сидел заяц — то правда на земле; прилетел сокол и взял того зайца — то пришло время и унесло с земли правду; и в зайца место прилетела сова и села на щит — то села на землю кривда.

— Хорошо рассказываешь, да не так-то бывает, как говорится,— отвечал дядя Ефим.— Эй, Еремей! говорю тебе: дойдет до разделки за твою буесть, да за твое краснобайство, право слово, не сдобруешь ты! Уж и то староста на тебя зубами пощелкивает!

— Так тебе завидно, что ли? Да пусть пощелкивает: ведь я не орех, меня не расщелкнешь скоро! Будто у нас только и света в окошке, что сотский да староста? Не бойся суда, бойся судьи — говорил ты, а я тебе скажу: бойся кривды, да меряй гнев человеческий на свою правду, так никогда не промеряешься...

— Да полно вам, что вы сцепились, братцы! — сказал один из собеседников.

— Я, что ли, начал? — сказал Еремей.— Вся беда, что я ему сказку про судью Шемяку сказывал да табачком его подчивал,— ну, от сказки ему морщится, а от табаку чихнуть хочется! Ты стращаешь все судьями, а я вот тебе докажу, что страшен сон, да милостив бог: и с судьями иногда дело делать можно. Дослушай!

Недалеко уж им до Шемяки судьи идти оставалось, а куда бедному Ереме идти было тяжело, хоть его поддерживали за ворот, Карп с одной стороны, а Фома с другой. Идут молодцы, и думает Ерема:

— Ну, и без беды судья беда, а у меня две такие беды над головою, куда я денусь! Заплатить нечем, поплатиться и поготово нечем, а они мужики богатые: если бы чего не дотягивало на их сторону, так они деньгой дотянут, а день-

га и камень долбит. Судья же Шемяка не камень, так они в суде его такую дыру продолбят, что и на тройке проедешь. Сгинь моя голова победная! Вот подходим мы к мосту, а под мостом прорубь немалая. Перекрещусь, да брошусь в прорубь — поминай как звали, все беды в воду и пузырья вверх! Ведь и без того меня судья Шемяка по головке не погладит, а конечно, так, что велит злой смерти предать. Коли мне на роду было написано житье починивать заплатками горя, да запивать каждый день не зеленым вином, а грустью окаянною — пускай хоть рыбы позавтракают мной да мне спасибо скажут...

Сказано — сделано. Только поравнялись с серединой моста, Ерема говорит:

— Постойте, православные! Постой, Карп Фомич, погоди, Фома Карпыч! Вон видно отсюда село — дайте перекреститься на божью церковь!

Карп и Фома отпустили Ерему, а он снял шапку, положил ее на перилы моста, перекрестился да как махнет с моста — только и видели его! Карп ахнул, Фома ухнул — бросились, ухватились оба за Еремину шапку, схватили ее, держат! Фома с переполоха забылся, думал, что находку нашел, закричал:

— Чур вместе!

Карп махнул рукой, говорит ему:

— Перед тобой неделеная! Где теперь его взять? Кого судья Шемяка судить будет? Ты все затеял, Фома Карпыч! Нелегкая принесла тебя с этим окаянным Еремой! Да я не на гривну теперь сапогов истоптал!

— Экой ты, Карп Фомич! Как будто я и виноват в чем — не тем он будь помянут, окаянный! Правда и то, что не даром ему достался хвост моей лошади и твой мальчишка.

— Чего не даром! Видишь, какой своевольник: не хотел, чтобы его законною властью судили, а сам себя рассудил. Таковский и был!

— Что таковский и был! Велика беда: в прорубь бросился...

Пока мужики рассуждали дело таким образом, стоя на мосту, услышали они внизу, под мостом, такой шум, как будто Ерема, упавши в прорубь, всех водяных взбеленил. Бросились мужики к перилам, глядят — глазам не верят: Ерема стоит под мостом, на льду, живехонек, и держит его там за ворот здоровый мужичина, сын богатого крестьянина из ближнего села; подле стоит лошадь, запряженная в сани, а в санях лежит кто-то и молчит.

Будешь молчать! Видите, какая тут вышла штука и вещь предиковинная: когда Ерема полетел с мосту, так полетел он не к верху, а вниз, да в прорубь-то не попал, а упал на лед. В это время под мостом по льду ехал в санях богатый мужик из ближнего села и приноровил так, что Ерема попал прямо на этого мужика, со всего размаху стукнул его в голову, да так стукнул, что тот и ох!— молвить не успел.

— Ну, Фома Карпыч! Кому быть повешенному, тот не утонет! — сказал Карп.

— И я на ту же стать смекаю! — отвечал Фома Большая Крома.— Да, видно, еще на Ерему грех не спасенье. Кажись, он Сидора-то Михайловича на порядках отделал. Теперь засудит его судья Шемяка до смерти. Из его лап не вырвешься!

Пока они говорили, выползли из-под мосту. Сын Сидора Михайловича, рад ли, не рад ли был тому, что родимого так легко на тот свет отправили, только неблагим матом трясет Ерему за ворот, как будто грушу добрую!

— Что, добрый человек,— сказал ему Карп Фомич,— куда это собираешься в путь, в дороженьку? Куда это волочешь ты этого окаянного Ерему?

— Никуда не собираюсь я, добрый молодец, зовут меня Артамон, сын я Сидорович. А ехал я с бачкой моим из моего села к куму в гости, нового пива отведать. Подъехали мы под этот мост, и вдруг свалился с моста вот этот окаянный, прямо на моего бачку, и отправил его в дальнюю дорогу, так что он перед смертью и пожалеть не успел, что у кума пива молодого не отведал. Вот и я поворотил оглобли: веду этого прыгуна к судье Шемяке; пусть он у него попрыгает да научится, каково с мосту, не оглядевшись, бросаться да добрых людей давить!

— Хе, хе! — возгласил тогда Фома Карпыч, по прозванию Большая Крома,— так мы тебе добрые попутчики, челом бьем твоей милости: ведь и мы так же шли к судье Шемяке, именно вели с собой этого некошного Ерему!

— А вам что до него за притча такая? Вором он не глядит: не такая стать на нем; до плутка, кажись, он не выспел, а другой причины я и не придумаю.

— Есть причина, добрый молодец, и такая причина диковинная, что и три бабы в три дня ее не придумают. Пойдем-ка вместе; держи его покрепче, плута-мошенника, а мы тебе пособим, да потом все судье Шемяке поклонимся, чтобы он его хорошенько выучил, как у лошадей хвосты беречь, с полатей не падать и с мостов не прыгать!

Вот и пошла честная компания, все рядом порядком, идут не оглядываются, только снег под ногами хрустит; спешат к судье Шемяке жаловаться на бедного Ерему, а дорогой друг другу про его беды рассказывают. Ерема молчит да думает; дает волю говорить, а сам разгадывает, словно бобами ворожея разводит: что ему теперь делать? Да, та беда, что на свою беду и ума не приложить. Иное дело чужая беда: та, что твоя бочка пустая — так и покатывается, а своя беда, что бочка до полна налитая. Брага ли, вино ли в ней, только трое с места ее не сдвинут. Однажды у мужика на кровле трава выросла. Думал он, думал, бедняга, что ему делать? Взлезть ли туда и траву скосить, или кровлю сломать, чтобы трава сама с кровли свалилась? Придумал наконец — поднять туда свою корову, чем ее на луг выгонять. Да, впрочем, вы, думаю, эту сказку слыхали, а у меня она не сказка, а присказка, а сказка все еще остается недосказанною...

Сказка недосказанная! говорит Еремей Карпов и останавливается, может быть, опять табачку понюхать! Набрался бусурманского духа, окаянный, ездивши за границу, в жидовский город Бердичев, в полурусский город Одесту, да в немецкий город Липск! Мы уже видели, как говаривали ему дядя Ефим и другие старики, степенные и почетные, у иного борода с локоть:

— Эй, приятель, полно! Смотри — каково-то будет — чтобы не отвечать! Полно, Еремей! Говорят тебе, полно, не шали!

Еремей одно отвечал на все эти столь определенные советы:

— Да скажите, православные, что я такое делаю? За что мне беды ждать?

— За что, за что? — возражал с досадой дядя Ефим.— Да что ты в самом деле за штука такая? Аль тебя умнее в целой деревне нет?

— Разве я сам себя называю умнее из всей деревни? Ведь вы это говорите, а не я! Право, я ничего такого не сделал, за что бы стоило мне и одно недоброе слово сказать!

— Да, ты всякому хочешь дорогу указывать, впереди всех хочешь идти!

— Оттого, что все назад прячутся, а если никто вперед не пойдет, так мы и целый век все зады читать будем!

— Что тебе за дело до того? Да ты же не велишь старосте попенной сборки чинить, за неуплату казенных повинностей!

— Если бы я знал, что эти сборки идут в царскую государеву казну, я последний кафтан снял бы с себя да отдал, а то с нашей шеи дерут да делят между собой старосты да сотские. Почему же мне не надоумить православных: братцы, не давайте этим пиявицам нашу кровь сосать!

— Да твое ли это дело?

— Дело это всякого доброго человека и доброго христианина, так как всякий обязан стеречь своего соседа и чинить мост, чтобы сквозь него не провалился кто-нибудь.

— А вот узнает об этом капитан-исправник-та, он тебя вразумит, каково вмешиваться не в свое дело!

— Капитан-исправник поступит тогда против присяги, какую давал царю-государю, и против долга совести, в чем отдаст ответ богу. А впрочем, капитан-исправник еще не конец делу: над ним есть набольшие.

— Пустят тебя этакую дрянь к набольшим!

— Да, если бы мы дружно стояли в вере и правде друг за друга, так при наших добрых, православных царях-государях никого дрянью не смел бы назвать ни один капитан-исправник! Но что говорить об этом, православные: не за то сердятся на меня наши старики, а за то, что я не слишком-то слушаю их высокой речи, за которою привыкли они видеть, что все только им кланяются да поддакивают. Да за то еще сердятся, что я табачок понюхиваю, смекая в своей голове: нет греха понюхать табаку, а грех сделать что-нибудь не по душе и не по правде!

Тут много голосов подымалось с разных сторон и, соединяясь с голосом дяди Ефима, пели старую песню Еремею: «Эй, брат Еремей, смотри — не нажить бы тебе лиха!»

Впрочем, тем все и оканчивалось между простяками, поселянами того села, где жили богатый дядя Ефим и удалый Еремей Карпов. После того все опять принимались слушать *сказки и присказки* Еремея. Да, притом же, кто ни говорил, а собственно Еремея не выдавал народ православный в обиду ни дядям Ефимам, ни старосте, ни капитану-исправнику. Еремей был мужик исправный в деле, в платеже податей, в обработке своей полосы земли. В деревнях еще не дошли до той утонченности общественных отношений, какая видна в городах. В деревнях, например, совсем не знают страшного для горожан преступления, которое называется: *быть человеком беспокойного характера.* О, почтенные мои читатели! Будьте вы лучше скупы, жадны, немилостивы, бесчеловечны, трусливы — только, сохрани вас бог, *быть людьми беспокойного характера!* После этого названия вы пропали, пропали совершенно,

и уже что бы на вас ни возводили, люди всему поверят!

— Скажите: какой этот человек? — спрашивает Фома.

— Ничего *худого* об нем сказать не могу,— отвечает Терентий,— только он ни с кем не уживается: весьма *беспокойного* характера человек!

Тут не спросят, *от кого* это слышал Терентий? Кто эти люди, с которыми не уживается обвиняемый, и можно ли с ним *ужиться* хоть кому-нибудь? Не подумают и о том, точно ли *хороший* человек, который *уживается* со всяким? Что до всего этого за дело! Вы обвинены, и после того вам не дадут взаймы денег, ежели вы попросите; не отдадут за вас невесты, если вы посватаетесь; осторожно будут говорить с вами, когда вы начнете; прищурят глаз, когда вы подойдете; покачают головой, когда вы отойдете! А казалось бы, в чем обвинили вас? в чем вы уличены? в чем вы виноваты? какое зло вы сделали? Ах, мм. гг., знаете ли вы, что всего страшнее в городской жизни неопределенные намеки и неопределенные обвинения! Во-первых, как прикажете на них отвечать? Если человеку говорят: ты вор! — он возражает: Неправда! Скажите, что такое я украл? — и непременно надобно будет уличить его. Человеку говорят: ты лжец! Опять он может попросить доказательств в его лжи. Но каких доказательств просить и что отвечать, когда все обвинение заключено в словах: *Он человек, конечно, хороший, но... говорят... однако ж... хотя я его так мало знаю... мне сказывали...*— И только! Но все это произносится с таким сомнительным видом, все это говорится так таинственно, мрачно, тихо, и словом сказать: этого довольно, чтобы человека навеки погубить в общественном мнении и чтобы после того поверили самым страшным *преступлениям*, какие на него взведут! Клубку сплетней стоит только сначала немного намотаться, а там уже его не удержишь: он катится, как снеговой шар, растет не по годам, а по часам, чем дальше, тем больше, и может задавить, не только что-нибудь другое, но даже двадцатилетнюю, беспорочную жизнь, унизанную добрыми делами, как перлами многоценными. И жизнь, и перлы, и ничто не пособит: все будет раздавлено!

Но между тем, пока мы рассуждаем, Еремей Карпов, вероятно, уже далеко уплелся со своею сказкою. Нет! У него тоже шли особливые присказки и россказни, и мы кстати подоспеем к тому самому месту, где он остановился. Но, впрочем, позвольте мне, мм. гг., рассказать вам окончание этой сказки немного по-своему, как начитал я в одном

старом сборнике, писанном крючковатою скорописью, вероятно, в начале XVII-го века. Это будет тем любопытнее, что есть значительная разница в подробностях против известного, печатного *«Суда Шемякина»*, который продавался на Спасском мосту. Знатокам, более меня опытным, предоставлю разрешать: которое повествование древнее, вернее и лучше?

Ну вот начнем хоть таким образом:

— *Не белы-то снеги в чистом поле забелелись*, забелелись белокаменные палаты того города, где изволил жить судья Шемяка. Идут наши просители вдоль по дорожке, ведут бедного Ерему, подходят к дому судьи Шемяки. Надобно вам знать, что Шемяка известен был в дальних сторонах своих отличным правосудием, своим судом нелицеприятным, своим искусством распутывать, что было трудно, запутывать, что было просто. Твердо веря пословице: *«сухая ложка рот дерет»*, он по-своему изъяснял, что было написано в судебнике царя Ивана Васильевича: «Судите суд боярам и окольничим, а на суде быти у бояр и окольничих дьяком, а *посулов* боярам, и окольничим, и дьяком от суда и от печалованья не имати».

— Слышишь, дьяк! — говаривал судья Шемяка.— *Посулов* не имать, а требовать *поличного* и *поручного* и, если кто станет *сулить* хоть журавля, да в поле, а другой синицу, да в руки,— посулу не верить и дело решать по-наличному: первого виноватить, а другого править. Слышишь?

— Слышу! — всегда отвечал ему дьяк, поглаживая крошечную бородку. Так умел *толковать законы* судья Шемяка: и как он при том знал все приличные суду поговорки, как-то: рука руку моет; курица по зернышку клюет, да сыта бывает; виноватый виноват, да и правый не прав; без вины виноват; по душе прав, да по делу виноват; то вы и поверите мне, что правда у судьи Шемяки была мягче воску, и он из нее мял такие фигурки, какие были ему угодны. Вы скажете, что как бы он ни мял *ее*, но *законы* были для него всегдашним препятствием изменять ее вовсе. С читателем, который сделает мне подобное возражение, желал бы я поговорить особо и сказать ему на ушко кое-что... Разумеется, про судью Шемяку. Видите: в Афинах был мудрец, а назывался он Солон. Афиняне поручили ему написать самые лучшие и самые свежие законы. Он сидел, сидел, думал, думал, писал, писал, и наконец высидел, придумал, написал.

— Ну, господин Солон,— сказал ему один подьячий афинский,— написал ты законы славные, да только знаешь ли, на что они похожи?

— Нет, не знаю,— отвечал Солон.

— На паутину, в которой всякая маленькая мушка завязнет и которую всякая большая муха разорвет.

Так думали в Афинах, а выше сего мы уже представили маленький пример того, как судья Шемяка умел *изъяснять* законы. Давно уже сказал Русский писатель:

Законы святы,

Да исполнители лихие супостаты!

Впрочем, мм. гг., я ведь говорю о *судье Шемяке,* а не о ком-нибудь другом, прочем-ином. Я сам видал, что правое дело иногда выигрывается, а виноватое проигрывается. Да вот, говорят, в Японии судьи вовсе взяток не берут! мало ли каких есть на свете диковинок — всего не пересчитаешь!

Подошли наши просители к дому судьи Шемяки, смотрят, дом стоит во дворе во всей красоте, а над домом поставлена превеликая надпись: *«Дом правосудного судьи Шемяки».* Ворота растворены настежь, и от самых ворот до крыльца дубового снег расчищен, песочком дорожка посыпана — свободный вход всякому, бедному и богатому.

— Ай да судья Шемяка! — говорят просители,— да у нас и к сотскому такого свободного входа нет!

Смотрят они еще: подле ворот на улице по обе стороны врыты два столба высокие, и подле каждого столба стоит Земский Ярыжка с дубинкой, а на столбах прибиты листы, и на листах написано что-то такими крупными буквами, что и слепой прочитает. Нашим просителям жаловаться судье Шемяке было дело небывалое, не знают они ни суда, ни обряда. Сняли шапки, кланяются ярыжкам и хотят идти прямо во двор, в ворота.

— Стой,— закричал один ярыжка.— Сперва прочитай, что на столбе написано!

Просители поглядели друг на друга и отвечали:

— Грамоте не знаем, кормилец!

— Ну, так слушайте, я вам прочту: «Ведомо сим чинится всякому, что никто из жалобщиков, приходящих к судье Шемяке, никаких взяток никому давать не должен, а паче чаяния кто что даст, будет судиться, яко виновный в подкупе».

— Ай да кормилец судья Шемяка! — вскричали просители.

— Ну, теперь давайте же за прочтение! — сказал им ярыжка, протягивая руку.

— Как давай? Да ведь ты сам о том читал, чтобы мы не давали.

— Да разве я взятку с тебя прошу? — вскричал ярыжка.— Это законное дело. Кто тебе не велел грамоте знать самому!

— А если бы мы сами грамоте знали?

— Тогда вы должны были б заплатить за то, что сами прочитали. Толковать нечего! Давай, а не то дубинкой по лбу съезжу — забудешь, как твоего отца зовут, да еще в тюрьме насидишься за ослушание против начальства и своевольство!

Толковать было в самом деле нечего; просители вынули свои мошни, заплатили по алтыну.

— Теперь ступайте к другому столбу! — проговорил ярыжка. Просители подошли к другому столбу.

— Знаете грамоте? — спросил товарищ ярыжки.

— Нет, кормилец!

— Так слушайте: «Ведомо сим чинится всякому, что каждый жалобщик, приходящий к судье Шемяке, имеет быть к нему допущен свободно, во все *положенные* часы, и никто не смеет пришедши уйти назад под опасением быть судимым, яко виноватый».

— Слышим, кормилец! — отвечали просители, низко кланяясь.

— Давай же за объявление,— сказал ярыжка,— и отговариваться не смей, понеже за ослушание будешь виноват!

Просители поглядели друг на друга и заплатили еще по алтыну.

— А ты, молодец, что не платишь? — спросил ярыжка Ерему.

— У меня нечего дать,— отвечал Ерема.

— Так и не смей ты идти к судье Шемяке, коли за прочтение да за объявление приказов не платишь — пошел прочь!

— Да я и не желаю идти к судье,— сказал Ерема,— спасибо вам, господа земские ярыжки! Пожалуй, хоть приударьте еще меня в толчки да прогоните!

— Давай затылок, за этим дело не станет!

Тут Фома, Карп и Артамон испугались, кланяются, говорят:

— Господа земские ярыжки! ведем мы его к судье Шемяке, а если вы его прогоните, так кого же судья судить будет?

— Нам какое дело! Платите за него вы, а без того не пустим.

Просители постояли, подумали, опять развязали мошни и заплатили за Ерему по доброму грошу с брата. А Ерема

между тем расхаживал по улице подле ворот, увидел камешек порядочный, подумал, подумал, завернул его в тряпичку и спрятал за пазуху. Для чего? Авось узнаем, как рассказ к концу придет.

— Все выместим на лиходее нашем, когда будем у судьи Шемяки! — проговорили просители; идут, прошли сквозь широкие ворота, пошли по чистой, гладкой, широкой дорожке.

— Стой! — закричали два новые ярыжки и выскочили из будок, которые поставлены были во дворе по обеим сторонам ворот, так, что с улицы совсем и не были видны.

— Куда? Зачем?

— К судье Шемяке.

— Давай по три алтына!

— За что, кормильцы?

— Положенное за вход во двор судейский.

— Что, товарищи, платить ли нам? — спросил Фома, который был скупее других.— Два алтына да три алтына, ан всего будет пять.

— А что ты думаешь? — отвечал Карп.— Не вернуться ли нам?

— Так заплатите по шести алтын за выход,— вскричали ярыжки.

Ни взад, ни вперед! Попались молодцы! Ерема и думать ни о чем не хотел, потому что ему, как голому, и тут угрожали толчками, а просители поморщились, да опять за него заплатили.

— Шапки долой! Пени по пяти алтын! — закричал главный ярыжка, когда просители подошли к судейскому крыльцу. Они и не заметили, как он вывернулся, откуда взялся. То-то и беда, что просителям кажется чистая, широкая дорога к судейскому крыльцу, а как пойдут по той дороге, ярыжки словно из-под земли вывертываются, да так змейкой в карман и лезут.

— Послушай-ка, кормилец,— сказал Фома главному ярыжке.— Читали нам приказы у ворот, чтобы никому взяток не давать.

— Да разве вы давали кому-нибудь? Разве с вас взятки взял кто-нибудь? Скажите скорее: беда и вам, и тому беда, кто взял!

— А вот, кормилец, заплатили по алтыну у первого столба. *За прочтение.* Да по алтыну у другого столба. *За объявление.* Да по три алтына, когда вошли во двор. *За вхождение.* А ты, кормилец, за что берешь?

— За то, что вы у крыльца шапок не сняли.

— Если бы мы сняли?

— Так заплатили бы *за здорово живешь.*

— Как: за здорово живешь?

— Да так, потому что я приставлен говорить всякому, кто не придет: *здорово живешь,* а за это взносится по пяти алтын.

— Была не была! — заплатили молодцы, взошли на высокое судейское крыльцо, подошли к двери. Дверь заперта. Стукнули раз, и за дверью кто-то сиплым голосом произнес: *«Гривна!»* Стукнули в другой, и тот же голос опять произнес: *«Другая!»* Стукнули в третий раз, и тот же голос в третий раз промолвил: *«Третья!»*

— Ой, брат, да не наш ли карман это насчитывает! — молвил Фома.

— *Подразумевается!* — произнес невидимка; маленькое окошечко в двери отворилось; протянулась из него костлявая рука, крючком изогнутая, и невидимка за дверью произнес: «Положи по три гривны с брата!»

— Кормилец! за что же?

— А за то, что вы в *положенный* день пришли. Разве не читали приказа у входа?

— Товарищи! не пойти ли нам назад? — шепнул Фома.

— Так за бесчестье положенному дню и напрасное челобитие давайте по шести гривен.

— Отворяй двери, бери деньги!

— Нет! сперва заплати, тогда отворят.

— На, бери деньги.

— Взял!

— Отворяй!

— Нет, погодите — надобно еще дьяку доложить.

— Так иди да докладывай!

Рука опять протянулась, а дверь не отворялась.

— Иди же докладывай!

— Вы должны *доложить,* а тогда и дверь настежь!

Еще по гривне с головы слетело в костлявую руку невидимки. Дверь, наконец, растворилась. Глядят просители: стоит целый ряд подьячих, протянулся до самого того стола, за которым сидит дьяк, пишет, пером пощелкивает и не глядит. Не знали просители, что тут делать. И вот с правой стороны протянулась подьяческая рука крючком, и говорит первый подьячий:

— На отопление судейской!

Протянулась другая, говорит другой:

— На бумагу для жалобы!

Протянулась третья, говорит третий:

— За записку просьбы.

Протянулась четвертая:

— За печать!

Протянулась пятая... Словом, протянулось четырнадцать рук, и каждая вытянула из мошни у каждого просителя по нескольку алтын (тогда еще считали приказные, большею частью, алтынами, и потому нередко называли их *алтынниками*). И с горя, и с расходов, и с холоду повалились просители в ноги дьяку. Кричат, вопят: «Смилуйся, отец!»

— Что вы? — спросил дьяк.

— Жаловаться судье Шемяке.

— На жалобу нет запрещенья. Справедлива ли жалоба?

— Ой, отец, уж как справедлива, кормилец!

— Не брал ли с вас кто-нибудь взяток, пока вы дошли до меня?

— Нет, кормилец,— брали с нас много, а взяток не брал никто.

— Имеешь ли ты *наличные* доказательства в правоте своего дела? — спросил дьяк у Фомы. Тот подумал, подумал и отвечает:

— Со мной никаких доказательств налицо нет!

— Хорошо, а ты имеешь ли?

— Нет!

— А ты? имеешь ли?

— Нет!

Ерема смекнул между тем делом, и когда у него спросили, отвечал:

— Имею!

— Покажи!

Ерема вынял из-за пазухи камень в тряпичке и из-за спины Фоминой показал дьяку.

— Ладно! — молвил дьяк. Он встал, растворил двери и ввел просителей в судейскую.

Глядят наши молодцы — сидит старый судья Шемяка на большой скамье за большим столом; с одной стороны стоит чернильница в полтора ведра; с другой лежат большою охапкою перья лебединые. Хорош судья Шемяка, толст, красен, ноздри раздувает, правду изрекает. Испугались, струсили, оробели наши просители, кланяются в землю.

— Судья Шемяка! — заговорил дьяк, подошедши к судейской скамье.— Бьют тебе челом три просителя на одного ответчика!

— Хм! — промолвил Шемяка и поднял нос кверху.

— *Наличных* доказательств не имеют!

— Хм! — промолвил опять Шемяка и погладил по широкой своей бороде рукою.

— Не имеют! А ответчик наличные доказательства *имеет!*

— Хм! — молвил еще раз Шемяка, потянулся по лавке, выдвинул брюхо вперед, голову закинул за спину, глаза уставил в потолок, сложил ногу на ногу и сказал:

— Объявлен ли просителям приказ, что посулов не принимают?

— Объявлен!

— Итак, суд *по форме* начинается. Жалуйтесь по порядку!

И вот Фома повалился в ноги к судье Шемяке, объясняя сущую правду, как Ерема у лошади его хвост выдернул.

— Ну, что ты, ответчик, скажешь? — возговорил судья Шемяка.

— Я не виноват, что он не дал мне хомута и что у его лошади хвост не крепко держался.

— А чем докажешь?

Ерема не отвечал, а из-за Фомы показал судье Шемяке камень в тряпичке.

— Хм! — промолвил судья Шемяка и тихо прибавил: *сто рублей, наверное.*— Прав! — возгласил он.— Слушай, проситель, отдай ты свою бесхвостую лошадь этому негодяю, и пусть он держит ее у себя до тех пор, пока у нее хвост вырастет. Тогда возьми себе лошадь, и с хвостом, а если он хвоста отдавать не будет, дозволяется тебе жаловаться законным порядком. Дьяк! вывести первого просителя и взять с него надлежащую подписку, пошлины, приказной сбор и прочее, как следует.

Фому подхватили и повели в подьяческую, а Карп повалился в ноги судье Шемяке, объясняя сущую правду, как Ерема с полатей свалился и ребенка задавил.

— Ну, что ты, ответчик, скажешь? — возговорил судья Шемяка.

— Я не виноват, что у него полати валки и что ребенок лежал в своей люльке подле полатей.

— А чем докажешь?

Ерема не отвечал, а из-за Карпа показал судье Шемяке камень в тряпичке.

— Хм! — промолвил судья Шемяка и тихо произнес: *еще сто рублей, наверное!* — Прав! — провозгласил он.—

Слушай, проситель: отдай ты свою жену этому негодяю, и когда родится у нее сын, то возьми себе обратно жену и сына, а если он сына отдавать не будет, дозволяется жаловаться на него законным порядком. Дьяк! вывести второго просителя и взять с него надлежащую подписку, пошлины, приказной сбор и прочее, как следует.

Карпа подхватили и повели в подьяческую, а Артамон повалился в ноги судье Шемяке, объясняя сущую правду, как Ерема с моста прыгнул и отца его задавил.

— Ну! что ты, ответчик, скажешь? — возговорил судья Шемяка.

— Я не виноват, что отцу его вздумалось подъехать под мост, когда я прыгнул, и что отец его не увернулся, когда я на него упал.

— А чем докажешь?

Ерема не отвечал, а из-за Артамона показал судье Шемяке камень в тряпичке.

— Хм! — промолвил судья Шемяка и тихо прибавил: *еще сто рублей, наверное!* — Прав! — возгласил он.— Слушай, проситель: поди ты, стань на мост, на том самом месте, где стоял этот негодяй, а его поставь на то самое место, где ехал твой отец, и потом прыгни на него с моста и задави его, точно так же, как он задавил твоего отца. А если ты, спрыгнувши, его не задавишь, дозволяется тебе снова жаловаться на него законным порядком. Дьяк! вывести третьего просителя и взять с него надлежащую подписку, пошлины, приказной сбор и прочее, как следует.

Артамона подхватили и повели в подьяческую. Остались в судейской судья Шемяка, дьяк да Ерема.

— Ну! — сказал судья Шемяка,— доволен ли ты моим судом?

— Доволен,— отвечал Ерема.

— Так подавай же доказательство того, что доволен.

— И за этим не станет! — отвечал Ерема, вынул тряпичку, развязал и показал судье Шемяке камень.

— Как? — воскликнул Шемяка.— Стало быть, ты не хотел мне за каждое решение давать по сту рублей и не деньги, а камень мне показывал? Для чего же ты мне его показывал?

— А вот для чего: если бы ты судил не по мне, так я этим камнем прямо бы тебе в лоб пустил!

Судья Шемяка посмотрел на камень, подумал и сказал:

— Увесист камень выбрал.— Потом он перекрестился и промолвил: — Слава богу, что я по нем судил! Если бы да пустил он мне в лоб этим камнем, так, наверное, лбу моему

уцелеть было бы невозможно. Но на чем же ты основывался, оправдываясь в суде таким образом?

— На известной поговорке, правосудный судья Шемяка: семь бед — один ответ, и на другой: *с голого что...*

— Прав, прав! — возгласил судья Шемяка.— Казусное, однако, дело! Дьяк! вытолкать этого негодяя, а вперед установить правило на суде: не принимать наличных доказательств без надлежащего предварительного осмотрения, и если кто таковые или тем подобные доказательства представить вознамерятся, каковые сей негодяй представил, то оных не принимать *поелику...* Ну, да *«поелику»*-то ты уж там подведи, как законы повелевают!

Ерему вытолкали из судейской, а у ворот встретил он Фому, Карпа и Артамона, которые стояли и думали:

— Жаль хвоста, да все-таки и лошадь-то и без хвоста денег стоит!

— Жаль ребенка, да все-таки жена-то мне на что-нибудь да понадобится!

— Жаль отца, да все-таки своя голова на что-нибудь пригодится.

— Ерема! — сказал Фома.— Чем брать тебе у меня лошадь бесхвостую, возьми лучше корову, и перед тобой она! Грех да беда на кого не живет!

— Пожалуй! — отвечал Ерема.

— Ерема! — сказал Карп.— Чем брать у меня старуху жену, возьми лучше молодую своячину и живите с богом. В своей семье и горшок с горшком столкнется!

— Пожалуй! — отвечал Ерема.

— Ерема! — сказал Артамон.— Чем мне прыгать на тебя с моста, возьми лучше, я подарю тебе, хату теплую, владей на здоровье. Ведь на всякое чиханье не наздравствуешься, а иной раз так прыгнешь, что потом и прыгать не станешь.

— Пожалуй! — отвечал Ерема.— Давно бы вам так. Право, худой мир лучше доброй ссоры.

И конец *сказке о судье* Шемяке!

Еремей Карпов кончил сими словами свою сказку. Только что дядя Ефим хотел говорить — глядят: по селу мчится удалая тройка и ямщик кричит: *«Лошадей! Лошадей!»*

— Хе! Сидорка прикатил! — закричали все мужики, старый и малый, вскочили с завалины, опрометью побежали к почтовому двору и забыли всякие сказки и присказки.



ПИР СВЯТОСЛАВА ИГОРЕВИЧА, КНЯЗЯ КИЕВСКОГО

Византийская легенда

Трудно перенестись в прошедшее, так же трудно, как предугадать будущее. Стоя на утесе, который называют *настоящим*, не видит ли человек со всех сторон вокруг себя обширного океана бытия, не различает ли на нем разнообразных волн, но что же их разнообразие? Минута, и они изменились, и новые мчатся вслед их; волна прошедшего, катившаяся горою, рассыпалась; волна будущего подъемлется, холмится, рассыпается, переходит — и снова однообразно в разнообразии, море бытия кипит, волнуется: где его деление? где пределы, где грани волн? Кто выхватит одну из среды их, оледенит, окаменит ее и бросит перед наблюдающие взоры человека? Печальным памятником минувшего носятся на хребтах волн только остатки разбитых ими людей и кораблей человеческих, трупы бытия. Были и нет, жили и прешли — вот все, что говорят они памяти.

Обширные страны на север от Черного моря, по воле греческих географов принимавшие имена *Гипербореи, Скифии, Сарматии,* не уподобляются ли такому океану? Будем ли мы читать повествования об них, будем ли бродить по степям Дона и Днепра и в мелких подробностях бытия настоящего искать следов минувшего, не такой ли океан они, сии страны?

Уничтожьте нынешние города и жилища наши на сих степях, удалите все, что гнездится теперь на них. Пусть дичь и пустыня раздвинутся от берегов Черного моря к Волге и за Днепр, пусть зарастут они древними, дремучими лесами, испестрятся степями, на которых вековечно белеют разливы ковыля и темнеют острова бурьяна. Пусть только волны рек льются между пустынями и плещутся, как плескались они за тысячелетия своими серебристыми волнами, пусть воображение ваше вещею

птичкою пролетит после того через века и остановится на том времени, когда еще ни вольный казак, ни угрюмый сын Азии татарин не жили и не кочевали тут; греческие города лежали видимыми обломками на берегах Черного моря; хазарские города дымились в недавнем разрушении от меча русского; воды Днепра отражали в себе вежи и шалаши дикарей азиатских, бедные жилища славян и городки норманнов.

Там, где впоследствии раздвинулся обширный Киев и возвысились златоглавые церкви его, на высоком берегу днепровском стоял тогда деревянный кремлик, или городок нормандский,— четыре деревянные стены, с небольшими башнями по углам, с двумя крепкими воротами, с беспрерывною стражею у ворот и на стенах. Палисад из заостренных, толстых кольев составлял внешнее укрепление городка, простираясь извилинами далее стен, из-за которых видны были вышки княжеских теремов, переходы и сени, покрытые *гонтом,* или драныо. Городок был обширен; в нем помещались дворец княжеский, дворцы княжичей, жилища избранной дружины, вельмож и бояр, казнохранилища, оружейные, конюшни для лошадей князя и дружины его. Незаселенная равнина отделяла городок от хижин, рассеянных далее, разбросанных беспорядочными толпами, между коими извивались узкие неровные улицы и переулки. Домы состояли из мазанок, из срубов с маленькими окошками, даже из землянок; они были покрыты драныо, соломою, дерном; иные огорожены плетнем. Большая часть без огорожки, только с закутою. Между ними в некоторых местах находились высокие терема богатых *гостей* и *вящих людей;* сии терема были в два этажа, состояли из многих небольших, раздельных срубов, соединенных переходами или сенями, в нижних этажах обыкновенно находились кладовые, и такой двор обносился вокруг заплотом, или плетнем, с сараями вокруг плетня. На другом конце сего неправильного, беспорядочного народонаселения, заключавшего в себе несколько тысяч теремов, домов и землянок, находился *чудный* двор княгини Ольги, составлявший предмет удивления киевлян, потому что терем во дворе был *каменный:* четыре толстые стены, складенные из кирпича, с узкими, маленькими окнами обмазанные по штукатурке красною краскою. С множеством разных деревянных строений, каменный терем сей окружался палисадником и походил на городок, только не видно было при нем ни башенок, ни стражи. К Днепру, вниз по горе, к пристани, где стояло

множество лодок, разбросаны были кузницы, бани, балаганы. Со вскрытием Днепра начиналась в Киеве настоящая ярмарка и продолжалась все лето. Все окрестные племена славян плыли тогда в Киев, одни с данью великому князю, другие с товаром — мехами, кожами, воском, медом. Тысячи народа толпились тогда целые дни по берегу днепровскому. Днепр покрывался ладьями, лодками, челноками, плотами. Тут были новгородцы с заморскими товарами северных стран; купцы *Гречины*, то есть торговавшие в Греции и отправлявшиеся в Царьград и Херсон весною, а возвращавшиеся осенью. Сюда приезжали печенеги и половцы, с конскими табунами, множеством невольников и невольниц. Русских отдавали они на выкуп, иноплеменных продавали киевлянам. Важный торг производился сим товаром из Киева в Грецию. Купцы хазарские приплывали в Киев с драгоценными произведениями Востока, жемчугом и пряностями, которые шли к ним из Индии, Персии, Бухары. Словом, берег Днепра с начала весны до глубокой осени представлял живую, пеструю, шумную картину деятельности, где тысячи временных строений, примосток, балаганов, служили пристанищем торговле и жилищем для пришельцев с севера, юга, востока и запада.

Тут вы увидели бы одетого звериною кожею печенега, блестящего бронею варяга княжеской дружины, добродушного полянина в его суконной свите, валяном колпаке и лаптях, византийского или херсонского грека, в его полуазиатской одежде, хазара, в его чалме и широком кафтане. Здесь тянулись рядами лубочные балаганы, где разложен был всякий товар; там ряд балаганов, завешенных рогожками, представлял множество харчевен и гостиниц, где пекли, варили, жарили, и на открытом воздухе толпы народа ели кисель, блины, лепешки, пирожки, пироги; за ними находилась загородка, где печенежские невольники и невольницы, связанные парами, лежали и сидели в беспорядке, и по слову хищного хозяина своего должны были показывать себя покупателям; далее была коновязь, где тысячи лошадей угорских, хазарских, печенежских ожидали купцов. Вечером, когда корыстолюбие уставало от дневной суеты, по берегу и в лодках на Днепре зажигались тысячи огней. Являлись славянские скоморохи с гудками и гуслями, пели, плясали. Печенеги садились вокруг котлов, и у них раздавалось унылое, однообразное пение, сопровождаемое звуками какой-нибудь кобзы. Круг хазар, сидевших около своего огня, оживлял

какой-нибудь рассказчик, прерываемый по временам восклицаниями слушателей. Славянские люди собирались в такое время подле обзорных балаганов, где продавали крепкий мед и пиво. Там слушали они песни скоморохов, хохотали, смотря на прыжки их, пили, гуляли «спустя рукава», как говорится по русской поговорке — *«Руси есть веселье пити»*. Веселье беспрестанно прерывалось дракою, а драка оканчивалась новою попойкою...

Таков был Киев в то время, когда идет наше повествование, Киев, под властью Святослава, говорившего: *«Не любо ми есть в Киеве жити»*.

Солнце закатывалось за днепровские леса, со всех сторон окружавшие Киев и покрывавшие нагорную сторону своею угрюмою тенью, когда из-за мыса Угорского выплыло несколько больших ладей. Впереди в одной ладье сидело несколько княжеских воинов, одетых в русские брони. Затем следовала другая ладья, и в ней было человек двадцать воинов греческих; на носу стояли два человека в богатой греческой одежде. Один из них устремил взор на Киев, перекрестился и сказал другому:

— Слава Федору Стратилату! Он исполнил мою молитву — мы доехали благополучно. Вот Киев!

— Где? — спросил его товарищ.

— Вот он! — говоривший указал на шумное сборище народа по берегу днепровскому, городок, домы и строения киевские.— Вот городок, жилище скифского медведя Святослава и красный терем Ольги. Вот Угорский мыс, где убили первых князей киевских Аскольда и Дира. Вдалеке, что высокий холм — Олегова могила на горе Щековице. Туда влево Бирючев холм, где стоит болван проклятого бога их Перуна. Тут речка Почайна, а там вдали находится православная церковь наша св. пророка Илии — только одна церковь православная! — он еще раз перекрестился.

— Ах! Калокир,— промолвил другой,— скажи: отчего тяжкая грусть обнимает сердце мое, когда ты сказал мне, что мы приплыли в Киев? Кажется, будто вещует оно, что мне уже не выехать из здешних варварских стран!

— Почему же, Михаил? — спросил его Калокир (то был юный патриций, которого император Никифор отправил послом к Святославу).

— Едва только воображу я себе, какой тяжкий, отдаленный путь совершили мы, как били нас волны эвксин-

ские, как потом плыли мы по Днепру среди дремучих лесов, бесконечных степей, под стрелами печенегов — и страшные пороги... и варварский город, где мы будем преданы воле и произволу варвара Скипа... О наш славный царь-град, наша славная Византия! О моя милая подруга...

— Есть о чем горевать! Право, когда речь о девушках, здешние скифянки чуть ли не лучше наших чопорных гречанок — их загорелые, румяные щечки я не отдам за мазаные щеки греческие. Если ты боишься за жизнь свою — будь спокоен: ты здесь безопаснее, нежели в Греции. Знаешь ли ты, что такое право гостеприимства в здешней варварской стороне?

— То же, что в Аравии?

— Еще более, потому что здесь ты можешь купить его. Печенег и русс при первой встрече сорвут с тебя голову, но договорись с ними, заплати им, они положат свои головы за твою. А сверх того, вот с этою золотою гривною, знаком нашего посольства, мы безопасно можем ночевать в лесу, в орде печенегов и в лагере русском. Вечное бесчестие преследует из рода в род того, кто убьет здесь посла: их *не секут, не рубят!*

— А не посла, следовательно, и секут и рубят?

— Исключая *гостей,* у которых серебряная гривна на груди лучше всякого щита и покрова. Я не знаю, Михаил, кроме православной веры, право, не знаю, где лучше и с кем лучше жить: с здешними ли варварами или с нашими просвещенными греками? Если бы к нашей вере да русская правда и удалость...

— Правда, которая привешена на копье и стережет проходящего, как разбойница! Ты слишком пристрастен к своим варварам, Калокир!

— Может быть, потому что я родился и вырос между ними и никак еще не применюсь к нашей греческой правде. Боже сохрани, Михаил, если господь просветит скифские народы православием и они кое-чему понаучатся...

— Что же?

— Они сдвинут тогда наш Царьград в море, и кто знает, что в будущих веках здешние варварские страны не образуют такого царства, которое коснется востока и запада? Оно будет непобедимо, Михаил, ты еще не видывал скифских варваров в битвах...

— Храбрость — добродетель дикого зверя.

— А добродетель человека неужели трусость?

— Разумеется, ум научает нас беречь жизнь свою.

— Ох! ум научил нас столь многому — и вряд ли самая грубость не дочь его...

— Но мне смешно подумать, что какой-нибудь Царьград станет со временем на месте Киева; что на скифском языке станут повторять святые наши песнопения; что у русских будут свои Омиры и Ирадоты и восхитят своими писаниями на варварском своем языке...

— Но кто знает будущее, Михаил! Я расскажу тебе даже одно предание, которое передал мне наш греческий священник, находившийся при Ольге. Знаешь ли, что Св. Апостол Андрей странствовал здесь, воздвиг крест на горах Киевских, благословил их и рек: «На сих горах воссияет благодать божия, будет град великий и многие церкви бог воздвигнет»?

— Андрей Первозванный?

— И кто же после сего ведает, что киевским скифам не суждено *первозвание* среди всех народов и что славянин не займет даже престола Цареградского — по крайней мере, не укажет смелою рукою, кому сидеть на императорском престоле.

— Что ты говоришь?

— Ах! Я забылся...— сказал Калокир,— ты заговорил меня.

— Калокир!

— Если я не обманываюсь... Твои речи, столько раз начатые тобою...

— Что же из того следует? — спросил Калокир с замешательством.

— Мы поговорим с тобой после. Слышишь...

Звук труб, раздавшийся в передней ладье, прервал разговор. Трубным звуком княжеские воины давали знать о своем приближении.

С берега раздался ответный звук. Отряд воинов стройно спускался из городка навстречу. Народ, будто дикие козы, столпился на пристани, где причалили ладьи греческих послов. Едва палками могли очистить дорогу меж толпою для послов. Калокир, Михаил, товарищи их вышли из ладей. Отряд княжеский приблизился к ним. Впереди отряда ехал старый воин — то был воевода Святослава, Свенельд. Он и товарищи его сошли с лошадей.

— Великий князь Киевский Святослав, через меня Свенельда, вождя княжеского, приветствует тебя, посла греческого Калокира, и желает тебе здравия.

— Император и повелитель Царьграда и всего Восто-

ка благодарит великого князя Киевского за привет его, а я, как посол, представляю тебе, Свенельд, воевода княжеский, мою доверенную хартию и показываю золотую печать, знак моего посольства, требуя у вас гостеприимства, хлеба и соли.

Свенельд подал ему руку.

— Отныне ты гость наш, и князь наш ручается за твою безопасность и определяет тебе посольское на все твое пребывание в Киеве хлеб, вино, мясо, рыбу и овощи.— Они взаимно поклонились.— Теперь,— сказал Свенельд,— позволь мне обнять не посла греческого, но старого знакомого и друга. Приветствую тебя, Калокир, да сохранит тебя Перун и Волос! Князь Святослав просит тебя в гости не как посла, но как старого знакомого, бывалого человека в нашей Русской земле, ратного сопутника на полях Булгарии. Твои воины будут угощены и приняты в княжеском дворе, а ты поедешь со мною к Святославу.

— Где же найдем мы князя?

— Там, где воину и князю прилично быть, если он не в битве: князь травит свирепого вепря, появившегося в Хоревицком лесу; его загнали в облаву, и только встреча тебя удержала меня в городе. Давно не видывали у нас зверя такого свирепого и страшного... Поспешим застать травлю.

Калокиру подвели лошадь. Он, Михаил и еще три или четыре грека поехали за Свенельдом. Они повернули от городка вправо и поскакали по дорожке, проложенной в дремучем лесу Хоревицком. Солнце село за лес и горы, когда всадники выехали на обширную поляну, окруженную вековыми дубами. Тут представился взорам их охотничий табор Святослава. Еще издалека слышали они звуки труб и рожков, стократным отголоском повторявшиеся по лесу.

Посередине поляны зажжен был огромный костер; дубы и вязы, целиком под корень подрубленные, с их обширными ветвями, как стояли в лесу, так и брошены были в огонь, и зарево от них разливалось по окрестным деревням. Богатые греческие ковры, войлоки, шкуры зверей набросаны были по всей поляне; над некоторыми, на воткнутых в землю копьях, растянуты были легкие ткани, сшитые в виде полостей, и составляли навесы. Сосуды золотые, серебряные, глиняные, деревянные были расставлены повсюду без разбора; дорогая чаша греческая стояла подле деревянного жбана и глиняный горшок печенежский подле богатой, старинной вазы. Тут вокруг

огня, на коврах и подстилках в беспорядке лежали и сидели собеседники — воины, бояре, отроки княжеские, князья, варяги, пришельцы из Скандинавии, вольные искатели странствований и приключений, печенежские ханы и воины. Усталые, расседланные кони были расставлены по краям поляны. Повара княжеские готовили кушанье — жарили добычу, доставшуюся в тот день; шумная попойка шла кругом; голоса разговаривавших собеседников сливались в одном месте с песнями; в другом раздавались восклицания воинов, которые заняты были воинскими играми. Там звучала труба; здесь били в бубны. Число всех находившихся на поляне, участвовавших в беседе и охоте княжеской, простиралось до трех или четырех сот человек.

Среди шумной, многочисленной, разнообразной беседы находился сам Святослав. Он небрежно лежал на медвежьей полсти; бархатная подушка, брошенная на дорогое седло, поддерживала руку, на которую наклонена была голова его; против него, на длинном железном вертеле, жарили знаменитую жертву охоты того дня — свирепого кабана, незваного гостя Хоревицких лесов.

Михаил любопытно устремил взоры свои на *Свендослава,* о котором так много слыхал в Царьграде и Херсоне. Святослав казался человеком среднего роста, но жилистые руки его, огромная голова, широкие плечи показывали необычайную силу его. Лицо князя было смуглое, загорелое, суровое, и суровость умножали еще длинные рыжие усы, висевшие с верхней губы; голубые глаза его выражали задумчивость; улыбка, казалось, не была привычною гостьею на его устах, ограниченных с обеих сторон щек двумя глубокими морщинами; бархатная, вышитая жемчугом шапочка была надета на его бритую голову, и только клок рыжих волос виден был из-под нее, закинутый за ухо. В одном ухе продета была у него огромная золотая серьга с дорогим красным яхонтом и двумя жемчужинами. Одежда его состояла из простого суконного полукафтанья; ни золота, ни серебра не было на его ременном поясе — только два кинжала были заткнуты за пояс. В стороне стояли три отрока княжеские и стерегли его шлем, копье, меч, бурку, щит, сложенные в виде сайдака, или трофея. Несколько печенегов, варягов, русских и славянских вождей сидели вокруг Святослава, в некотором отдалении, на богатых коврах; перед каждым из них стояли сосуды с вином и медом; все шумно говорили и спорили — Святослав ничего не пил, ничего не говорил. Он глядел на

вепря, жаримого перед ним. По обе стороны его сидели два юных княжича, сыновья его.

Никто не обратил внимания на Калокира, Михаила и товарищей их, когда они, оставя лошадей своих, приблизились к Святославу, предшествуемые Свенельдом.

— Добро пожаловать, старый товарищ и гость мой! — сказал Святослав, протягивая руку Калокиру, но не трогаясь с своего места.— Ты простишь меня, что я не встаю и не приветствую тебя, как водится у вас в Греции,— устал, возившись вот с этим проклятым зубарем (он указал на вепря), а при том теперь ты в гостях не у Киевского князя, но у доброго охотника. Обряду будет место после. Садись и будь гостем моим!

Бархатную подушку принесли Калокиру. Он сел подле князя. Товарищи его встали в отдалении.

— Свенельд! Садись к нам и вели Братиславу угощать товарищей моего друга Калокира. Он умеет убаюкивать жажду и усталость гостей.

Михаила и других греков повели под один из навесов, посадили на мягкие подушки и начали подчевать.

— Радуюсь, князь Святослав, что вижу тебя здорового, и желаю тебе всякого блага в здешней и будущей жизни.

— Благодарю тебя, старый товарищ. Здорового ты меня видишь, но только не столь веселого, как тогда в Переяславле, на берегах Дуная.

— Я знаю, князь, что тебя удручает скорбь тяжкая о кончине твоей почтенной родительницы Ольги, столь справедливо названной Премудрою.

— Да, моя мать скончалась,— угрюмо произнес Святослав. Он помолчал несколько мгновений.— Смерть не беда — умереть всякому надобно, только бы умереть хорошо и не быть рабом в веке будущем. Старым людям надобно совесть знать и очищать место молодым. В свете и без того так тесно, что потянуться негде — право, тесно, добрый приятель! — Едва заметная улыбка мелькнула на устах Святослава.— А душа просит воли и раздолья — растягивайся здесь на пустой степи да в лесу — столкнешься с печенегом, шкура которого не стоит труда, чтобы содрать ее... Ох! берега Дуная и раздольный мой Переяславец Дунайский! — Он опять замолчал и через несколько мгновений спросил у Калокира:

— Ну, скажи, где был ты после того времени, когда мы расстались с тобою?

— Оставя тебя победителем Булгарского царства, я

отправился донести о подвигах твоих моему императору Никифору и был в Царьграде.

— Что же? Благодарил ли меня Никифор за мои подвиги?

— Я не имею права высказывать тебе, князь, тайн императора моего. Буду говорить тебе, как Киевскому князю, когда предстану пред тобою, как посол императора Греческого.

— Ты прав, Калокир,— я и забыл, что людям надобно два языка. Я все еще не отвыкну от наших обычаев говорить одним языком. А Булгарии пора бы выучить меня *двуязычию!*

— Я слышал о славной победе, какую одержал ты, князь, по возвращении своем в Киев над печенежскими ордами.

— Да, они теперь стали друзьями моими, посмотри, как дружно пируют они с нами, злые Печенежские хановья, когда я проучил их порядком! Клянусь Чернобогом и Белобогом, что с людьми нельзя прожить без дубины: иначе добра не добудешь ни себе, ни им; его надобно выколачивать дубиною! Подумай, что они, дикое стадо волков, забыли о существовании Святослава и хотели съесть моих цыплят, когда меня не было! — А, кстати, Калокир, ты еще не знаешь детей моих. Они жили с бабушкой, когда ты гостил у меня в Киеве. Ярополк и Олег, приветствуйте моего гостя.

Двое молодых юношей, сидевших подле Святослава, встали и протянули руки Калокиру.

— Ты видишь еще не закаленные мечи, Калокир, и — жаль, что я не знал, как вредна бывает бабья беседа молодым ребятам! В лета моего Ярополка я уже рассчитывался с вятичами и радимичами. А где мой Владимир? Гей, Владимир!

Прекрасный юноша, с мужественным благородным лицом подошел к Святославу.

— Вот память, что осталась мне от моей красавицы Малуши — дитя, которое вспыхнуло, как лен на огне, и похоже на огонь, горевший в очах его матери!

Калокир заметил завистливый взгляд Ярополка и Олега, украдкою брошенный ими на Владимира, и гордый взор, которым отвечал им Владимир.

Шум, усилившийся между собеседниками, привлек в то время внимание Святослава и Калокира. Слышны были в одно время нормандские, славянские и печенежские голоса.

— Что у вас там сделалось? — угрюмо спросил Святослав, поднимаясь немного и обращаясь к шумевшим гостям.

Несколько бояр, воевод Святослава, нормандских воинов и Печенежских ханов вскочили и бросились к Святославу.

— Рассуди нас, князь,— сказал один из норманнов.— Вот твой гость, хан Печенежский, уверяет, что все наши силачи и твои варяги не стоят его избранной дружины...

— Нет! я не то говорю, северный человек,— возразил хан.— Есть молодцы из всех, из славян и из русских, но если на выбор пошло — наш брат печенег всегда утрет нос каждому из вас. Против моей избранной дружины вам не встать. Выбирайте ухо на ухо, сотня на сотню — размычем мы вас, как сухой ковыль по полю веют ветры осенние!

— Хан дурень! — воскликнул один из богатырей Святослава,— тебе ли спорить? Видать, твоим печенегам не удавалось и во сне, что наяву мы видали! На легкой ладье среди ледяного моря плавал твой печенег? Перетаскивал ли он ее на плечах по лесу для того, чтобы спустить опять на воду и плыть в такую сторону, где железным копьем не разобьешь стены каменной и где тысячи народа готовы встретить одного варяга, где на одно копье варяжское приходится по дюжине, на стрелу по сотне? Не по степи рыскать да как собака нюхать след человеческий, а идти в царстве сильном и могучем из одного конца в конец под заревом пожаров, с дюжиной мечей и копий — вот тебе подвиг норманна, и станет ли на такой подвиг твоего печенега... Знаешь ли ты наше нормандское присловье: одного не тронь, на двух нападай, против трех защищайся, четверым не уступай?

— Не знаю я ваших присловьев и подвигов, знаю дела свои, отцовские и дедовские, и знаю, что для печенегов всюду путь-дорога и нет ему сопротивника! Река широкая вплавь на коне переплывается, по степи ведет его звезда небесная, беседует с ним пустынный ветер, говорит с ним птица летучая и ему дорогу сказывает; как гнев божий, из-за тысячи верст падает он на голову вражескую, когда сон убаюкает врага неосторожного.

— Будто разбойник украдкою, как лисица из-за куста, а не громом божиим сражаетесь вы! Тем только и берете, конокрады!

— Спроси у половцев, спроси угра и торка, полно. так ли, северный человек?

— А ты спроси у грека и булгара, пересчитай ран: на собственной спине своей, хан Печенежский!

— Ты обижаешь меня, северный человек, пока не родился Святослав, не боялись вас ни греки, ни булгары ни наша печенежская сила, как муравейник бесчисленная в чистом поле вольный народ, под шатром некупленным. А как под Царьградом встречали вас до сих пор — если ты еще молод, не знаешь — так спроси у тех, кто тебя постарее...

— Хан печенега вольного! — воскликнул Святослав,— говори, да не заговаривайся! Люблю, когда хвастают молодецкою удалью, но язык уязвляет хуже копья. Поменялись мы с тобой оружием — не выменивай же опять вражды на свой меч!

— Что же, Святослав? Правда, как солнце — ее рукой не заслонишь. Отважны были твои отцы и деды, но от Царьграда бегивали они до сих пор, как от огня горячего. И сам ты не испытывал еще силы греческой.

— Я не боюсь силы греческой! — воскликнул Святослав.— А печенеги и хазары, угры и булгары знают уже Святослава. Не скрытно, не на слабых жен, не ночью, не украдкою ходил я в степи ваши, плавал под Тмутаракань и бился под Белою Вежею: впереди меня всегда ехал бирюч мой и говорил врагам моим: *Берегитесь — Святослав идет на вас!*

— О тебе, Святослав, у меня и речи не было. Тебя знают и в Саркеле и в Переяславце; твоим именем стращают у нас дитя непослушное, когда оно по ночам спать не дает. А все еще от тебя, молодца, ждем мы настоящей удали — посмотрим, как-то да когда-то пойдешь ты под сильный Царьград греческий...

— Пойду, как ходил в твою ставку; рассчитаюсь и с греком, как считался с хазаром!

— О, печенег от тебя не отстанет, Киевский князь! Говори скорее, когда идешь ты на Царьград? Успею ли съездить в степь, проститься с молодою женою, или теперь, прямо с пира, надобно садиться на борзого коня, а детям послать благословение заочное?

Святослав усмехнулся.

— Да ведь не о том спор зашел между тобой и моими удальцами, хан Печенежский, а о том, кто из вас могучее другого? За чем же дело стало? Выбирай молодца, ставь

на выставку — попробуйте! Игра воинская — честь молодецкая. Кто из моих расхвастался силою?

— Спенд рыж.

— Ты, Спенд, безголовая голова, рука железная?

— Я, князь, и пусть хан Печенежский даст мне любого из дружины своей...

— Я последний в числе наших удальцов печенегов,— вскричал один из печенежских гостей,— но давай посчитаемся, молодец рыжеволосый! — он вышел вперед других, вытянул ноги и размахивал правою рукою, засучив рукава.

Святослав затрепетал от нетерпения видеть битву и вскочил со своего места; отовсюду сбежался народ и окружил соперников. Спенд и печенег стали посредине круга, который составился около них.

— Держу за Спенда!

— Держу за печенега! — раздавались голоса.

Между тем бойцы стояли с минуту один против другого — сын Скандинавии и дитя степей приволжских; один рыжий, голубоглазый, высокий, плечистый, другой с черными, как смоль, волосами, невысокий, черноглазый, приземистый. Они отбросили от себя оружие, натянули свои рукавицы. Едва глазом мигнули, как печенег бросился к своему сопернику и обвил его руками, будто змей, поперек тела. Но силен был норманн и ухватил печенега через руку. Глаза бойцов сверкали; неподвижно стояли они, обхватив друг друга, но их неподвижность была следствием ужасного усилия, и громко раздавались голоса:

— Славно, молодцы, славно! Помогай, боже, нашему — не выдавай, боже, нашего!

Сильно рванул печенег и перегнул норманна налево; круто повернул его норманн направо; лицо Спенда налилось кровью от тяжелого усилия, и печенег кольцом повернулся около него — думали, что он грянет о землю. Но печенег удержался на одной, и не успели мигнуть зрители, как неожиданною хитростью он уперся головою в живот сопротивника, подхватил его под ноги руками, поднял — норманн потерял равновесие и полетел через голову печенега ногами вверх, растянулся на земле и так сильно ударился спиною о землю, что кровь хлынула у него из носа и изо рта. Тяжела досталась победа и печенегу; градом катился с него пот, и от сильного напряжения он стоял, как одурелый, не слыша громких восклицаний.

— Что, князь Киевский? — горделиво спросил Печенежский хан.

— Спенд похвастал и заплатил за свое хвастовство порядочным толчком — вперед не станет. Борьба не наше дело. Тут не сила — уловка, хан Печенежский. Не хочешь ли померяться мечом и копьем?

— Уловка не сила! Какая уловка поможет, если силы нет...

— У всякого народа свой обычай сражаться. Грек берет хитростью, печенег ловкостью, славянин терпеньем, а варяг силой.

— Полно, князь! Что ты делишь уловку от силы — куда тебе без силы ловкость?

— Как же ты не понимаешь, хан? Ваш печенег десять раз перевернется на конец, заскачет вперед, выскочет назад, спрыгнет и вспрыгнет, а русс как сел, так и сидит на коне, будто прикованный гвоздем железным. Зато попробуй-ка выбить его из седла! Вот тебе что значит сила — смотри!

Святослав схватил два толстые блюда серебряные и, подавая одно из них хану, вскричал:

— На, сверни мне его в трубку!

Хан взял блюдо, посмотрел, покачал головою и, поворачивая блюдо на руке, промолвил:

— Этого сделать нельзя!

— У нас не знают слова *«нельзя»*, а говорят — *сделай!*

— *Нельзя,* князь!

— Товарищи! в самом ли деле нельзя, аль можно? — вскричал Святослав, бросая блюдо на землю и обращаясь к своим.

Шумною толпою окружили блюдо варяги, русские, славяне.

— Разогнуть подкову берусь...

— С тремя печенегами копьем потянуться — готов... но свернуть блюдо...

— Закладую мою вороную кобылу,— вскричал хан,— отдам ее тому, кто свернет это блюдо! Моя вороная кобыла на моих руках родилась, со мной пила и ела, и вихорь не обгоняет ее, когда мчусь я на ней по степи...

— Ну, хан! промахнулся! — вскричал Святослав.— А вы, товарищи, такая-то удаль ваша, что никто и приняться, и попытать не смеет? Бабьи дети! Не на щите повивали вас и не с копья кормили, а видно, что ложкой совали вам в рот кашу!

Мгновенно засучил он рукава, схватил блюдо, положил его на колено, ухватился обеими руками за самый край его, и будто оловянным сделалось толстое серебряное блюдо под его пальцами, будто превратилось в лист пергамента — в трубку свил его Святослав, перегнул еще трубку в кольцо и подал хану.

— На, хан, береги на память. Вороной кобылы твоей мне не надобно, а только помни, что если Святославову дружину побороть можно, так не родился еще тот человек на свете, который услышал бы от Святослава: этого нельзя сделать!

Радостный, громкий клик раздавался вокруг Святослава. Выпучив глаза, стоял хан Печенежский и едва мог выговорить:

— Ай да князь Киевский! Вот чем берут они, русские и варяги — с Олегом, Аскольдом и Диром, да с Святославом, не диво добраться до Царьграда...

— Пойдемте прежде, друзья, не к Царьграду, а попробовать нашей удали над зубастым кабаном, которого сегодня порешили мы, за то, что без нашего дозволенья вздумалось этому щетиннику разгуливать в Хоревицком лесу. Пойдем, старый приятель, посол Греческий, пойдем, хан Печенежский...

Длинный и широкий стол сгорожен был из досок и накрыт дорогою скатертью. Набросано было на ту скатерть листье дубовое, и огромный жареный кабан лежал целиком на столе. Несколько почетных гостей поместились на складных стульях; другие сели к столу на досках, утвержденных на древесных обрубках; многие стали у стола. Шум и говор смешивались со смехом, пока рубили на части кабана и подавали его гостям. Без тарелок, поддевая куски на ножи и кинжалы, ели и похваливали гости вкусное кабанье жаркое. Другие ествы пошли на стол. Не жалели угощения повара и кравчие Святославовы. Святослав сидел впереди. За ним стояли дети его, и странно было зрелище пира, шумного, многолюдного, ночью в лесу, при зареве костра, сборища вольного и разгульного. Песни скоро раздались между гостями.

— Веет ветер с восточной стороны,— пел печенег,— едет рать печенежская, ночью по звездам небесным, днем по полету птичьему!

— Белеют вдалеке шатры вражеские, вежи половецкие; играют стада их, веселятся девы, хвастают юноши, красуются ханы и вожди половецкие. Не слышно следа

печенежского, не чуят ржания коней их по степи необозримой!

Настала ночь, потухли огни, заснули вежи, стих ветер, не лает пес сторожевой, не колышется ковыль-трава, месяц тучей задвинулся.

Эй! Что вы храпите, враждебные половцы, подымайтесь — принимайте незваных гостей, выставляйте ествы и питья, давайте дев ваших, прощайтесь с конями летучими!

Не туман пал на поле — пали трупом враждебные половцы; не ковры на траве разостланы багряные — разлита по траве кровь богатырская. Удалые печенеги делят добычу, бросают жеребьи, берут серебро и золото, дев и коней, рабов и товары греческие!

— Полно мурлыкать, печенег, дай простор славянской голосистой, раскатистой песне!

— Не шуми, не волнуйся, Днепре Словутичу, пробивший каменные горы Карпатские, лелеявший ладии славянские от синя моря до синя моря! Повей благодатью, Днепре, княжичу, река славянская, благословенная, умоленная, тучной жертвою угобзенная!

Сидит дева славянская на берегу Днепра широкого. Не жемчуг нижет — ронит слезы крупные в волны днепровские. Далеко уплыл ее милый друг, далеко в Царьград с товарами, с данью княжескою, с добычею печенежскою. Проплывет он пороги днепровские — разобьют его море Русское; проплывет он море Русское — нападут на него разбойники сарацинские; не дастся он сарацинским разбойникам — обманет, проведет его хитрый грек; не обманет, не проведет его хитрый грек — обольстит гречанка юная! Отобьет она сердце моего милого друга, заплепит его волю молодецкую, ослепит его очи ясные, забудет он на чужбине свою родину, забудет мать родимую, забудет подругу милую! Не видать мне молодого удалого гостя, славянина почетного, не красоваться в жемчуге и золоте, не сидеть в моем тереме, не ждать его до полуночи, до первого раннего куропения...

— Ох, мне ваши славянские песни! — воскликнул молодой варяг.— Песни с девами, которые беспрестанно хнычут по отъезжающим друзьям сердечным, перекликаются с Днепром и солнцем, с ветром и морем, о котором знают только понаслышке... То ли дело наша песня варяжская!

Грозно пенилось море северное, взбиваемое веслами норманда; широко вздувался парус, раскинутый над волнами, как крыло птицы полуночной! Стоял Сигурд на

корме корабля своего, опираясь на копье булатное, и думы его неслись в отдаленную землю Рослагенскую, к деве сердца его, прекрасной, как битва, неумолимой, как меч, гордой, как корабль Сигурда на волнах!

Не молодец ли, не удалый ли я, и какой берсеркер сравнится со мною, когда кипит битва, трещат мечи, ломаются копья, стучат щиты и волк воет в ближнем лесу, чуя трапезу богатую на поле битвы кровавом? А меня презирает гордая дева!

Не ее ли имя повторял я, когда плыл корабль мой черноребрый по волнам моря северного, и у нас не было запаса и на три дня, а три недели мы плавали, видели чудеса невиданные, видели землю, где не заходит солнце, где море застыло на пространстве необозримом, где поднялись горы ледяные, рыбы плавают с корабля величиною и дна моря не достанет в безднах хвост коварного Лока? А меня презирает гордая дева!

Не ее ли имя повторял я, когда мы бились под стенами Дронтгейма и князь норвежский пал предо мною бездыханный, пал от моего неизбежного удара? Вышли трепещущие жители Дронтгейма и предложили мне власть и могущество, и руку прелестной княжны, и сто кораблей белопарусных, летающих по морю, как дума берсеркера: все отверг я и помнил только о деве моей... А меня презирает гордая дева!..

Не ее ли имя повторял я, когда, разбитый на полях Ютландии, бросился я в ладью и с шестнадцатью товарищами поплыл в необозримое море? Разостлалось оно под нами безбрежною долиною, и свод небесный, как чаша опрокинутая, закрыл нас со всех сторон. И заволновалось море, и срослись волны с облаками, и тонула наша ладья, но мы черпали шлемами и выливали из лодки воду, и пели песню смерти, и бесстрашно влетели в родную пристань Рослагенскую... А меня презирает гордая дева!

Забуду тебя, дева неумолимая! Ты страшнее для меня моря зыбучего, меча вражеского, вепря свирепого и Гелы неизбежной! Что мне смерть, когда Валгал примет меня в свои битвы бессмертные, в охоту за зверем с огненными крыльями, в пир, где из черепа врага моего напоят меня вином, выжатым из лучей солнца, и потушат жар в груди моей, воспаленной от того вина поцелуем Валькирии... Но и там буду я грустить без тебя — не мил мне без тебя будет Валгал Одина... А ты презираешь меня, гордая дева!

Будто тяжелыми цепями заковала внимание Святосла-

ва песня молодого варяга. Шумно пировали гости его и товарищи, ели, пили, прохлаждались, и вольно раздавались их песни и голоса, а Святослав задумался, не пил, не ел, облокотился руками о стол, повесил свою голову и молчал.

Когда кончилась песня варяга, он опомнился.

— Где мой Велес? — воскликнул он.— Позовите ко мне моего Велеса!

Юноша, русый, голубоглазый, с розовыми щеками, как кровь с молоком, свежий, прекрасный, подошел к князю. В белой одежде, с гуслями в руках явился он, и за ним следовали несколько его товарищей; один из них был седой старик с длинной бородою.

— Любимец Перуна! Спой мне одну из тех песен, которыми так часто веселил ты мое сердце! — сказал Святослав юному певцу.— Спой, соловей старого времени. Я засыплю песню твою золотом и серебром!

— Князь славный! — отвечал Велес.— Не надобно мне твоего золота и серебра. Подари меня твоим ласковым словом — не требует певец ничего от бога, кроме дара песни, от князей и людей ничего, кроме чести, от дев красных ничего, кроме любви. Что велишь ты спеть мне?

— Могу ли я указывать, что спеть тебе, мой соловей? Сядь, перебери твои золотые струны и пой, что внушат они тебе — только не песню любовную — она годится для баб. Ты знаешь, какие песни люблю я!

— Знаю, что любит князь мой. Угодно ли ему пение об угорском переходе через Киевские горы; или о войне русской на берегах Хвалынского моря, или он позволит мне спеть новую песню, которую вчера сложил я и выучил с моими товарищами — песню об Олеге Вещем?

— Новую песню об Олеге Вещем? Пой, Велес, пой твою новую песню!

Певец сел, склонив свою голову, поднял ее; глаза его оживились; он дал знак рукою своим товарищам, положил гусли свои на колени; старик седобородый стал против него и, махая рукою, давал меру пению. Пальцы Велеса пролетели по струнам, и струны гуслей загорелись в согласных звуках. Речитативом, иногда переходившим в томное, иногда в шумное, быстрое, живое пение, начал Велес. Товарищи его составляли хор, вторивших ему, и когда он сам переставал, голоса их сливались в повторении последних слов песни.— Святослав сидел, облокотившись на стол, неподвижно и безмолвно.

— Не гроза ли могучая завывает, не волна ли пошла по широкому Днепру? Нет! То не волна мутит песок со дна речного и пугает русалку золотоволосую, не буря ломит лес дремучий и заставляет лешего прятаться в трущобу — то идет волной, крутит бурею дума *Вещего Олега!*

Стоит сумрачен Вещий, облокотясь на копье булатное; ветер веет его серебряные волосы; глаголют стязи его; стонет Днепр словутный, нося на хребте своем ладии Вещего. Бесчисленно его воинство — варяги и словене, чудь и кривичи, меря, древляне и радимичи, поляне, северяне, вятичи, хорваты, дулебы и тиверцы,— все народы, иже наречутся от греков народы скифские.

Обозревает могущее воинство свое Вещий, обозревает и думу думает: не бессмертны есмы смертны, но кто был славен в Русской земле, как славен я? Меня трепещут горы Карпатийские, меня боятся волны Эвксинские, меня слушает неукротимый Днепр, повинны мне народы славянские, устрашается меня земля хазарская, робеет меня орда печенежская! Пойду на славный Царьград греческий, добуду славы, или голову положу под стенами Цареградскими и бессмертен буду в памяти!

И подводят Олегу его коня любимого; поглаживает коня рукою, поправляет на нем Вещий попону золотоцветную; ржет и радуется его удалый конь; ставит Олег ногу в стремя серебряное, поправляет уздечку среброкованную, выправляет плетку шелковую.

Стоит против Вещего Перунов жрец, стоит осклабляется, усмехается, глядя на Вещего. Смутился духом Вещий, вопрошает жреца прозорливого, дальновидного:

— Ох, ты, гой еси, жрец Перунов, дальновидный, прозорливый, колдун не болтун велеречивый! скажи: чему ты усмехаешься, осклабляешься, на коня моего озираешься?

Ответ держит Перунов жрец, говорит Вещему речь мудрую:

— Вещий Олег, князь Киевский! ведаешь ли, что ни хитру, ни горазду, не птицей летающу, ни волком рыскающу, ни мудрому, ни разумному своего жребия миновать не приходится?

— Скажи мне, Перунов жрец, на чем же свершиться моему жребию? Аль меня поглотит море Эвксинское, аль меня захлестнут волны днепровские, аль меня подсте-

режет стрела неминучая, аль кости мои в чистом поле размечут звери хищные?

— Не стрела губит, а палка, не море, не река топит, а лужа, не зверь страшен, а муравейко ядовитый. А тебе, Олег, от коня твоего любимого смерть приключится!

Задумался Вещий. Говорит своим отрокам: возьмите коня моего любимого, уведите в луга заповедные, поите сытой медвяной, кормите пшеницей сеяной, хольте, лелейте, на глаза мои не водите!

Но ни хитру, ни горазду, ни птицей летающу, ни волком рыскающу, ни мудрому, ни разумному своего жребия миновать не приходится!

Говорило море Эвксинское, Эвксин Окиянович, спрашивало у Днепра тиховейного:

— Скажи мне сущую правду, Днепр Волкович, правду ли пересказывал мне Дунай Карпатович, а слышал он от братьев, Днестра каменистого да от Буга Ингуловича, правда ли, что плывут к Царюграду ладьи Олега Вещего, взять, полонить, порушить стены Цареградские?

— Плывут-таки, плывут ладьи Вещего, Эвксин Окиянович; не солгал тебе Дунай Карпатович, и правдивую весть слышал он от братьев одноводных, Буга Ингуловича, Днестра каменистого!

— Не пущу я ладей Вещего надо мной, синим морем, насмехаться, к Царюграду прогуляться! Подыму я бурю великую, разобью я ладьи Вещего, пошлю детей Стрибога, и развеют они ладьи русские, разнесут их, куда и птица костей русских не занашивала!

— Напрасно подымешь ты бурю. Хитер, умен Вещий — обернет свои ладьи цаплями долгоносыми, оборотит своих воинов чайками белокрылыми, перелетит к Царюграду по поднебесью!

— Не пущу я ладей Вещего надо мной, синим морем, насмехаться, к Царюгороду прогуляться! Взволную я мою чешуйчатую кожу, вспрыгну волнами до неба, ударю ладьи в берег каменистый, накличу на трупы хищных вранов!

— Напрасно ты взволнуешься сердитыми валами, не перехитрить тебе Вещего Олега — заговорит, заклянет тебя Олег Вещий, запрет тебя в закрепы подводные, в пещеры мрачные, на триста лет с единым годом, лишит тебя воли молодецкой! И без того твоя старая удаль пропала, устарел ты, Эвксин Окиянович, не гуляешь через Кавказские горы, не бродишь ты по степям Половецким...

Что зашумело, зазвенело в Царьграде? Что засветилось, засветлело на Золотом Роге? Что загудело, затрещало на Белом море? Аль Царьгород бури испугался? Аль пришла к нему несметная сарацинская сила? Аль его с суши сдвигают буйные ветры, а синя моря на сушу выдвигают валы седые?..

Нет! То шумит, вопит народ Цареградский, то звенит колокол набатный, то засветились в Царьграде пожары, то гудит вихорь, развевая дым и пламя, то трещит берег под ладьями Вещего Олега!

Испугался царь Греческий, ужаснулся; зловещий сон ему приснился, будто с вечера ему на голых досках стлали, белым саваном его накрывали, красным вином его поили, в изголовье ему гробовой камень положили.

Веет ветер, тихо море, светит солнце, серебрится вал прибрежный! Забелели, зачернели, чайкой птицей полетели ладьи Вещего Олега!

Не стадо белых лебедей, не вереница гусей серокрылых, плывут к Царюграду ладьи Вещего Олега, плывут, приплывают!

Ох, вы, гой еси, мои воеводы и бояре! Протяните по морю железные цепи, загородите цепями море, не проплыть бы, не проехать Вещему Олегу!

Усмехнулся Вещий греческому мудрованью, говорит своим ладьям послушным:

— Выплывайте, ладьи мои, на берег, катитесь по земле, будто по синему морю!

Откуда колеса взялися и по суше ладьи Вещего понеслися!

— Ох, вы, гой еси, мои воеводы и бояре! Готовьте огонь неугасимый, жгите, палите Вещего Олега!

Усмехнулся Вещий греческому мудрованью, говорит облакам поднебесным:

— Полно вам, облака, гулять по-пустому, полно вам глотать росу небесную даром! Соберите воду дождевую, прысните на греков, утушите их огонь неугасимый!

Испугался, ужаснулся Царьгород, смутился, вздурился царь Цареградский.

— Ох, вы, гой еси, мои бояре, воеводы, мудрецы мои седобородые! Отпирайте мои кладовые, берите серебра, золота, сколько хотите, несите к Вещему Олегу, платите ему дань валовую, да другую дань круговую, а третью не дань, а подданок, а четвертую на каждый русский город, а пятую Игорю княжичу с Ольгой княгиней, шестую

всем светлым князьям русским, а седьмую платите Перуну на свечку!

Стучит молот тяжелый, стонет земля, охает Царьгород: прибивает Олег щит свой к воротам Цареградским, вещует, волхвует, заклинает:

— От сего дня грекам от Руси не ущититься! Стар я становлюсь, и сюда не приду вдругорядь,— придет сюда молодец меня удалее, возьмет, полонит он Царьгород, а имя тому молодцу — князю удалому...

Не слыхали, кого назвал Олег Вещий... Но знают то имя колдуны, вещуны Киева и Царяграда, вещуют, шепчут его валы Эвксина, ведают его волны Дуная!

Неподвижен и безмолвен сидел Святослав, когда Велес начал песнь свою, но, будто масло на огне, загорелось его княжеское сердце от слов Велеса. То глядел он на певца и, казалось, пожирал глазами его сладкоголосые струны, то опять погружался в задумчивость и медленно дышал, будто боясь упустить какое-нибудь слово Велесово. Огонь горел в глазах юного гусляра и переливался в душу князя. И когда Велес пел о щите Олеговом, говорил о том, *кто* пойдет по следам Олега, умалчивая имя, но сказывал, что знают то имя колдуны, вещуны киевские и царьградские, вещают, шепчут валы Эвксинские, ведают волны Дунайские... тяжко, высоко подымалась грудь Святослава — как будто далекая буря дмит и буровит море Эвксинское, еще не вздымая, не кипятя валов его, дума скрытная дмила и бурлила душу Святослава...

Громче и громче раздавались песни Велеса, чем далее распевался он, соловей киевский, звезда русских баянов. Смолкли, стихли все собеседники княжеские, умолкли смех и шумная беседа всех гостей, не колыхался листок на дереве, и только голос Велеса и хор его согуслярников катились волнами перекатными по сердцам и душам слушателей. Внимательно слушали и варяг и печенег. Калокир и его товарищи сидели безмолвно при песне славянского соловья, уныло повесив свои головы.

Когда Велес готов был выговорить имя преемника Олегова, Святослав дышал прерывисто и тяжко, наклонив голову на свои руки. Задумчивый, толкнул он чару с вином, стоявшую перед ним, не заметил, как она упала, как потекло из нее вино, лилось через край стола, и верные псы его лизали драгоценный сок хиосского винограда...

Но Велес умолк, перекатился снова перстами по гуслям, и с хором запел величанье Вещему Олегу.

— Велик, мудр, могущ и славен Олег Вещий —

слава ему! Пирует он победу свою в княжеском тереме — слава ему! Опирается он на булатный меч, подпирается на копье двадцати локтей, пьет вино цареградское, шьет на ладьи свои парусы паволочатые, делит добычу богатую, серебро, золото, ткани многоцветные, камни самоцветные, ковры вавилонские — слава ему! Веселится его дружина верная, веселятся его князья светлые — слава ему! Его верные слуги не стареются, его добрые кони не ездятся, его цветное платье не носится — слава Олегу Вещему!

Струны Велесовы задрожали, затрепетали. Глухо перекатились отголоски и — тихо запел певец:

— Но ни хитру, ни горазду, ни птицей летающу, ни волком рыскающу, ни мудрому, ни разумному своего жребия миновать не приходится!

— Где мой конь любимый? — вопрошает Вещий Олег.— Конь твой издох, и кости его благородные кинуты на чистое поле, обмывает их струя дождевая, осушает их солнце палящее, закрывают их снега белые, обвивает их травка шелковая, обвевают их ветры буйные!

— Седлайте мне моего коня доброго, зовите ко мне кудесника, жреца Перунова, укорю я его бороду старую, насмеюсь над его ложным прорицанием!

Стоит сумрачен Вещий Олег, сложив руки на груди богатырской. Сильно бьется сердце его ретивое; вьют его серебряные волосы; вокруг него дружина верная; перед ним стоит жрец Перунов, усмехается, осклабляется, перед ним лежит череп коня доброго и белеют его кости благородные.

— Ох, ты, гой еси, кудесник, жрец Перунов! От *сего ли голого лба* мне смерть приключится?

И шевелит Вещий ногою череп лошадиный, шипит змея черная, зелье ядовитое готовит князю, вынырнула, обвилась вокруг ноги черной лентой, уязвила Вещего Олега, чует смерть Вещий — затуманились его ясные очи, подогнулись его крепкие ноги, опустились его могучие руки...

Празднуют тризну на горе Хоревицкой; пьют крепкие меда, стучат в медные щиты, поминают покойника добрым словом. Кого поминают на горе Хоревицкой? Поминают Вещего Олега!..

И сбылось присловье премудрых: ни хитру, ни горазду, ни птицей летающу, ни волком рыскающу, ни мудрому, ни разумному своего жребия миновать не приходится! Будь велик и могуч — равно прорастет крапива на могиль-

ном холме твоем, и когда хищные звери разроют могилу твою, не узнать по твоему ветхому черепу — был ли ты силен, богат и славен, был ли ты тщедушен, убог и безвестен!

— Так что же, мой сладкогласный соловей, так что же, мой баян вещий, что в том, если люди задумаются над моим черепом,— воскликнул Святослав, крепко ударив кулаком своим по столу,— что в том, если при жизни моей душа моя была сыта весельем, земля наполнялась говором моего имени, катался я, как сыр в масле, в славе, богатстве и почести? Пусть только имя мое прокатится, будто гром, через века грядущие, пусть отзовется оно в песнях баянов, пусть летает потом пред моим потомком, как гром перекатный по туче, зловещею бедою грозя сильному врагу... О! год жизни, год славы Олега Вещего, и — пусть товарищи мои подвигов пируют тризну на моем гробном холме — пусть птицы хищные дерутся за труп мой, тлеющий в пустыне безвестной! — Слезы брызнули из глаз Святослава. Он закрыл глаза рукою. Безмолвно сидели его дружина, варяги, норманны, славянские удальцы. Чаши стояли перед ними налитые и полные, но не початые.

— Нет! — воскликнул Святослав.— Нет! Не любо мне в Киеве жити — хочу жить в Перéяславце на Дунае! Там будет среда земли моей,— там вся благая сходится — от греков паволоки и золото, и вина, и овощи различные, из чехов и угров серебро и кони, из Руси скора, воск, мед и челядь! Прочь, пиры разгульные, прочь, девы красные, одры пуховые! Друзья! Не починуть, не отдохнуть, не пить вина, не ласкать дев, пока не зачерпнем шеломами воды Дуная широкого!

— Прочь пиры, веселья, дев! — загремели голоса.— К мечу, к щиту, к копью, к шелому! — В беспорядке бросились все из-за стола и шумно окружили Святослава.

Ухватив руками руку Свенельда и руку другого своего вождя.— Друзья, товарищи, ратники, вожди мои неукротимые! — воскликнул Святослав.— Души ваши в буести закалены, на кровавых пирах с смертью обручены! Ужли оставаться в Киеве? Из болот Новогородских перешел на берег Днепра Олег Вещий, с берегов Днепра перейдет Святослав на злачный берег Дунайский — а там... Пусть толкуют вещуны, куда еще перейдет русский князь!

— Туда, где уже нет дороги ни конному, ни пешему! — закричал Свенельд.

— А ладья на что? И не наши ли братья варяги облетали на ладьях из Варяжского моря до Эвксинского? Не они ли достигали по безвестным морям Гринланда и Аттурвейза, Биармии и Пермии, туда, где солнце только умывается в море, а в хлябь его не садится?

— И попустим ли мы тщедушному булгару наругаться над нашей честью,— восклицал Святослав.— Три дня вы видите меня печального и мрачного — не о матери я горюю, но о той вести, какую я получил из Переяславца. Знаешь ли, что храбрые наши товарищи, оставшиеся на Дунае, одолены, побиты булгарами; что царь булгарский ищет союза с уграми и с греками, и не боится уж нас, думает, что навсегда унесли нас в леса наши и пустыни волны Эвксинские? За товарищей ли не отомстим? За дядьку ли моего, мудрого, седовласого Асмунда, который остался стеречь наши Дунайские волости — он убит, он не дался живой — счастливый старец! Но — кровь за кровь, по русскому обычаю!

— К копью! К мечу! Мщение булгару! Веди нас, Святослав! Камо ты пойдешь, тамо и мы пойдем!

— Подайте мое копье! — Копье было подано. Держа его за конец древка, обратил дротик его к своим собеседникам Святослав.— Берись за копье мое, кто хочет идти со мною — не берись, оставайся дома, кто трусит и робеет.— Сотни рук протянулись к копью.

— Мы все идем! Мы все с тобою! — шумели радостные голоса.

Святослав схватил секиру, перерубил древко копья и, подъемля секиру над головой, воскликнул:

— Пусть скорее прорастает это сухое ратовище зелеными листьями, пусть срастется оно снова, пусть посечены мы будем мечами своими и будем рабами в сей век и будущий, если отступим от своей клятвы — клянемся Перуном и Волосом, и богами греческими, и богами варяжскими!

— Клянемся! — раздавалось окрест Святослава. Он казался грозным богом брани. Он был исполин, непобедимый при той силе, какую слова его возбуждали в сердцах его дружины и вождей!

— И мы с тобою! — кричали печенеги.— Вина, вина! Пьем за нашу клятву!

Среди сих кликов военною песнью громко загремели струны Велеса. Святослав и его товарищи чокались чаша с чашею, и князь потрясал руки товарищей своею мощною десницею в залог верного слова — жить и умереть вместе!

АВТОБИОГРАФИЯ Н. А. ПОЛЕВОГО





Немногие из Русских литераторов, говоря вообще, писали столь много и в столь многообразных родах, как я. Едва какой-нибудь современный предмет, сколько-нибудь волновавший умы и сердца моих современников, не обращал на себя моего внимания, как критика и журналиста. Изучение и разбор всего, что мелькало перед нами в минувшие пятнадцать, двадцать лет, увлекали меня беспрерывно и постоянно. Осмеливаюсь думать, что в том, что было мною писано, и не одни современники найдут повод к размышлению. Многое из спорного для нас еще доныне не решено и предоставляется решению, может быть, детей наших, а особенно может и должно еще занять нас самих в настоящем времени. Менее ли любопытны современные черты прошедшего, на которые теперь сам я смотрю, как посторонний зритель, уже не сочувствуя им живым участием, какое увлекало меня некогда, смотрю, как на бумаги выигранного или проигранного процесса судебного? Наконец, мои личные отношения к тому, что я писал — они для меня всего важнее.

Кладу руку на сердце и дерзаю сказать вслух, что никогда не увлекался я ни злобою — чувством для меня презрительным, ни завистью — чувством, которого я не понимаю,— никогда то, что говорил и писал я, не разногласило с моим убеждением, и никогда сочувствие добра не оставляло сердца моего; оно всегда сильно билось для всего великого, полезного и прекрасного. Смею думать, что самые враги мои, если они в состоянии сказать обо мне очень многое,— в тайне сердца своего не станут противоречить сим словам моим.

Смею прибавить, что такое постоянное стремление доставляло мне минуты прекрасные, усладительные, награждавшие меня за горести и страдания жизни моей. Не раз пожимали мне руку те, кто лучше узнавал меня,

делались друзьями те, кто не любил меня прежде, смотря на меня с неверной точки зрения. Сколько раз слышал я искренную благодарность и привет добродушных юношей, говоривших, что мне одолжены они нравственным наслаждением и верою в добро! Не скажет обо мне, кто примет на себя труд познакомиться с тем, что было мною писано, не скажет, чтобы я чем-либо обесславил звание, которое всегда ценил и ценю — звание литератора. Мои слова не самохвальство, но искренний голос человека и литератора, который дорожит названием честного.

Между тем, в столько лет... как человек, я платил горькую дань несовершенствам и слабостям человека...

Сколько раз видал я, что мое искреннее убеждение бывало неверно, сколько раз разочаровывался я в мечтах моих, сколько раз обманывали меня обольстительные надежды!

Пусть вержет за то на меня камень тот, кто сам не испытал обмана и разочарования в окружающем его и — что еще грустнее — в самом себе!.. Если ты еще юн, собрат мой — ты не судья мне: дай пробиться седине на голове твоей, дай похолодеть сердцу твоему, дай утомиться силам твоим от труда и времени, и тогда говори и суди меня!

Теперь, когда, по вычету вероятностей, мне остается жить менее, нежели я жил, когда посулы будущего уже не обольщают души моей и золотые сны не облегают наготы существенного, когда лета и жизнь чаще приковывают взоры мои к общей нашей матери, земле, и прогулки на кладбище становятся для меня утешительнее самого веселого пира, более других строго сужу я обо всем, что успел сделать, и думаю: как мало сделано! Не редко в душе моей вскипает еще желание деятельности, иногда воображение еще далеко ставит грани того, что можно сделать... но угрюмый опыт останавливает мечту и щиплет крылья моего воображения...

С какою радостью желал бы я передать юному, свежему силами поколению все, что многолетний опыт, размышление и труд дали мне все, что таится в душе моей, для пользы ближних, для чести отечества, для присовокупления в сокровищницу знаний, и что, вероятно, погибнет невысказанное, умрет со мною! Сколько еще предметов для работы, сколько труда, почетного, прекрасного, в настоящем состоянии нашего просвещения и образования! Желал бы я указать на сии труды и работы, ожидающие делателей, желал бы сказать: «Дорожите каждым часом,

каждою минутою нашего неверного, мимолетного бытия; помните, что только пользою и добром оценяется наша жизнь — здесь и там, если не всякому из нас дано, если только не многим избранным дано призвание творца, поэта, художника, то ни у кого из нас не отнята воля на труд, а при сильной воле человек может сделать многое, очень многое, больше, нежели он себе сначала воображает. Но помните, что только трудом и размышлением покупается честь и успех, упорством, постоянством в стремлении к положенной цели, и что не редко — часто даже — нас встречают неблагодарность, злоба, своекорыстие, насмешка. Не робейте, друзья! Паче всего гоните от себя дух уныния; ищите награды в самом труде, не ожидая другой награды — придет и она, может быть... Все это и многое еще желал бы я сказать тем, кто должен сменить нас на поприще мира — сказать, что все наши пожертвования, все труды наши, всю горесть бытия, на поприще науки и искусства искупают минуты, каких не знает человек, не испытавший работы умственной. Какое наслаждение в самом приобретении знаний, в нравственном, духовном совершенствовании самого себя! Какая утеха, когда наши понятия светлеют, когда темное ощущение наше переходит в ясное чувство самосознания; когда для беседы с нами отверзаются безмолвные гробницы и тени великих всех веков приходят беседовать с нами в наше уединение, даже на языках давно умолкнувших; когда в избытке чувств переполненная душа наша стремится передать другим то, чего не может удержать в самой себе, облекает идеи свои в образы и формы, дает им жизнь и бытие, как драгоценный залог бессмертия нашего даже и на земле, передает своему времени, своим ближним мысль, идею, родившуюся на берегах Инда, Цефиза, Тибра, Гвадальквивира, Рейна, Авона, не погибшую в пыли веков, или тайны мудрости Индийца, Эллина, Германца, озарившая их для блага и счастия человечества...

Желал бы я пересказать им и мою собственную жизнь, то, чего стоило мне исполнение мечты моей, еще в детстве увлекшей меня в мир фантастических созданий и труда умственного, чего стоило мне старание стать в ряд других современников, имена которых волновали душу мою с самых юных лет... Может быть, когда-нибудь я представлю им отрывки из заметок о жизни моей... Не из хвастовства решусь я на такое предприятие, — и чем хвастать, боже великий! если я сам лучше других понимаю всю ничтож-

ность моего бедного дарования, всю слабость средств, какими заменил я недостаток моего первоначального воспитания, всю недостаточность сделанного мною! — Мои заметки могут быть любопытны подробностями — мне удалось многое видеть в жизни моей, разнообразной, переменчивой, которая из купеческой конторы и водочного завода перевела меня в кабинет литератора и ученые общества и Академии, с берегов Ангары и Тускори на берега Москвы и Невы и простого купца сближала с столь многими достопамятными людьми не только Русской литературы, России, но и Европы нашего времени. Мне хотелось бы изобразить при том многие любопытные стороны нашего века, нашего времени, столь богатого диковинками, выставить ряд портретов современных — галерею пеструю и разнообразную. Я исполнил бы тем даже и святой долг благодарности немногим, кто дружбою, участием, благодетельным для души и сердца моего вниманием наставлял меня, был благодетелем моим — иных из числа их уже нет на свете,— давно нет и тебя, мой отец, человек, память которого священна для детей твоих, тебя, которому одолжен я и жизнью, и всем тем, что только составляет достоинство человека, тебя, страдалец мира, неузнанный, непонятый людьми и судьбою!.. Простите говорливости, в какой обвиняют всех старых людей, когда они заговорят о прежнем; я не могу молчать здесь и прибавлю вам еще несколько слов — беспорядочных отрывков из моих воспоминаний...

Наш род Полевых был одним из старинных и почетных посадских родов в Курске, наряду с Климовыми, Голиковыми и другими почетными Курчанами. Замечательно, что кроме Курска Полевых нигде больше не было, но тем многочисленней были они в Курске, так что их различали даже одних от других уличными названиями; наш род по уличному прозывался Осипов, по имени моего прадеда Осипа, который был известен по своему благочестию и считался большим начетчиком духовных книг. Я видел подпись его, четкими, кудрявыми буквами, на купчей Курского Магистрата, в ряду с другими почетными гражданами. Он вел большие торговые дела, но в старости устранился он от всех дел, поручил их детям, ходил только к церкви божией и жил в комнатке подле бани, стоявшей на огороде его старинного дома. Дом этот находился против бывшего в Курске верхнего Троицкого монастыря, на высоком берегу живописной Тускори (его купил потом купец Горбунов). Впрочем,

предки наши не умели наслаждаться живописными видами; дома их строились внутри дворов, обнесенных на улицу заборами, ворота которых днем и ночью были заперты. Прадед был одним из богатых людей в Курске; у него была каменная палатка для складки товаров, которые вывозил он из Персии, куда езжал торговать, а таких палаток в целом Курске было только две. Дед мой Евсей был женат на Климовой, сестра которой была за И. Л. Голиковым, одним из богачей Курских, двоюродным братом Михаила Сергеевича Голикова, которого воспел Державин под именем соседа, и Ивана Ивановича Голикова, известного сочинителя Деяний Петра Великого. Но первый удар нашему дому нанесен был возмущением Тахмас-Кулыхана, где погибли Русские купцы, находившиеся тогда в Персии, и между ними брат моего деда, причем все товары были разграблены. Дед мой принужден был ограничиться торговлею с Бухарцами в Оренбурге. Странно, что какой-то дух предприимчивости отличал моих предков среди тогдашнего купечества. Так, брат моего деда Иван погиб в Америке, куда отправился искать счастья, а старший дядя мой Василий решился ехать в Камчатку, где оставалось наследство после Ивана; и он также не воротился на свою родину. Дела деда поправились, но Пугачевщина вконец разорила его. Дед был в числе сидевших в Оренбургской полугодовой осаде 1773 года. Участь его была долго неизвестна бедному семейству его. Отец мой был тогда лет 13-ти (он родился в 1759 году), выучен уже грамоте у дьячка, и бабушка посылала его торговать мелочами на Курском базаре. Между тем Голиков сделался откупщиком в Сибири; бабушка просила его принять сироту, племянника Алексея, и дать ему местечко. Голиков велел отправить его в Сибирь, и отец мой отправился в Тобольск. Он видел мимоездом пожарище Казани, сожженной Пугачевым и, в юности увлеченный судьбою в Сибирь, провел там сорок лет деятельной, трудной, разнообразной жизни. Вскоре был он отличен хозяевами. Ему поручали дела в Москве, Петербурге, Казани, Тобольске, но вскоре настало для него занятие важнее. Голиков имел участие с знаменитым Шелиховым по торговле и промыслам в Америке. Его капиталами совершена была знаменитая экспедиция Шелихова в 1783 году, когда он открыл Кадьяк, за что обоим компаньонам даны были медали и шпаги в 1788 году. Но ловкий Шелихов умел запутать дела, начал с Голиковым тяжбы, и отцу моему поручил

Голиков быть поверенным с его стороны. С тех пор отец мой поселился в Иркутске. Там женился он на бедной сироте, умел окончить все ссоры, получил пай в торговле Американской, сделался другом Шелихова, и они решились утвердить на прочном, незыблемом основании дела в Америке. Отец мой составил план обширной Компании, поехал в Петербург, и уже возвращался в Иркутск с условиями, на какие согласился Голиков, бывший тогда откупщиком в Петербурге, когда дорогою услышал он о смерти Шелихова (1795 года). Начались споры за дележ богатого наследства. Отец мой подвергся жестокому гонению, но не унывал. Зная лучше всех дела и соперничествуя Голикову, которого бессовестно умели вооружить против него, и Шелиховым, сделавшимся его врагами, он уговорил Иркутских купцов завести другую Компанию. Напрасно мирил и ладил дело Н. П. Резанов, зять Шелихова, бывший впоследствии камергером, обер-прокурором, а потом послом в Японии. Уговорили отца моего от всего отступиться. Компании соединились, приняли название Соединенной Американской. Отец мой получил за весь свой пай 100.000 рублей, забыл об Америке и занялся делами другими, намереваясь оставить Сибирь. Прошло не много лет. Смелое торговое предприятие и излишняя доброта и доверчивость к людям вдруг лишили его состояния. Едва мог он расплатиться, остался почти ни с чем и отправился в Петербург в 1802 году. Американская Компания, составленная из Шелиховской и Иркутской, получившая многочисленные привилегии, распространившая свои дела, имевшая уже главное Управление в Петербурге и отправлявшая корабли кругом света, видела в нем опытного, особенно нужного ей человека и уговорила его принять место правителя в конторе Охотской и Иркутской. Отец мой опять принялся за Американские дела, но не долго пробыл он и принужден был отказаться от своей должности. Надобно было что-нибудь делать. Еще кровь его кипела деятельностью; средства казались неистощимы. Он завел выделку морских котов, и на небольшие деньги, какие успел собрать, решил основать в Сибири фаянсовую фабрику. Имя Веджвуда произносил он с восторгом. Материалы нашлись близ Иркутска; двое каких-то ссыльных мастеров, токарь и лепщик, бывшие некогда на Петербургском фарфоровом заводе, были первыми его помощниками. Он продал свой дом в городе, занял обширное место за городом, на речке Ушаковке, построил себе там небольшой дом, завел свой

фаянсовый завод и начал работать. Это было в 1805 году. Здесь начинаются уже мои живые воспоминания. Из всего, что было прежде, помню кое-что, отрывками, случайно. Но в 1805 году мне было девять лет (я родился 22 июня 1796 года).

Помню отца моего в ту пору, уже с сединою на голове, но еще бодрого, свежего, пылкого, горячего, деятельного, всегда в своем халате, или за делом, или с книгой в руках. Только теперь могу я оценить его необыкновенный ум, множество практических его сведений, его светлые мысли обо всем. Школа опыта и жизнь в свете ознакомили его с людьми, путешествие по пустыням Сибири — с природою. Прибавьте к этому огромное чтение (он не знал ни одного языка, кроме Русского, но не знаю, чего он не читал по-Русски в свое время), память чрезвычайную, привычку мыслить, любопытство безграничное, живость юноши даже в преклонных летах, вспыльчивый характер при младенческом сердце, умное, благородное лицо с голубыми глазами, стройность тела при некоторой тучности, веселость, дар слова — и вы очертите себе портрет отца моего. Не знал я никого другого, более его добродетельного и благодетельного, не знал никогда сердца более чувствительного — сколько раз заставал я его, в старости, плачущим за романами, сколько раз видал, что последний рубль делил он с бедным, слыхал, как прощал он обиду, неблагодарность! Но в гневе он бывал ужасен. Мы любили его без памяти и боялись чрезвычайно, хотя он сам иногда игрывал, бегивал с нами, как дитя. Пылкость и воображение неукротимые, при доверчивости к другим, всегда губили его, и тут не помогали ему ни ум, ни опытность. Сколько раз говаривал он мне, что последние слова дедушки, при последнем прощаньи его с ним были: «Алексей! не буди яр!» и при первом случае увлекался он пылким, добрым своим характером! Прежде любил он жить открыто, но когда начал я помнить себя, мы жили уже весьма скромно. Отец мой мало выезжал из дома, но гостей всегда бывало у нас много; весь город знал, любил и уважал его; с ним приходили советоваться, к нему шли мириться. Губернатор приезжал к нему запросто и требовал, чтобы он оставался в своем халате. Все, что только являлось в Иркутске замечательного, каждый путешественник посещал отца моего.

Нельзя, однако ж, ничего вообразить страннее понятий отца моего об образовании и вследствие того о методе воспитания, какое следовало дать детям Собственно,

методы у него не было никакой. Он чувствовал пользу учения и образования, желал их, но долго надобно бы говорить, объясняя, что значили в его понятиях слова: деловой человек, и что такое называл он вздором. Писатель в глазах его был что-то странное, хотя он глубоко уважал Голикова, и сто раз слыхал я от него все подробности об этом любопытном Историке Петра Великого, с которым хорошо дружен был он как родственник. Несколько раз хотел отец мой послать меня в Петербург, в Коммерческое училище, где очень знаком ему был Директор, известный Подшивалов. Я почти не помню себя неграмотным, потому что лет шести был я, когда старшая сестра выучила меня читать, и лет восьми я уже читал вслух — матери моей романы, отцу же Библию и Московские Ведомости, а десяти перечитал уже все, что было в шкапе у отца моего: Всемирный Путешествователь, Разговор о Всеобщей Истории Боссюэта, О множестве миров Фонтенеля, путешествия Ансона и Кука, Деяния и Дополнения к Деяниям Петра Великого, несколько разрозненных томов сочинений Сумарокова, Ломоносова, Карамзина, Хераскова, театра Коцебу и проч.— Добрый товарищ моего детства А. А. Титов (он теперь Правитель Компанейской Конторы в Иркутске) выучил меня писать, и мне было лет десять, когда я вел уже домашнюю контору у отца моего, и писал — да, писал стихи и прозу, сам не зная, что такое стихи и проза, выдавал газету: Азиятские Ведомости, вроде Московских Ведомостей, журнал: Друг России, вроде Московского Меркурия (Макарова), от которого я был в восторге, написал драму: Брак царя Алексея Михайловича, трагедию: Бланка Бурбонская, интермедию: Петр Великий в храме бессмертия, сочинял Путешествие по всему свету, и решился свести воедино Деяния и Дополнения Голикова. Если успевали мы достать новых книг у когонибудь, я просто зачитывался, забывал дела; тут-то начиналась буря: отец бранил меня, жег мои драмы и журналы, отнимал у меня книги. Но через несколько времени я опять принимался за прежнее, и отец мой, страстный политик, читая Московские Ведомости, Вестник Европы, Политический Журнал, забывал свое запрещение, говорил, рассуждал со мной, как со взрослым; мы вместе бранили Наполеона, делили Европу, ждали с нетерпением почты, которая привозила новости о наших победах, о Тильзите, об Эрфурте, о Вене; я наизусть выучивал статьи из Рус-

ского Вестника, вместе с Россиядой Хераскова, стихами из Моих Безделок Карамзина, притчами Сумарокова, Мыслями вслух на Красном крыльце. Сделался, наконец, ходячею справочною книгою отца моего по Географии и Истории, потому что память у меня была такая, какой я ни у кого другого не встречал. Выучить наизусть целую трагедию мне ничего не стоило. Словом, если надо выразить умственное образование мое до 1811 года, то оно было таково: я прочитал тысячу томов всякой всячины, помнил все, что прочитал, от стихов Карамзина и статей Вестника Европы до хронологических чисел из Библии, из которой мог наизусть перечитывать целые главы, но это был какой-то хаос мыслей и слов, когда сам я едва начинал мыслить. Между тем я был деловым человеком, управлял заводами отцовскими (к своему фаянсовому заводу он присоединил еще водочный, войдя в связи с тогдашними откупщиками), вел контору, расчеты, ходил и ездил в город по делам и слыл в городе диковинным мальчиком, с которым, как с умным человеком, рассуждал сам Губернатор и спорил Директор Гимназии.

В 1811 году отец мой, успевши поправить несколько свое состояние, решился оставить Сибирь. Воображение сулило ему золотые горы в России. Он исчислял десятки предприятий и от каждого сотни тысяч, а я должен был отправиться предварительно с его поручениями в Москву. Мне было лет 15-ть. В мае 1811 года оставил я Иркутск, был мимоездом на Макарьевской ярмарке, а в августе приехал в Москву, где поселился у старого отцовского приятеля...

Говорить ли о впечатлениях моих, когда, не оставляя прежде никогда Иркутска, я вдруг проехал через всю Сибирь, видел первую в свете ярмарку и увидел древнюю Москву? Ничто не поразило меня, однако ж, так, как театр и книжные лавки (первая пьеса, которую видел я на Макарьевском театре, была: Гусситы под Наумбургом Коцебу, причем я обливался слезами, а вторая пьеса, на Московском театре, опера Павел и Виргиния, где играли Самойловы). Дела задержали отца моего в Сибири. Я прожил почти год в Москве без него, и театр, куда ходил я раза по три в неделю, книги, которых прочитал и накупил я без счета, университет, куда пробрался я на лекции и где слушал Мерзлякова, Страхова, Гейма, Каченовского, увлекали все мое время. Я не забывал притом писать: сочинил трагедию: Василько Ро-

стиславич, решился продолжать Опыт повествования о России Елагина, который казался мне образцом красноречия, написал повесть: Ян Ушмовец, роман и проч. и проч.— Отец мой и все семейство наше выехали в Москву в июне 1812 года. «Много ли у тебя осталось денег?» и «Что ты делал в Москве?» — были первые вопросы отца. Я указал на груду книг, мною накупленных, и кипу бумаги, мною исписанную. «А дела?» — Я безмолвствовал. Кипа была немедленно предана всесожжению; книги читать мне строго запрещено, и мы принялись за дела...

Но нам не удалось их много наделать. Августа 26-го мы уже тянулись с другими беглецами из Москвы по Владимирской дороге. Я видел потом пожар Москвы, и в декабре отец мой поехал со мною из Арзамаса, куда укрылись мы, в Петербург, где он кончил старые расчеты с Компаниею. Он стремился теперь на родину, забывши, что оставил ее юношею и возвращается стариком, через сорок лет. В июне 1813 года отправились мы из Курска на Дон — делать сахар и ром из арбузов и торговать Донскою рыбою. Через год дела отца моего были в самом печальном положении. Я оставался без дела, определился в контору богатого купца и решился заняться делом. Книги составляли только временную отраду мою. Неутомимо работал я, писал счеты, переписывал купеческие письма. В конце 1814 года отец мой снова отправился в Иркутск. В 1815 году я последовал за ним; но, увы! уже около шестидесяти лет легло на плечи доброго отца моего. Остальная жизнь его и будущая участь многочисленного, беспомощного семейства терзали его. Ему не жилось в Сибири. В начале 1816 года он отправил меня опять в Курск, а в 1817 году выехал сам из Иркутска. У нас было очень немного денег; по крайней мере, был теперь собственный домик, были и дела, но я снова, однако ж, занялся делами моего прежнего хозяина. Здесь наступил новый и решительный поворот в моей жизни.

Поездки, испытания, обращение с людьми, рано начатое, сделали то, что мне еще не совершилось 20-ти лет, но я казался совершенно взрослым и прослыл деловым человеком. Уезжая из Курска в 1816 году на Нижегородскую ярмарку, например, мой хозяин поручал мне в управление все торги свои, дом, расчеты и даже строение церкви Знаменского монастыря, куда определен он был членом от общества как градский глава. Все было исполнено мною исправно, к большому удовольствию хозяина. Я сде-

лался замечательным молодым купцом среди моих сверстников. Но, с одной стороны, дела купеческие давно уже не наполняли души моей: ей чего-то хотелось, чего-то она ждала, требовала. Я чувствовал даже, что всему уму моему нечем тут заняться, что даже самого времени у меня много останется, как ни занимался бы я делами. Товарищи мои убивали излишек его на забавы и шалости. Я не мог разделять с ними их времяпровождения. Чтение без плана и системы было жаждой, которая ничем не утолялась и не вела за собой ничего существенного. С другой стороны, нигде так, как в купеческих отношениях, не чувствуете неравенства состояний. Там все уравнивается капиталом, а без него ум и знание дел оставляют в людских отношениях бездну неизмеримую. Но богатство приобретается тихо, медленно, и нередко годы, жизнь проходят, когда притом судьба купца не вернее судьбы лодки на море в бурю. И жизнь моя, которой так рано испытал я разные стороны, представляла мне в будущем грустную перспективу. Между тем и отец мой начал давать мне больше свободы, видел во мне опору семейства, находя, что я могу быть деловым человеком, и понимая, что странностям моего образования был он отчасти сам причиною. К тому прибавилось у меня оскорбленное чувство самолюбия, когда мне резко дали уразуметь, что ни честное имя, ни уважение к старику моему, ни мои старания и заботы, ни общее мнение, что я отличный молодой купец, не дополняют того, что доставляет купцу честь и славу в его кругу — богатства. «Я докажу им», думал я, «что они ошибаются!». Но как и чем доказать? И жизнь купеческая и дела опостылели мне. Грусть терзала меня, и тогда-то мне пришло в голову, что только ученью остается в России дорога к почести без денег. А между тем эта дорога ведет именно к тому, что до сих пор составляло лучшее наслаждение моей жизни, что составляло до тех пор мою радость и утеху — книги и науки. Лекции университета, беседа с учеными мужами будут моею обязанностью, а потом поведут меня к чести и славе, к чинам и богатству!.. Обольстительный мир раскрывался передо мною; воображение мое рисовало в будущем картины пленительные!.. И еще с 1814 года начал я потихоньку учиться и прежде всего Русской Грамматике, по Грамматике Соколова, которая как-то попалась мне в руки. Тогда же увидел я необходимость знать иностранные языки. Мне надобно было скрывать и таить свое ученье и перед отцом и перед хозяином: оно могло повредить моей деловой репута-

ц и и, и, кроме того, что сказали бы мои товарищи, если бы узнали, что я у ч у с ь а з б у к е? А старики, а старухи?. Пьяный цирюльник Наполеоновской армии, Итальянец, который остался допивать жизнь свою в одной из курских цирюльней, показал мне произношение Французских букв; старик музыкальный учитель, Богемец, который учил на фортепиано дочерей моего хозяина и любил после уроков посидеть у меня в конторской комнатке и покурить табаку, научил меня Немецкой азбуке. Я нашел в то время друга, с которым мог делиться моими надеж дами, моими мечтами, друга, с которым потом пошли мы по дороге жизни, рука в руку, которому одолжен я уверенностью, что дружба не мечта поэзии, но точно святой дар неба, существующий на земле: этот друг был брат мой К с е н о ф о н т. Горе и опыт рано коснулись его ума, крепкого, основательного, его души, сильной, пламенной, но скрытой под холодною наружностью. Противоположность характеров еще более сблизила нас. Раза по три в неделю я уходил после обеда из богатого дома моего хозяина, где жил тогда, в смиренную квартирку на нижней Сергиевской улице, где отец мой нанимал себе две, три комнатки. Ксенофонт нетерпеливо ждал меня, и пока отец отдыхал после обеда, мы уходили за крыльцо, и там, в углу, на чистом дворе, расстилали рогожу, садились на нее; я вынимал Грамматику Соколова, грамматики Французскую, Немецкую и начинал учить Ксенофонта, чему сам выучился в прошедшие два, три дня... Д в а д ц а т ь п я т ы й г о д идет после того времени, а я помню, живо помню те драгоценные минуты! — Ласковый взор отца, непоколебимого среди горестей жизни, встречал нас потом; мы принимались за чай; я всегда запасался новостями и газетами: мы начинали читать их, и я помню восторг отца, когда я принес ему известие о взятии Парижа. Старик плакал от радости! — В Иркутске, в 1815 году, судьба свела меня еще с добрым товарищем, молодым, любезным человеком, который занимался тогда по делам откупа, В. М. Пурлевским (он теперь обер-секретарь в Сенате). Вместе с ним и Ксенофонтом отыскали мы какого-то ссыльного Поляка, который учил нас по-французски, а оригинал, каких можно встретить не много на свете, старый пастор Лютеранской церкви в Иркутске, Беккер давал нам уроки в Немецком языке.— Возвращение мое в Курск, в 1816 году, было решительно для моих занятий. Ум мой совершенно увлекся новою, дотоле неизвестною мне прелестью — прелестью

учения. Уже не средством для другого, но целью жизни моей сделалось оно. Мне стало казаться все равно: оста нусь ли я купцом и бедняком, буду ли чиновником и Гу бернатором Курским — высшая цель моего честолюбия! — все равно, только бы учиться! Между тем средства мои были чрезвычайно стеснены. Я не мог и подумать нанять себе учителей. Жалованья моего едва доставало мне на одежду, на небольшое уделение отцу, и едва мог я тратить безделку на книги. Дела хозяйские не давали мне досуга днем, и вечера, ночи сделались лучшими часами моей жизни. Мои они были, и их никому не отдавал я. Иногда свечка моя погасала с утреннею зарею, и я, едва уснувши три, четыре часа, шел в контору к моему хозяину, или, проработавши в конторе его до ночи, засаживался с радостью за свои уроки. Вскоре увидел я всю недостаточность, всю нелепость образования своего до того времени. Мне надобно было пересоздать все мои идеи, весь запас читанного мною с самого детства. Изучение языков повело меня в новый мир чтения. Настойчивое размышление показало мне недостаток систем и образа обыкновенного учения. Я решил сам для себя написать Русскую Грамматику и Русскую Историю. Грамматика Академии и История Государства Российского не удовлетворяли меня, когда я сравнивал первую с ясною, точною грамматикою Латинского, а вторую с Тацитом по слогу, с Летописями по изложению фактов. Изучение Латинского и Греческого языка, переводы с Немецкого, Французского, переработка Русской Грамматики, критический разбор Русской Истории — вот что составляло теперь мои занятия. Я отказался от легкого чтения и не писал уже ни стихов, ни прозы. Нарочно налагал я на себя самые тяжкие работы: выучивал по триста вокабул в вечер; выписал все глаголы из Геймова Словаря, переспрягал каждый отдельно и составил новые таблицы Русских спряжений (в 1822 году почтенный П. П. Свиньин представил их в Российскую Академию, и мне выдана была за них в награду большая серебряная медаль). Силы мои казались мне неистощимыми; все было так легко, так подручно, а впереди все так светилось и блестело!.. В 1817 году осмелился я, при самом учтивом письме, послать к Издателю Русского Вестника мое описание проезда и пребывания в Курске императора Александра, и — не умею вам пересказать, с каким упоением увидел я на серых листочках Вестника четким курсивом напечатанные под статьею слова: Н. Полевой! Весь Курск был

изумлен красноречивым описанием того, что еще живо трепетало в сердце каждого, что составляло предмет всех разговоров. С изумлением узнал мой хозяин, что в его конторе скрывается гениальный молодой человек, как говорил ему и Губернатор, и все, что было почетного в Курске. С радостью услышал о том и отец мой. Бывший тогда Губернатор Курский, А. С. Кожухов, сделался моим заступником и Меценатом; я был приглашен на его вечера, балы, получил свободный вход в кабинет его, перед которыми на вытяжке стояли все другие, и старые, и чиновные люди. Но между тем торжество мое внутренне тревожило меня — увы! я увидел, что вся статья была переправлена, перечерчена Издателем Русского Вестника, и я должен был сознаться самому себе, что переправки его были справедливы. Следовательно, я еще плохой писатель, думал я. Что же делать? — «Учиться!» было мне беспристрастным ответом в душе моей, и когда в 1818 году я отправил уже в Вестник Европы, одна за другою, две статьи: замечания на статью о Волосе и перевод Шатобрианова описания Маккензиева путешествия по Северной Америке, с радостью увидел я, что Редактор Вестника Европы не переправлял их нисколько. Весь 1819 год занимался я делами отцовскими, оставя моего хозяина, и уже не скрывал своих ученых знаний. К покровительству Губернатора присоединилось знакомство с просвещенным архипастырем, епископом Евгением, после того, как я прочитал свое стихотворение в собрании Библейского Общества, 6-го января 1819 года, и оно было осыпано похвалами собрания. В феврале 1820 года я навсегда оставил Курск. Отец мой решил сделать последнее усилие для поправления своих обязательств и, собравши все, какие были у нас средства, завести водочный завод в Москве. Меня отправил он для приуготовления, и, пока в декабре приехал сам, мне была полная свобода делить время между делом и бездельем. Впрочем, и отец мой уже не считал бездельем моих занятий, когда увидел, что они везде доставляют мне знакомство и уважение и с тем вместе не отвлекают меня от дел. — Лето 1821 года прожил я по делам в Петербурге. Здесь в первый раз увидел я Грибоедова и Жуковского. П. П. Свиньин встретил меня, как друга, с распростертыми объятиями: он видел во мне кулика-самоучку и был от меня в восторге. Н. И. Греч и Ф. В. Булгарин оказали мне самое радушное внимание. Грех было бы мне забыть тех, кто ласковым приветом отогревал мою душу среди тогдашних моих обстоя-

тельств — они были тяжелы, и наука, ученье были для меня и моего доброго Ксенофонта единственным средством забвения среди печальной существенности. Отец мой видимо таял — болезнь смертельная снедала его. Он благословил нас и уехал в Курск в марте 1822 года. В мае я спешил к нему. Казалось, весна еще оживила его. С радостною надеждою простился я с ним, а 26 августа добродетельный старец уже не существовал в мире, оставя мне на смертном одре и надежду на труд, который рано или поздно не останется без награды... Я сделался старшим, заступил место отца в нашем многочисленном семействе, а мне было только 26-ть лет — но тем было лучше. Юность не знает безнадежности: она не видит вокруг себя мрачных бездн бытия, и когда горе встречается с нею, она готова спросить у него: «не брат ли ты радости?»

ПРИМЕЧАНИЯ

Судьба большинства сочинений Н. А. Полевого оказалась недолговечной: за рамки прижизненных изданий они не вышли. «Повезло» лишь отдельным беллетристическим произведениям, особенно романам «Клятва при гробе господнем» и «Аббаддонна», которые неоднократно переиздавались вплоть до начала нашего века. Последнее дореволюционное издание — «Сочинения Н. А. Полевого» (с иллюстрациями) вышло в 1903 году.

Советский читатель впервые познакомился с творчеством писателя по антологии «Русские повести XIX века 20—30-х годов» (М.; Л., 1950.— Т. 2), где были напечатаны его «Рассказы русского солдата». Затем последовал более чем тридцатилетний период нового «забвения», после которого опять-таки в антологических сборниках появились две повести: «Блаженство безумия» (Русская романтическая повесть: Первая треть XIX века.— М., 1983) и «Симеон Кирдяпа» (Предслава и Добрыня: Исторические повести русских романтиков.— М., 1986). Единственным отдельным изданием Н. А. Полевого является однотомник «Избранные произведения и письма» (Л., 1986), куда вошли семь повестей писателя, преимущественно из его цикла «Мечты и жизнь».

В настоящий сборник включены как уже известные советскому читателю повести — «Живописец» и «Повесть о Симеоне, Суздальском князе», так и не публиковавшиеся после смерти писателя «Повесть о Буслае Новгородце», «Старая сказка о судье Шемяке» и «Пир Святослава Игоревича». Сам принцип отбора текстов основан на стремлении дать читателю представление о тематическом и жанровом многообразии творчества писателя. Учтена при этом и авторская воля самого Николая Полевого как издателя собственных повестей: полностью, без каких-либо изменений воспроизводится его последний прижизненный сборник «Повести Ивана Гудошника». По той же причине сохранена в ряде случаев авторская орфография и пунктуация (например, не совсем привычное сегодня частое употребление прописной буквы).

Наряду с художественными произведениями в однотомнике публикуются автобиографические заметки писателя. Включение их в качестве

приложения представляется целесообразным: воспоминания и размышления Полевого о начале своего жизненного поприща позволяют глубже понять необычность его судьбы как человека и творца.

Повести Николая Полевого (особенно исторические) изобилуют множеством имен и географических названий. Объяснить их все при заданном объеме книги вряд ли возможно, да и не диктуется необходимостью. Поэтому в постраничные примечания вынесены только те сведения, без которых не вполне понятен смысл текста. Во всех остальных случаях отсылаем читателей к существующим справочно-энциклопедическим изданиям.

Живописец.— Впервые повесть была напечатана в журнале Полевого «Московский телеграф» в 1833 году (Т. 51). По первоначальному замыслу повесть должна была называться «Художник», однако при публикации писатель отказался от этого названия, возможно, сочтя его не соответствующим образу главного героя. В 1834 году повесть вошла в задуманный ранее сборник «Мечты и жизнь» (Ч. II) Публикуется по изд.: Полевой Н. Избр. произв. и письма.— Л., 1986.— С. 164—276. Текст сверен по указанному выше изданию 1834 года.

С. 20. *Торквато Тассо* — итальянский поэт. Эпиграф взят из драмы Гете «Торквато Тассо». Выбор эпиграфа не случаен: трагическая судьба этого поэта служила для романтиков подтверждением их излюбленного тезиса о неизбежности конфликта между идеалом и действительностью. Из русских литераторов к образу Торквато Тассо обращался, например, Нестор Кукольник, написавший драму под тем же названием.

С. 21. *Вельтман Александр Фомич* — поэт, прозаик, автор популярных в 1830-е годы романтических повестей.

С. 27. *Ингерманландия* — название территории, прилегающей к Неве и юго-западным берегам Ладожского озера.

Пальмира — древний сирийский город, отличавшийся невиданным великолепием.

С. 29. *Каналетти (Каналетто)* — итальянский художник XVIII века.

«Пантеон иностранной словесности» — изданный в 1798 году журнал Н. И. Карамзина.

Бюффон — французский ученый-естествоиспытатель XVIII века.

С. 30. *...вышел бы второй Лосенко...* — Лосенко А. П. — русский художник XVIII века, представитель классицизма. Романтики отвергали свойственные этому направлению нормативность и подражание образцам, справедливо считая, что они сковывают свободу художника. Поэтому романтик Аркадий и не мог оставаться в училище, где обучение велось по канонам классицизма.

С. 31. *Гранет (Гране)* — французский художник XIX века.

С. 34. *...жоаннотовских уродов...*— Тони Жоанно — французский художник-романтик XIX века.

С. 34. *...гогартовских карикатур...*— Уильям Хогарт — английский художник, график XVIII века.

С. 35. *Поль-де-Кок* — французский писатель-романист XIX века.

...лафонтеновского... дюканжевского... жаненовского...— Лафонтен — немецкий писатель сентиментального направления конца XVIII— начала XIX века; Дюканж — французский драматург и романист начала XIX века; Жюль Жанен — французский писатель XIX века.

...Гофманова «Кота Мура».— Речь идет о романе «Житейские воззрения кота Мурра».

С. 38. *...философы не ходят уже в изодранных лоскутьях какого-нибудь цинического плаща...*— Древнегреческие философы-киники (или циники) духовную свободу человека ставили выше его жизненных удобств. Размышления рассказчика в повести носят явно иронический характер, оценивая человека с позиций романтизма.

С. 46. *Грез* — французский художник сентиментального направления XVIII века.

С. 47. *Гольбейн* Младший — немецкий художник XVI века.

С. 49. Эпиграф ко второй главе взят из драмы Н. В. Кукольника «Торквато Тассо». См. также примеч. к с. 25.

Галль — австрийский врач, основатель френологии (ложного учения о соотношении психики человека с формой его черепа), одним из сторонников которой был Каспар Шпурцгейм.

С. 50. *Корреджио* — итальянский художник XVI века.

С. 57. *Алимпий Печерский* — древнерусский живописец.

«Стоглавое уложение» — сборник, составленный на основании решений Стоглавого собора 1551 года (высшего органа русской православной церкви того времени) и регламентирующий жизнь духовенства.

С. 67. *...по жанполевской «Леване»...*— имеется в виду трактат немецкого писателя-просветителя XVIII века Жан Поля (Рихтера).

Баттё — французский теоретик классицизма XVIII века.

Катрмер де Кенси — французский археолог и искусствовед.

С. 69. *Шевалетная живопись* — станковая живопись.

С. 70. *...как древний Зевес к Семеле...*— древнегреческий миф: царица Семела, возлюбленная Зевса, уговорила его явиться перед ней в своем божественном облике, но когда тот явился в сопровождении грома и молнии, пламя убило Семелу.

С. 73. *Мурилло (Мурильо)* — испанский художник XVII века.

Ангелика Кауфман — немецкая художница XVIII века.

Гвидо Рени — итальянский художник XVII века.

Караваджио М.— итальянский художник реалистического направления XVI—XVII веков.

Тинторетто Я.— итальянский художник XVI века.

Снейдерс Ф.— фламандский художник XVI—XVII веков.

Поттер П.— голландский художник XVII века.

С. 75. *...четыре стиха любимого своего поэта...* — цитируется драма Гете «Торквато Тассо» (см. примеч. к с. 20).

С. 76. Эпиграф к третьей главе из романа Жан-Жака Руссо «Юлия, или Новая Элоиза», написанного в 1761 году.

С. 79. Цитируется поэма Байрона «Шильонский узник».

С. 80. *...франклиновский вид...* — Бенджамин Франклин — американский государственный деятель, просветитель.

С. 83. *Под мягким дерном гробовым...* —цитата из стихотворения В. А. Жуковского «Подробный отчет о луне»

С. 84. *Мирмидоны* — племя, возникшее, согласно древнегреческой мифологии, после того, как Зевс превратил муравьев в людей.

Омфала — лидийская царица, у которой Геракл прослужил три года.

...трепещущие их львиной кожи! — первый подвиг Геракла — бой с немейским львом, шкура которого считалась неуязвимой.

С. 86. Цитируется переведенная В. А. Жуковским идиллия Гебеля «Деревенский сторож в полночь».

С. 92. *Рафаил* — согласно библейской мифологии ангел-целитель, посланный на землю, чтобы исцелить Товита и невесту его сына Товии.

С. 94. *...в горациевскую епанчу философа...* — Квинт Гораций Флакк — римский поэт, живший в I веке до н. э.; эпанча (епанча) — старинная верхняя одежда вроде широкого плаща.

С. 101. *Коринна* — героиня романа французской писательницы Жермены де Сталь «Коринна, или Италия» (1807).

С. 102. Эпиграф взят из поэмы А. С. Пушкина «Цыганы» (цитируется не совсем точно).

С. 107. *«Письмовник»* — книга Н. Г. Курганова, содержавшая в себе самые разнообразные сведения.

С. 111. *Кронеберг* И. Я. — русский переводчик, автор статей по эстетике романтизма.

С. 114. Имеется в виду трагедия Эсхила «Прометей прикованный» и стихотворение Байрона «Прометей».

Океан — в греческой мифологии бог, сын Урана — неба и Геи — земли.

Эфест (Гефест) — бог огня, покровитель кузнечного дела. Из его кузницы похитил огонь Прометей, за что и был прикован к скале.

Вернер — немецкий драматург конца XVIII— начала XIX века.

С. 117—118. *Смешон, участия кто требует у света!* — цитата из стихотворения Пушкина «Ответ анониму».

С. 118. *Пандан* — вещь под пару.

С. 119. *Давид* — французский художник конца XVIII— начала XIX века.

С. 131. *Под миртами Италии прекрасной...* — цитата из стихотворения А. С. Пушкина «19 октября»

Повести Ивана Гудошника.— Печатается по изд.: Повести Ивана Гудошника, собранные Николаем Полевым.— Спб., 1843.— Ч. 1—2. В сборник вошли повести, ранее опубликованные писателем в «Московском телеграфе», а также новая «Повесть о судье Шемяке». Эта последняя повесть в какой-то мере нарушает тематическое единство книги, но сама по себе представляет значительный интерес для читателя. В стремлении Полевого объединить повести единым рассказчиком отразилась общая тенденция русской литературы 1820—1830-х годов к созданию циклов (например, «Повести Белкина» у Пушкина; «Вечера на хуторе близ Диканьки» Гоголя).

Предисловие.

С. 134. *...напечатал повесть о самом Гудошнике и одну из его сказок...*— имеется в виду роман «Клятва при гробе господнем» и повесть «Симеон Кирдяпа».

...когда-нибудь доскажу я конец повести о самом Гудошнике...— Полевой предполагал написать продолжение своего романа «Клятва при гробе господнем», но замысел остался неосуществленным.

Повесть о Симеоне, Суздальском князе.— Впервые напечатана в «Московском телеграфе» (1828.— Ч. 19) под названием «Симеон Кирдяпа (Русская быль XIV века)» и подписью «Н. П.». Полевой рассматривал эту повесть как «отрывок», который намеревался закончить, однако и при переиздании в сборнике «Повести Ивана Гудошника» это произведение осталось практически без изменений за исключением нового заглавия и заключительного абзаца.

В основу повести положен один из трагических эпизодов русской истории: борьба за нижегородское княжение в конце XIV века. В 1388 году Москва поддержала выступление великих князей братьев Симеона и Василия Дмитриевича Кирдяпы в борьбе против их дяди, нижегородского князя Бориса. Наступление московских войск на Нижний Новгород в 1392 году было подготовлено на основании предварительного соглашения с частью боярства, которое в этот сложный момент предпочло сильную власть боярства, которое в этот сложный момент предпочло сильную власть московского князя Дмитрия Донского, что дало ему возможность подчинить Нижний Новгород себе. В 1395 году Симеон Дмитриевич попытался вернуть городу независимость, найдя поддержку в Орде. Два штурма закончились неудачей. Наконец обманом удалось уговорить жителей пустить войска в город. Татары, обещавшие не грабить жителей, своего слова не сдержали и бесчинствовали в течение двух недель. Симеон, не совладав с ними, вынужден был и сам уйти вместе с завоевателями. В 1401 году московский князь вновь направил войско к Нижнему, что вынудило Симеона отказаться от своих притязаний и явиться в Москву бить челом в знак своей покорности.

С. 136. *...невзгода Москве нашей...*— речь идет о пожаре 1390 года.

...уже пятнадцатый год минет, как Нижний Новгород впадал в

руки басурманские...— В 1377 году объединенные отряды под командованием сыновей суздальско-нижегородского князя Симеона и Ивана потерпели жестокое поражение на реке Пьяне (приток реки Суры, впадающей в Волгу) от ордынцев. После этого монголо-татары захватили и сожгли Нижний Новгород.

С. 136. *...после вражьего меча десятый год проходит...*— В 1382 году хан Тохтамыш захватил и разграбил Москву.

С. 138. *...о происхождении сынов Агариных...*— согласно Библии рабыня-египтянка Агарь была родоначальницей ряда арабских племен. В древнерусских письменных источниках агарянами называли всех мусульман, т. е. неверных.

«Временник» — летописный сборник.

Мефодий Патарский — предположительно епископ города Патар в Малой Азии Мефодий. В тексте речь идет об анонимном издании под заглавием «Откровения Мефодия Патарского».

Сунклит — смола.

С. 139. *...Димитрий Иванович попросил стать за святую Русь...*— Речь идет о Куликовской битве 1380 года.

...кто правил тогда на святом Евангелии, что татары не сделают зла Москве...— Во время нашествия Тохтамыша пришедшие с ним Василий и Симеон заверили москвичей в миролюбии хана, после чего были открыты городские ворота и татары проникли в Москву.

С. 140. *Борис Константинович* — последний нижегородский князь. «Ярлык» от ордынского хана на нижегородское княжение он получил в 1383 году. В 1387 году, изгнанный племянниками, вернулся в свой удел Городец, но в 1389 году вновь занял Нижний Новгород по «ярлыку» Золотой Орды.

Димитрий Константинович — сын Константина Суздальского. После смерти великого князя Ивана Ивановича боролся за великокняжеский престол с Дмитрием Ивановичем (Донским), но вынужден был уступить.

потерял любимого сына...— В сражении на Пьяне погиб сын Дмитрия Суздальского Иван (см. примеч. к с. 197). Сам поход на Пьяну был вызван известием о походе татарского царевича Арапши.

...юного князя Московского...— Василий I Дмитриевич, сын Дмитрия Ивановича Донского.

С. 143. *Рагозиться* — ссориться.

С. 152. *Волоковое окошко* — задвигавшееся доской в избах старой постройки.

Полукафтанье — более короткий и узкий кафтан, надеваемый под верхнее платье.

С. 153. *...следует Мономахову наставлению...*— Речь идет о «Поучении» киевского князя Владимира Мономаха.

С. 158. *...как второй Святополк, хочешь ты зарезать нового Бориса...*— Святополк I Окаянный, убив трех своих братьев, Бориса, Глеба

и Святослава, захватил их уделы. Подробнее об этом можно прочитать в древнерусском памятнике «Житие Бориса и Глеба».

С. 167. *Тимур (Тамерлан, Тимур-Ленг)* — среднеазиатский полководец, с 1370 по 1405 год — эмир государства, столицей которого был Самарканд. Имел многочисленное и хорошо организованное войско, войны вел с неслыханной жестокостью. Имя его наводило ужас на народы Азии и Европы. Разгромив Тохтамыша, подчинил себе Золотую Орду. В 1395 году начал поход на Русь, захватил Елецкое княжество и подошел к Рязанскому, но, простояв две недели, ушел. Личность Тимура интересовала Полевого и как историка. В «Живописном приложении» к «Московскому телеграфу» он напечатал краткую биографию Тимура (1836).

С. 168. *Когда Андрей, князь Нижегородский, скончался...* — После смерти в 1365 году Андрея Нижегородского княжение должно было достаться следующему по старшинству брату — Дмитрию, однако Борис захватил город и ушел лишь после появления московского войска.

...смиренный пустынножитель Сергий... — Сергий Радонежский, основатель и игумен Троице-Сергиева монастыря (ныне Загорск).

С. 170. *Киприан* — русский митрополит в 1381—1382 годах и с 1390 по 1406 год.

...место «безмятежно, безмолвно и спокойно от всякого смущения»... — цитата из Никоновской летописи.

Георгий Писидийский — византийский писатель VII века.

С. 172. *Терлик* — долгополый кафтан с короткими рукавами.

Охобень, или охабень — старинная русская широкая одежда в виде кафтана с отложным воротником и длинными рукавами.

Владимир Андреевич Храбрый — князь серпуховской, герой Куликовской битвы.

С. 173. *Витовт* — великий князь Литовский с 1392 года.

Сарай — город на Волге, столица Золотой Орды, был разрушен Тимуром в 1395 году.

Страна есть некая, между царством Попа Ивана и Скифиею Великою... — имеется в виду легендарная страна, описанная в древнерусском памятнике «Сказание об индийском царстве».

...Амазоны и Макарийские блаженные острова... — легендарные области, о которых рассказывается в древнерусских переводных памятниках (например, «Александрия»).

С. 174. *...и се имена их...* — перечисляются завоеванные Тимуром области Средней Азии, Ирана, Закавказья и Малой Азии.

Мануил Великий — византийский император.

...источил воду из камня жезлом Моисея... — Распространенная библейская легенда о пророке Моисее: ударом жезла о скалу он извлек воду и напоил народ, изнемогавший от жажды.

...рукою отрока Иессеева... — библейская легенда о Давиде, сыне Иессея, убившем великана Голиафа.

С. 175. *...предали в руки твои деда твоего и дядей твоих...* — Борис

Константинович — дядя матери Василия, Евдокии; Симеон и Василий Дмитриевичи — ее братья.

С. 175. *...уступил мне право первородства...* — Владимир Храбрый отказался от права на великокняжеский стол, уступив его Василию I.

Ферезь — старинная одежда.

С. 178. *...когда при Калке погибла надежда на спасение России...* — имеется в виду знаменитая битва на реке Калке в 1223 году, положившая начало нашествию Чингисхана. Описанию этой битвы посвящена древнерусская «Повесть о битве на реке Калке».

С. 186. *О! стонать тебе, Русская земля...* — цитата, состоящая из фрагментов величайшего памятника древнерусской литературы «Слова о полку Игореве».

С. 187. *...были там древле грады красны...* — отрывок из Никоновской летописи.

...за пепелищем Ельца... — речь идет о походе Тимура (см. примеч. к с. 167).

С. 190. *Локман* — легендарный мудрец, живший до мусульманского пророка Мухаммеда.

С. 191. *Баязет* I Молниеносный — турецкий султан; в 1402 году разбит и взят в плен Тимуром.

С. 192. *...глаза Алиевы...* — Али — халиф, двоюродный брат Мухаммеда.

С. 195. *...разогните древние летописи и читайте:..* — далее следует обширная цитата из Никоновской летописи.

Повесть о Буслае Новгородце.— Впервые напечатана: Московский телеграф.— 1826.— Ч. XII.— № 23—24 под названием «Святочные рассказы» с подписью «Н. П.».

Сказанию о Буслае было предпослано обширное вступление, представлявшее собой беседу московских старичков в святочный вечер. «Когда мне бывало грустно, когда мне бывало весело, я всегда охотно слушал добрых стариков, рассказывавших мне свои были и небылицы» (с. 103). Этой беседой Полевой как бы вводил читателя в мир русской истории, создавал столь важное в романтической повести настроение загадочности и таинственности: «Русские сказки, русские рассказы и повести всегда мне нравились, и могу ли исчислить все, что я переслушал от добрых старожилов московских! Могу ли передать вам все их предания о мечтах и надеждах, давно уснувших с мечтателями, о порывах сердец, кипевших сильными страстями и давно охолодевших в могиле, о старых поверьях и обычаях» (с. 104).

Повесть о Буслае была первым опытом Полевого в этом жанре, писатель здесь стремится более к сказочной занимательности, нежели документированной правде. Эта установка чувствуется и во вступлении: «А что ни говорите, но я люблю рассказы о ведьмах, мертвецах, колдунах и привидениях и всегда с радостью слушаю страшные повести»,—

сказал хозяин. «Я сам люблю их слушать и даже рассказывать, но не верю им нисколько»,— сказал улыбаясь Шумилов. «Да не знаешь ли какой-нибудь пострашнее?» — сказал хозяин, повертываясь от удовольствия. «Как не знать!» (с. 122—123). «Святочные рассказы» писатель, видимо, думал продолжить, так как публикация кончалась следующим обращением к читателю: «если Святочные рассказы понравятся (...), я готов пересказать все, что еще слышал от Шумилова и моих старых друзей: были, небылицы, русские сказки и присказки. Иначе читатели в начале статьи могут вместо: продолжение, поставить: окончание». Однако, как это часто было у Полевого, замысел святочного цикла остался неосуществленным.

В основу повести положены исторические события конца XIV века, когда обострилась политическая и идеологическая борьба Москвы с Новгородской боярской республикой. Основу исторического сюжета повести составляют события, связанные с походом в 1386 году великого московского князя Дмитрия Ивановича Донского на Новгород с целью подчинения его Москве.

С. 197. *Димитрий Иванович* (1350—1389) — великий князь Владимирский и Московский с 1359 года. Проводил политику укрепления Московского княжества, направленную на подчинение Москве русских княжеств. После Куликовской битвы получил прозвище — Донской.

С. 198. *...народ собирался к Святой Софии...*— имеется в виду Софийский собор, один из величайших памятников древнерусского зодчества.

...держали вече...— древний Новгород по форме своего правления являлся городом-республикой. Главным органом самоуправления в Новгороде являлось вече, представлявшее собой собрание всех жителей города.

Посадник — один из правителей Новгорода. Посадники избирались на вече из представителей наиболее богатых и знатных семей.

С. 200. *Чудь* — одно из племен, жившее по берегам Чудского озера.

Нева-озеро — Ладожское озеро.

Данило (Даниил) Заточник — имеется в виду древнерусский памятник «Моление Даниила Заточника». Сведений о самом Заточнике практически не сохранилось.

С. 203. *...еще и пяти лет не прошло, как татары головней покатили его Москву...*— речь идет о сожжении города ханом Тохтамышем (см. примеч. к с. 136).

Детинец — Кремль.

Варяжское море — Балтийское море.

С. 205. *...Пойдем допевать подблюдные песни.*— Эти обрядовые песни входили в ритуал святочных гаданий. В блюдо с водой девушки клали какие-либо украшения, накрывали блюдо платком и пели песню

определенного магического содержания. После исполнения песни из-под платка доставали одно из украшений. Той девушке, которой оно принадлежало, и адресовалось пророчество. Подблюдные гадания ярко описаны в балладе Жуковского «Светлана».

С. 205. *Хоронить золото* — также один из святочных обрядов.

С. 209—210 *...самосуд наш должен быть уважен князем...* — новгородцы в переговорах с Дмитрием Ивановичем настаивали на сохранении вечевого самоуправления.

С. 210. *Тверь и Нижний Новгород, склоненные пред его могуществом...* — Тверское и Нижегородско-Суздальское княжества вели наиболее упорную борьбу с Москвой за свою независимость, однако вынуждены были склониться перед сильной рукой Москвы. См. примеч. к Повести о Симеоне, Суздальском князе».

Олгерд (Ольгерд) Литовский — великий князь Литовский (1345—1377). Его сыновья Андрей и Дмитрий находились на службе у московского князя.

С. 212. *...плясали, переодетые, в харях...* — имеется в виду обряд ряженья во время святок, имевший магический смысл как оберег от злых сил.

С. 218. *Ягайло* — Ягайло Ольгердович (около 1350—1434) великий князь Литовский (1377—1392).

С. 219. *Князь Владимир Андреевич, Димитрий Волынец* — сподвижники Дмитрия Донского, участники Куликовской битвы.

...женился на Ядвиге, королеве Польской... — После этой женитьбы Ягайло стал королем польским (1386—1434).

С. 223. *Старец Алексий* — архиепископ Новгородский Алексий.

С. 225. *...дружка доложил, что на столе поставили куря с калачом и солонкой...* — ритуальная еда во время свадебного пира.

Дружка — одно из главных лиц на свадьбе, товарищ жениха.

Старинная сказка о судье Шемяке с новыми присказками.— Впервые напечатано: Повести Ивана Гудошника, собранные Николаем Полевым.— Спб., 1843.

С. 226. *...в них вмешивается кое-кто...* — согласно народным поверьям нечистая сила обычно селилась на мельницах, а сами мельники считались колдунами.

С. 227. *Лещи боялись уже, что Переяславское озеро их будет кастрюлей...* — Полевой здесь вольно пересказывает древнерусскую «Повесть о Ерше Ершовиче, сыне Щетинникове», которая, в свою очередь, основывалась на народной сатирической сказке.

С. 229. *Целовальник* — хозяин трактира.

Подьячий — судейская должность.

Христов день — имеется в виду пасха.

С. 230. *...как барашки классической идиллии...* — героями произве-

дений этого жанра обычно являлись идеализированные пастухи и пастушки.

Эзоп — легендарный баснописец древности, по преданию, отличался удивительной мудростью и находчивостью.

С. 231. *Просвира* — освященный церковный хлеб особой формы, символизирующий тело Христово.

С. 232. *Татищев В. Н.* — известный русский историк XVIII века.

С. 233. *Тацит* — древнеримский историк и философ.

С. 239. *Кирила Данилович* — вероятно, имеется в виду известный собиратель народных песен Кирша Данилов.

С. 251. *Судебник царя Ивана Васильевича* — речь идет об изданном при Иване Васильевиче IV Грозном сборнике законов.

С. 252. *Земский Ярыжка* — низшая судебная должность.

С. 254. *Алтын* — мелкая медная монета.

С. 255. *Гривна* — мелкая медная монета.

Пир Святослава Игоревича, князя Киевского (Византийская легенда).— Впервые напечатано: Московский наблюдатель.— 1836.— Ч. VIII. Повесть рассказывает о событиях русской истории X века, когда Киевской Русью правил князь Святослав Игоревич (с 946 года). Полевой, судя по подзаголовку повести, воссоздавая эту далекую эпоху, пользовался византийскими летописными источниками. Однако содержание повести позволяет утверждать, что писатель использовал и русские летописи, и прежде всего «Повесть временных лет», первый дошедший до нас летописный свод, созданный монахом Киево-Печерского монастыря Нестором. «Повесть временных лет» уделяет большое внимание Святославу и дает возможность представить образ жизни и характер этого князя. Например, в записи 964 года говорится: «Когда Святослав вырос и возмужал, стал он собирать много воинов храбрых, и легко ходил в походах, как пардус (т. е. гепард, животное, отличающееся выносливостью и быстротой бега, отсюда и сравнение с ним Святослава.— *Б. К.*), и много воевал. В походах же не возил за собою ни возов, ни котлов, не варил мяса, но, тонко нарезав конину, или зверину, или говядину и, зажарив на углях, так ел; не имел он и шатра, но спал, постилая потник с седлом в головах,— такими же были и все прочие его воины». (Памятники литературы Древней Руси. XI— начало XIII века.— М., 1978.— С. 79). Святославу Игоревичу принадлежит заслуга укрепления авторитета Киевской Руси в результате побед над болгарами, печенегами, похода на Византию. Повесть показывает Святослава в момент, предшествующий его второму походу на болгар, захвативших в его отсутствие Переяславец.

С. 260. *Гиперборея* — по преданиям древних греков, Крайний Север.

Скифия — земли Северного Причерноморья, населенные различными племенами, жившими здесь в 8—2 вв. до н. э.

С. 261. *...хазарские города дымились в недавнем разрушении от меча русского...* — государство хазар (хазарский каганат) в VII—X вв. располагалось между Доном и нижним течением Волги и южнее, на территории вплоть до северных отрогов Кавказских гор. «В год 965. Пошел Святослав на хазар. Услышав же, хазары вышли навстречу во главе со своим князем Каганом и сошлись биться, и в битве одолел Святослав хазар и столицу их Белую Вежу взял» (Повесть временных лет.— Стр. 79)

С. 261. *Вежи* — шатры.

Закута — хлев для мелкого скота.

Княгиня Ольга — мать Святослава. После гибели Игоря от руки древлян и до совершеннолетия Святослава правила Киевской Русью. Первая из киевских правителей приняла христианскую веру. Источники по-разному говорят о месте крещения Ольги: или она крестилась в Константинополе, куда прибыла в 957 году, или приехала туда уже христианкой. «Повесть временных лет» рассказывает о ее попытках склонить к новой вере Святослава, но неудачно: «он же не послушался матери, продолжая жить по языческим обычаям...» (с. 79).

С. 262. *Царьград* — Константинополь, столица Византийской империи.

Поляне — одно из восточнославянских племен.

Кобза — старинный щипковый музыкальный инструмент.

С. 263. *«Руси есть веселье пити»* — «цитата из «Повести временных лет». Эти слова приписывают великому князю Киевскому Владимиру, крестившему Русь; они представляют собой один из мотивов, согласно которому он отвергает магометанскую веру.

«Не любо ми есть в Киеве жити» — несколько измененная цитата из «Повести временных лет». Князь Святослав предпочитал Киеву город Переяславец на Дунае, отвоеванный им у болгар (ныне — село Преслав возле города Тулча в Румынии).

Федор Стратилат — византийский военачальник.

Аскольд и Дир — первые киевские князья.

Перун — бог грома и молнии в языческой религии славян.

Почайна — речка под Киевом.

Патриций — представитель знатного рода, обладавший властью.

С. 265. *Ирадот* — видимо, речь идет об античном историке и философе Геродоте.

...знаешь ли ты, что Св. Апостол Андрей странствовал здесь... — «Повесть временных лет» включает предание о посещении апостолом Андреем славянских земель. Этим преданием обосновывалась идея предопределенности принятия христианства на Руси.

Свенельд — согласно летописи сподвижник Игоря, а после его смерти — княжеский воевода при Святославе.

С. 266. *Волос (Велес)* — языческий бог славян, покровитель скотоводства.

С. 267. *Свендослав* — измененное Святослав.

С. 269. *Ярополк и Олег* — сыновья Святослава.

Вятичи и радимичи — славянские племена.

...осталось мне от моей красавицы Малуши... — Малуша была ключницей матери Святослава Ольги. Это вызывало неприязнь Ярополка и Олега к Владимиру, рожденному от Малуши.

С. 271. *Угры* — венгры.

Торки — тюркская народность.

Я не боюсь силы греческой... — Вскоре после событий, описанных в повести, Святослав действительно отправился в поход на Царьград, дошел до Аркадиополя (150 км от Царьграда). Византийцы, чтобы выиграть время и собрать силы для отпора Руси, выплатили Святославу выкуп («дань»), и он вернулся в Переяславец.

...говорил врагам моим: Берегитесь — Святослав идет на вас! — Уверенный в своих силах, Святослав всегда заранее предупреждал врага о своем появлении. В «Повести временных лет» читаем: «И посылал в иные земли со словами: «Хочу на вас идти» (с. 79).

С. 274. *...толстое серебряное блюдо под его пальцами, будто превратилось в лист пергамента...* — Этот эпизод не придуман Полевым: огромную физическую силу Святослава подтверждают и летописные источники.

Кравчий — боярин, ведавший княжеским столом.

С. 275. *Сарацины* — мусульмане.

С. 277. *Хвалынское море* — Каспийское море.

Олег Вещий — это прозвище великий киевский князь получил за приписываемый ему дар волхвования.

С. 278. *...чудь и кривичи, меря, древляне и радимичи, поляне, северяне, вятичи, хорваты, дулебы и тиверцы* — перечень славянских племен.

...волны Эвксинские — волны Черного моря.

С. 279. *Стрибог* — в языческой религии славян бог ветра.

С. 280. *Откуда колеса взялися и по суше ладьи Вещего понеслися!..* — Здесь описан эпизод похода Олега на Царьград в 907 году. Олег приказал поставить корабли на колеса, и с попутным ветром под парусами они пошли по суше.

С. 281. *...прибивает Олег щит свой к воротам Цареградским...* — В «Повести временных лет»: «И повесил щит свой на вратах в знак победы» (с. 47).

Баян — легендарный певец древности, воспетый в «Слове о пол-

ку Игореве». Здесь: в обобщающем смысле — как талантливый певец.

С. 283. *...Друзья, товарищи, ратники, вожди мои неукротимые!* — В этой сцене Полевой показывает Святослава как блестящего оратора. Это подтверждается и «Повестью временных лет», которая дает образцы речи Святослава перед своей дружиной: «но сказал Святослав: «Нам некуда уже деться, хотим мы или не хотим — мы должны сражаться. Так не посрамим земли Русской, но ляжем здесь костьми, ибо мертвые не принимают позора. Если же побежим — позор нам будет. Так не побежим же, но станем крепко, а я пойду впереди вас: если моя голова ляжет, то о своих сами позаботьтесь».

Автобиография Н. А. Полевого.

Представляет собой отрывок из предисловия к книге Полевого «Очерки русской литературы» (Спб.— 1839.— Ч. I.— С. VIII—X; XX—XLII) Печатается по этому изданию.

Автобиографические заметки Полевого представляют несомненный интерес для читателя, поскольку значительно дополняют наши сведения о писателе. Заметки охватывают сравнительно небольшой отрезок жизни Полевого: его детство, юность и начало литературной деятельности. Писатель лишь вскользь касается трагических моментов своей жизни, последовавших после запрещения «Московского телеграфа». Но, пожалуй, в этих воспоминаниях Полевого интересны не столько сами факты биографии, сколько размышления писателя, из которых складывается представление о его личности. Многие из его рассуждений, особенно те, которые обращены к молодому поколению, могут найти понимание и в наши дни. В настоящем издании полностью сохранены авторские особенности текста. Пунктуация приведена в соответствие с современными требованиями.

С. 289. *...из купеческой конторы и водочного завода перевела меня в кабинет литератора и ученые общества и Академии...* — Уже будучи издателем «Московского телеграфа», Полевой оставался владельцем водочного завода, что в глазах литературных аристократов немало его компрометировало; в эти же годы Полевой являлся членом Общества любителей российской словесности, выступал с речами в Коммерческой академии.

С. 290. *...которого воспел Державин под именем соседа* — имеется в виду стихотворение Г. Р. Державина «К первому соседу».

...в числе сидевших в Оренбургской полугодовой осаде 1773 года... — речь идет об осаде города войсками Пугачева.

Голиков И. И. — известный русский историк, автор книги «Деяния Петра Великого».

С. 293. *Сумароков* А. В. — русский драматург XVIII века, теоретик классицизма.

«Вестник Европы» — журнал, издаваемый Н. М. Карамзиным.

С. 294. *Макарьевская ярмарка* — ярмарка в селе Макарьеве под Нижним Новгородом.

С. 298. *«История государства Российского»* — знаменитый труд Н. М. Карамзина, против которого позднее выступил Полевой, чем значительно поколебал свой авторитет среди русских литераторов.

Свиньин П. П. — известный журналист и издатель, поддержавший Полевого в начале его литературной деятельности.

СОДЕРЖАНИЕ

Полевой Н. А.

П49 Мечты и жизнь/Сост., вступ. ст. и примеч. Б. С. Кондратьева.— М.: Сов. Россия, 1988.— 320 с.

Творчество известного русского писателя, журналиста и историка Николая Алексеевича Полевого (1796—1846) хорошо знали и ценили современники. О нем высоко отзывался Белинский, отмечая, в числе других произведений Полевого, вошедшие в настоящую книгу романтические повести на темы из русской истории: о Симеоне Суздальском, о Буслае Новгородце, о судье Шемяке, о Святославе Игоревиче. В книгу включены также «светская повесть» «Живописец» и «Автобиография» писателя.

П $\frac{4702010100-236}{М-105(03)88}$ 94—88 Р1

ISBN 5—268—00540—5

Николай Алексеевич Полевой

МЕЧТЫ И ЖИЗНЬ

Редактор Т М. МУГУЕВ
Художественный редактор Г В. ШОТИНА
Технический редактор Г П. МАРТЬЯНОВА
Корректор Т. Б. ЛЫСЕНКО

ИБ № 4759

Сдано в набор 19.12.87. Подп. в печать 28.06.88. Формат 84×108/32. Бумага офсетная № 2. Гарнитура обыкновенная новая. Печать высокая. Усл. печ. л. 16,80. Усл. кр.-отт. 17,22. Уч.-изд. л. 18,20. Тираж 300 000 экз. (3-й завод 200 001—300 000 экз.) Заказ № 1281. Цена 1 р. 50 к. (в обложке). Изд. инд. ЛХ-208.

Ордена «Знак Почета» издательство «Советская Россия» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 103012. Москва, проезд Сапунова, 13/15.

Книжная фабрика № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 144003, г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

ГОТОВИТ К ПЕЧАТИ

Полонский Я. П. *Проза*

В настоящий сборник войдут беллетризованные автобиографические очерки о детстве и студенческой юности, о встречах с Тургеневым. Особое место в прозе поэта занимают произведения, навеянные пребыванием в Грузии: «Тифлисские сакли» и проч. В книгу войдут также психологические рассказы, перекликающиеся с лирическими стихами Полонского: «Груня», «Женитьба Атуева» и др.